Дб
380
ф-49

том 4

изд. 2-е

Фигнер В.

ПСС.

М., 1929

06	647817
380	Фигнер В.
ф49	ПСС
т 4	М., 1929
15.5.87	57024
	290

647817

Вера Фигнер

ИСКЛЮЧЕНА

ИСКЛЮЧЕНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
И
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ,
ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО
ПРОШЛОГО РОССИИ

Книга XLIV—XLV

МОСКВА

ДБ
380
ф49

ВЕРА ФИГНЕР

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

т. 4.

20х14

3-й экз.

ВЕРА ФИГНЕР

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Москва. Главлит А 28.103. 5.000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типогр., Трехпрудный, 9.

ГОС. УНИВЕРС. НАЦ. МЕН. ЗА
ИСКЛЮЧЕНА
947.Р.Д.
КАБИНЕТ

I. ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЕ УЗНИКИ

II. СТИХОТВОРЕНИЯ

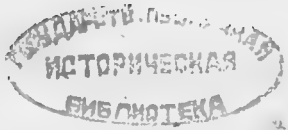
П/Р

73871
24/33

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
ПЕРЕСМОТРЕННОЕ

ПРОВ. 1935

ИСКЛЮЧЕНА



647817
87 л

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН
Москва, 34, Лопухинский пер., д. 5, тел. 3-64-73.
1929 г.

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ К IV ТОМУ.

I.

Биографические очерки «Шлиссельбургские Узники» были первой моей книгой, изданной в 1920 году в Москве «Задругой». Отдельные очерки писались и печатались в разное время: в 1906 г. я написала по просьбе В. Л. Бурцева для «Былого» биографию Людмилы Александровны Волкенштейн, убитой на демонстрации во Владивостоке. В том же году, живя в Нижнем у сестры Евгении, я написала очерки шести близких товарищей: Н. А. Морозова, М. Фроленко и И. Д. Лукашевича, М. Новорусского, П. Антонова и Н. Похитонова для «Галлереи Шлиссельбургских узников». Эта книга вышла в прекрасном издании под редакцией В. Я. Богучарского и П. Якубовича и имела целью увеличить фонды «Шлиссельбургского Комитета», основанного по моей мысли П. Ф. Якубовичем, в виду возможного выхода из крепости оставшихся после меня 9 народовольцев. Они действительно были освобождены по манифесту 17 октября 1905 г. одним годом позже меня и нашли в «Комитете» громадную поддержку, так как некоторые совсем не имели родных, другие растеряли связи с ними или эти родные жили в разных местах, вдали от Петербурга. В 1907 г., находясь в Финляндии, я составила очерки о Г. Исаеве, М. Тригони, М. Грачевском и В. Панкратове для «Голоса Минувшего». Но биографию

Панкратова С. Мельгунов потерял, и она не была мной восстановлена. Биографию П. Карповича я написала уже в 1918 г., после его трагической смерти при возвращении из Англии в Россию на пароходе, который был взорван немецкой подводной лодкой.

После нового долгого перерыва, когда умер М. Ю. Ашенбреннер, в 1927 г. я написала о нем, а в 1928 г., когда приготовлялось настоящее издание, я выполнила давнишнюю мысль помянуть своим словом одного из самых старых друзей моих и товарищей, умершего в Шлиссельбурге,—Юрия Николаевича Богдановича.

Таким образом, рассказ о людях, наиболее близких мне на свободе и в заточении, растянулся на целые 22 года! Но память о них в это 22-летие не ослабевала, и чувство любви и уважения к ним не умирало.

Вера Фигнер.

10 июля 1928 года.

P. S. Эта книга служит до некоторой степени дополнением ко второму тому «Запечатленного Труда». Невозможно было загромождать его характеристикой многих лиц и описанием их занятий в крепости и судьбы. Но о Людмиле Волкенштейн, Грачевском и Похитонове нельзя было не говорить при общем описании нашего заточения. Благодаря этому, относительно этих трех лиц читатель найдет здесь неизбежное повторение части того, что было помещено во 2-м т. моих сочинений.

II.

Что касается второго отдела предлагаемой книги, заключающего стихотворения, написанные мной в Шлиссельбургской крепости, то в нем помещены как те стихотворения, которые были напечатаны в 1906 г. в давно разошедшемся сборнике, [1]) так и опубликованные в книге «Под сводами», изданной в Москве Крумбюгелем под редакцией Н. Морозова. Только 2—3 стихотворения в печати не были.

Не могу удержаться, чтобы не рассказать забавный анекдот по поводу моего поэтического творчества. В Швейцарии, на высоте 1.000 метров, в живописной местности находится местечко «Les Avants». Там жила моя хорошая знакомая докторесса Р. Гавронская с двумя дочерьми лет 12 и 10. Когда я в первый раз собиралась посетить их, Роза Исидоровна, желая внушить девочкам наиболее уважения ко мне, сказала им:

— Вера Николаевна *пишет стихи.*

— Мама, а чьи стихи лучше: Пушкина или Веры Николаевны?—спросила старшая из дочерей.

Мы от души смеялись над рассказом об этом, и я написала Верочке шутливое стихотворение, в котором уверяла ее, что куда Пушкину до меня!

---

[1]) № 3 «Библиотеки освободительной борьбы». 1906 г. СПБ. Редактор—издатель П. И. Вейнберг.

Тогда-то я смеялась, могла смеяться... А в Шлиссельбургской крепости, в период 1887—1892 гг., когда писались стихотворения, [1]) много слез проливалось пока тяжелое настроение или воспоминание о матери, о сестре не выливалось в рифмованные стихи, и после этого на душе делалось как-будто легче.

Вера Фигнер.

10 июля 1928 года.

---

[1]) 1887-й год был первым, когда нам дали бумагу и карандаш. Если после моего ареста тогда прошло уже 4¼ года, то арестованные в 1880 г. провели в тюрьме уже 7 лет...

I.

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЕ УЗНИКИ.

ВВЕДЕНИЕ

В том месте, где находится исток Невы из Ладожского озера, лежит небольшой остров, на котором расположена Шлиссельбургская крепость. В первой четверти XIV столетия, основанная великим князем Георгием Даниловичем под названием Орешек, эта крепость долго служила предметом борьбы между шведами и русскими. Переходя из рук в руки, она была окончательно завоевана Петром Великим в 1702 году и в непродолжительном времени сделалась местом заточения лиц, опасных с династической или с государственной точки зрения. В казематах этой крепости томилась первая жена Петра Великого, Евдокия Лопухина, а за сношение с нею туда же была заточена царевна Марья Алексеевна, дочь Алексея Михайловича. В царствование Анны Иоанновны в Шлиссельбургскую крепость был заключен князь Голицын, глава верховников, замышлявших ограничение самодержавной власти. Последующий период связан с именем Иоанна Антоновича, который еще младенцем был свергнут с престола Елизаветой Петровной и после заключения в Холмогорах перевезен в Шлиссельбургскую крепость и убит в ней при попытке освобождения, сделанной Мировичем при Екатерине II. При той же императрице узником Шлиссельбурга сделался Новиков и заморил себя голодом раскольник Круглый, в буквальном смысле слова замурованный в каменный мешок. Некоторые декабристы, в том числе Поджио,

Николай и Михаил Бестужевы, Пущин и др., содержались более или менее продолжительное время в Шлиссельбургской крепости. Но кроме них, при императоре Николае многие другие лица подвергались заключению в той же крепости. Так, по делу о лицах, певших пасквильные стихи, заключенные на *неопределенное время* в ее казематы испытали жестокую участь: Ибаев, который сошел с ума, и чиновник Уткин, там умерший. При Николае же провел четыре года в Шлиссельбургской тюрьме Бакунин. Из других узников особенно заслуживает внимания польский патриот Лукасинский, пробывший в заточении в стенах крепости целых 37 лет и умерший там в темной каморке секретного замка. В царствование Александра II в Шлиссельбурге содержался каракозовец Ишутин, а при Александре III в пределах крепости была выстроена новая тюрьма на 40 человек, предназначенная для народовольцев, боровшихся с 1879 года против самодержавия террористическими средствами.

Со времени основания в 1884 году этой новой тюрьмы, отданной в полное распоряжение министерства внутренних дел, в частности департамента государственной полиции, начинается тот период истории Шлиссельбургской крепости, который создал ей наиболее широкую репутацию русской Бастилии, целое 20-летие приковывавшей к себе внимание русского общества.

Первоначальная история Шлиссельбургской крепости, история узников, томившихся в ней в течение первых ста восьмидесяти лет со времени взятия ее у шведов, не написана, и едва ли когда-нибудь будет написана: мертвые не говорят. Что касается до последующего 20-летия, то эта история имеет еще живых свидетелей, и появилось уже немало материала, описывающего то, что происходило в крепости за воротами с двуглавым орлом и зловещей надписью: «Государева». Воспоминания Волкенштейн и воспоминания Поливанова впервые приподняли покров тайны, которая окутывала

жизнь узников. Затем в «Былом» (1906—1907 гг.) появились мемуары Ашенбреннера, Новорусского, биография Людмилы Волкенштейн, написанная мной. В 1907 г. вышел I т. «Галлереи шлиссельбургских узников». Шесть очерков, помещенных мной в этой «Галлерее» (Морозов, Фроленко, Антонов, Похитонов, Лукашевич, Новорусский), содержат много черт, характеризующих крепостной режим в период 1884—1905 гг. К этой же серии относятся биографические очерки (Исаев, Грачевский, Тригони), опубликованные мной в «Голосе Минувшего» (1916—1917 гг.) [1]). Теперь, пополненные новыми данными, все эти биографии собраны в предлагаемом издании и представляют краткие характеристики моих товарищей по 20-летнему заключению в крепости. Из описанных мною лиц большинство уже ушло из жизни, и только Фроленко и Морозов здравствуют, при чем Морозов проявил после своего освобождения такую трудоспособность, такую феноменальную по разнообразию и широте жизнедеятельность, что стоит на этом особенно остановиться и сделать обзор всего им сделанного.

Происхождение лиц, описываемых в этом сборнике, их детство, социальное положение и темпераменты различны. Одни, как Волкенштейн, Тригони, Похитонов, Морозов, Лукашевич,—дворяне; другие вышли из низов народа: родители Грачевского и Новорусского принадлежали к низшему сельскому духовенству; отец Исаева был почтальоном; отец Фроленко—военным фельдшером, а П. Л. Антонов—типичный городской рабочий. По образованию они варьируют от университетского (Тригони, Лукашевич) и академий (духовной—Новорусский, артиллерийской—Похитонов) до низшего у Антонова. Все принадлежали к боевой революцион-

---

[1]) Эти три очерка вместе с биографией Волкенштейн и Карповича, погибшего от германской подводной лодки при возвращении в 1917 г. из-за границы на родину, были выпущены в 1918 г. отдельной книжкой (книгоиздат. «Земля и Воля»).

ИСКЛЮЧЕНА
ИСТОРИЧЕСКАЯ

ной партии «Народная Воля» и были убежденными террористами, но каждый, сообразно своему темпераменту, подходил к террору по-своему. Если, отбросив промежуточные типы, взять крайности, то террорист Морозов мягким мечтательным юношей шел по своей дороге с энтузиазмом; Грачевский—со спокойным упорством фанатика; Антонов, суровый и мрачный,—с ненавистью и озлоблением. Лукашевич в 1887 г. приготовлял бомбы для цареубийства, но его истинное призвание—отвлеченное мышление, наука. Новорусский по своему темпераменту не бросил бы бомбы, но в противоположность Лукашевичу—прирожденный практический деятель как в области культуры, так и в области промышленности. Фроленко—ни на кого не похож: не энтузиаст, не ученый и не имеет задатков для широкой общественной арены; но он неоцененный товарищ-революционер: выдержанный, хладнокровный, с наружным видом флегмы идущий на величайшую опасность и выходящий из дела без малейшего налета хвастливости, с простотой и естественностью, которые свойственны только тем, у кого нет ни капли тщеславия или честолюбия. Похитонов был слабее всех по характеру, менее красочен и представлял образ, не столь резко очерченный и определенный, как другие. Он больше других знал радости жизни, был более избалован ею, и его-то с особой жестокостью сгубила тюрьма, разрушив сначала дух, а потом и тело (1896 г.).

Но как ни были различны эти люди, мои товарищи, жизнь соединила их в стремлении к свободе, в борьбе за нее, а потом свела под одну кровлю—в каменные мешки Шлиссельбурга.

Вера Фигнер.

25 сентября 1918 г.

Людмила Александровна Волкенштейн.

(Род. в 1857 г., ум. в 1906 г.).

Не на воле широкой—под сводом тюрьмы
Мы впервые с тобою повстречались...
В те тяжелые дни, когда с жизнию мы
Пред суровою карой прощались...
Было мне в эти дни не до новых людей;
Жизнь прошедшая мне рисовалась...
Проходил предо мной ряд погибших друзей...
Братство славное их вспоминалось...
С этим братством несла я тревоги борьбы...
Ему силы свои отдавала...
Неудачи, измены, удары судьбы
До последнего дня разделяла...
Но союз наш, борьбою расшатанный, пал...
Неудачи его сокрушили.
Беспощадно суд смертью одних покарал,
В равелине других схоронили...
И пришлось в день расчета одной мне предстать
С грустным взором, назад обращенным...
Среди новых людей одиноко стоять
С думой тяжкою, с сердцем стесненным...
Мудрено-ль, что тебе, как подруге чужой,
Равнодушно я руку пожала?!.
Жизнь кончалась, и ночь надо мной
Свой туманный покров расстилала...
И не думала я, что с тобою войду
В эти стены делить одно бремя...
Что в тебе я опору и друга найду
В безрассветное, мрачное время.

Шлиссельбург. 1888 г.

Это стихотворение посвящено мною Людмиле Александровне Волкенштейн, с которой в первый раз я встретилась 24 сентября 1884 г. в Петербурге, в зале суда, а рассталась в Шлиссельбурге, 23 ноября 1896 г., после 12 лет ее жизни в этой крепости. Наша встреча на суде была слишком мимолетна, чтоб я могла вынести определенное впечатление от личности Л. А. На скамье подсудимых мы сидели далеко друг от друга и не могли перекинуться ни единым словом. Только раз, после данного подсудимым «последнего слова», нам, трем женщинам, судившимся по этому процессу (Волкенштейн, Чемодановой и мне), удалось в коридоре приветствовать друг друга. Эпизод убийства князя Крапоткина в Харькове, по поводу которого Л. А. была привлечена к «процессу 14-ти», по времени и действующим лицам не имел никакой прямой связи с остальными судившимися. В самом деле, участники этого убийства (Кобылянский, Зубковский) были осуждены в 1880 г., а главное действующее лицо—Гольденберг—еще ранее покончил с собой в Петропавловской крепости, как о том в свое время донес Исполнительному Комитету Клеточников, служивший помощником делопроизводителя в III отделении, а с преобразованием его—в той же должности в департаменте полиции. Участие в деле убийства Крапоткина было единственным обвинением против Л. А и основывалось на показании Гольденберга, рассказавшего во время своего предательства, что Волкенштейн была посвящена в его намерения относительно харьковского губернатора и вместе с Гольденбергом, Кобылянским и Зубковским отправилась из Киева в Харьков, где наняла конспиративную квартиру, в которой совещались и укрывались заговорщики. На суде, кроме показаний умершего Гольденберга, были прочтены старые показания горничной, якобы признавшей в пред'явленной ей карточке Волкенштейн ту самую особу, которая нанимала вышеупомянутую квартиру. Самой свидетельницы на суде не было. Улики были невелики, но Л. А не желала

скрывать свои убеждения: она открыто признала свое полное сочувствие террористической деятельности партии «Народная Воля», свое участие в деле Крапоткина и заявила, что вернулась из-за границы с целью отдать свои силы на дальнейшую деятельность партии в том же направлении. Надо заметить, что раньше, чем Гольденберг был арестован, осенью того же 1879 г., в котором был убит Крапоткин, Л. А. эмигрировала и возвратилась в Россию лишь осенью 1883 г. и через самое короткое время в сентябре того же года была арестована в Петербурге, выслеженная сыщиками, повидимому, еще в Румынии, где она перед тем жила.

На суде Л. А. не имела защитника, отказавшись от такового по принципу. Военный суд, щедро назначавший смертную казнь, приговорил к ней и Л. А. По прочтении приговора судьи, по рассказам одного из присяжных поверенных, в разговорах между собой цинично говорили: «Однако... мы ей закатили!». Присяжный поверенный Леонтьев 2-й тщетно предлагал Л. А. подать кассационную жалобу в Сенат; она отказалась от этого наотрез. Однако, вероятно, в виду полной несоразмерности этой кары, смертная казнь была заменена Л. А. 15-ю годами каторжных работ. 12 октября 1884 года из Петропавловской крепости ее увезли в Шлиссельбург. Мать и муж Л. А., случайно опоздавшие приехать в Петербург ко времени суда, тщетно хлопотали, чтоб им дали проститься с нею. Этого утешения они не добились. Л. А. не видала и своего единственного сына Сергея, оставленного ею в 1879 году 2-летним ребенком на попечении отца и бабушки. Эти обстоятельства все время составляли предмет горьких воспоминаний Л. А.

По привозе в Шлиссельбург Л. А. и меня поместили вдали друг от друга, на противоположные стороны тюрьмы, незадолго перед тем открытой (в августе 1884 г.) [1]). Сношений

[1]) Везли нас на пароходе тоже врозь.

между нами не было, хотя по некоторым, почти неуловимым признакам мы знали, что обе привезены в эту крепость.

Уже с начала 1885 года заключенным было разрешено гулять вдвоем, и мы заметили, что несколько человек, действительно, пользуются этой льготой. До января 1886 года я молча ожидала, когда же и мне дадут возможность видеться с Л. А., и недоумевала, почему же собственно я лишена радости иметь товарища и друга? Наконец, 3-го или 4-го числа я решилась и спросила смотрителя Соколова:

— Почему мне не дают гулять с подругой?

Смотритель, с которым все мы избегали о чем бы то ни было говорить, немного помолчал, а затем сказал:

— Можно дать, только... не следует...

Он согнул указательный палец и стал постукивать им в косяк, как в тюрьме разговаривают стуком в стену.

Я ответила, что и так стучу очень мало.

Разговор на этом кончился, и я продолжала прежний образ жизни, разговаривая понемножку с моими соседями: Панкратовым (рядом) и Морозовым, камера которого была внизу.

14 января, когда меня повели гулять и я, ничего не подозревая, вошла в калитку той «клетки», где должна была совершаться прогулка, я неожиданно увидела фигуру в нагольном полушубке и холщевом платке, которая быстро заключила меня в свои об'ятия и в которой я с трудом признала Волкенштейн, виденную мной на суде в цивилизованном платье. Вероятно, и она столь же была поражена метаморфозой, совершившейся со мной.

Итак, мы стояли, держа друг друга в об'ятиях, не зная, радоваться нам или плакать.

А потом стали знакомиться.

Л. А. хорошо было известно, что о ней я ровно ничего не знала, кроме того, что выяснилось на суде. До того я

слышала ее имя только из уст Гольденберга, когда после Воронежского с'езда видела его в Петербурге. Он отзывался о Л. А. с величайшей похвалой и рекомендовал ее в члены организации «Народной Воли», как человека, вполне преданного революционному делу и разделяющего программу партии. Но из первоначальных членов организации «Народной Воли» никто не знал Л. А. лично, а потому вопрос о приглашении ее в организацию был отложен. Однако, было решено иметь ее в виду, и, конечно, ее приняли бы, если бы в ту же осень она не выехала за границу. Обо мне же Л. А., кажется, слыхала более и, по ее словам, заочно любила меня. С трогательной откровенностью она сказала, что, получив обвинительный акт и найдя в нем мое имя, она приложилась к нему губами... Теперь же, когда мы, наконец, встретились при таких условиях, что могли свободно говорить, ей хотелось поскорее излить свою душу, рассказать о своей прошлой жизни, воспитании, семье и детстве,—обо всем, что необходимо было рассказать, чтобы сблизиться друг с другом.

Людмила Александровна Волкенштейн (урожденная Александрова) родилась в Киеве 18 сентября 1857 года. Ее родители принадлежали к дворянскому сословию; отец служил межевщиком в Киевской казенной палате, но был уже в отставке. Они были довольно богаты и имели в Киеве два дома. Мать жила с младшей дочерью, занимавшейся на бактериологической станции в Киеве, а сыновья служили. В Киеве же Л. А. провела свое детство и раннюю молодость. Отца своего Л. А. не любила и не уважала. По ее отзывам, это был грубый и во всех отношениях несимпатичный человек, и отношения в семье были дурные. Когда Л. А. была уже взрослой гимназисткой, отец дошел, по ее рассказу, до того, что однажды поднял, было, на нее руку... Свою мать Л. А. любила беспредельно и уважала глубоко, как человека доброго, гуманного и вместе с тем твердого. Все, что в ней самой было хорошего, она приписывала воспитательному влиянию и

наследственности со стороны матери, об отце же сохраняла лишь тяжелое воспоминание.

К грусти, что уходя из жизни, ей не удалось проститься с матерью, в Шлиссельбурге присоединилось огорчение от отсутствия каких бы то ни было сведений о родных.

Случилось так, что из всех товарищей я первая получила краткое и сухое словесное извещение из департамента полиции, что моя мать жива, здорова и шлет мне *поклон.* Это было через *три* года по заключении в Шлиссельбург, а Л. А. еще долго после того не имела ни одной весточки. Тщетно успокаивала я ее тем, что мои родные живут в Петербурге или имеют частые сношения с ним, что по процессам сестер они приобрели известную опытность, которой не имеет ее мать; что, живя в Киеве, она даже не знает, куда обратиться с просьбой известить дочь о своем существовании. Л. А. была неутешна и каждый раз, когда я снова получала холодную реляцию наподобие первой, она начинала тосковать и горько плакать, так что мне тяжело было сообщать ей о своей радости, тяжело, что я имею ее одна и не могу помочь горю друга. Наконец, весть от матери, эта долгожданная весть, пришла, но при таких обстоятельствах, что Л. А. даже не захотела выслушать ее...

В первые годы заключения каждые шесть месяцев нас посещало какое-нибудь высшее начальство из Петербурга. В одно из подобных посещений (если не ошибаюсь, 1889 г.) товарищ министра внутренних дел, генерал Шебеко, обошелся непозволительно грубо с некоторыми из заключенных. Войдя в камеру Шебалина, он остался недоволен выражением его лица.

— Это что за дерзкая физиономия? Кто это?—спросил он смотрителя и присутствовавшего при этом коменданта.

У Тригони, когда тот хотел сделать какое-то заявление, генерал, перебивая его, закричал:

— Надо помнить, что эта тюрьма заменяет смертную казнь!..,—а выходя в коридор, говорил:

— Они рассуждают, бунтуют!.. Полковник, — плети, плети!...

Поднявшись наверх, Шебеко зашел к Конашевичу и к Волкенштейн. И тут произошли сцены в роде предыдущих. Обращаясь к Л. А., Шебеко сказал:

— Вы отвратительно себя ведете! Вы только и делаете, что сидите в карцере! В инструкции есть розги!

Когда после от'езда Шебеко в тюрьме узнали о всех этих возмутительных грубостях, то по моему предложению единодушно решили не принимать более генерала Шебеко к себе; в случае дальнейших визитаций бойкотировать его: заявлений не делать, на вопросы не отвечать, никаких сообщений не выслушивать и в той или иной форме просить его выйти вон...

После этого прошел, должно быть, год, и Шебеко в тюрьме не появлялся. Быть может, он и сам потом понял, что зашел слишком далеко, а, может быть, ему и донесли, что к его встрече приготовились, и он не желал дать повод к какой-нибудь тяжелой тюремной истории.. Затем он прибыл в свите м-ра внутр. дел И. Н. Дурново, но при обходе всех камер министром оставался в коридоре и зашел вместе с Дурново лишь к Волкенштейн. Раскланявшись, он начал:

— Ваша матушка...

Но Л. А., в присутствии Дурново, прервала его словами:

— От вас я не хочу слышать даже о матери...

Шебеко повернулся и тотчас вышел. Ни к кому другому он в этот раз уже не зашел, и вообще это был его последний визит в Шлиссельбургскую тюрьму, хотя на своей должности он оставался еще долго.

С 1892 года нам стали вместо устных сообщений о родных давать крошечные памятки,—бумажку, где канцелярским слогом сообщалось, что родные (имя рек) живы и здоровы, чего и нам желают. Сначала эти бумажки только давали

прочитать и отбирали; потом стали оставлять в наших руках. Подобные памятки стала получать и Волкенштейн.

Училась Л. А. в Киевской женской гимназии, но, имея хорошие способности, относилась к сухим школьным занятиям довольно небрежно. В силу этого, срезавшись на экзамене, не захотела подвергнуться переэкзаменовке и оставила гимназию, не получив, по ее словам, диплома. Из гимназической жизни Л. А. рассказала мне один эпизод, характерный для ее личности. В одном классе с ней училась горбатая девочка, которая всегда оставалась одинокой и, видимо, чувствовала себя для всех чужой. Однажды, вызвавший ее учитель позволил себе какую-то насмешку над ее уродством.

— Вы не смеете поступать так! Вы не смеете унижать и насмехаться!..—закричала на весь класс Л. А. с своего места.

Учитель сконфузился, а в маленькой горбунье Л. А. нашла самую горячую, почтительную преданность. Судьба, должно быть, не баловала девочку сочувствием людей, и с той поры, как она увидела в Л. А. свою покровительницу, во всякую погоду Л. А. встречала ее на своем пути в гимназию: девочка поджидала ее где-нибудь на улице, чтоб проводить до гимназического здания, а по окончании уроков—до дому.

Между одноклассницами Л. А. имела больших приятельниц, носивших среди знакомых шутливое прозвище «галки», кажется, по черным платьям. Хотя этот кружок не преследовал никаких общественных целей, но с социалистическими идеями Л. А. познакомилась, еще будучи в гимназии. В числе ее знакомых был Александр Александрович Волкенштейн, студент-медик Киевского университета, за которого, по выходе из гимназии, она вышла замуж. Александр Александрович стоял довольно близко к киевской группе чайковцев. Члены петербургского кружка чайковцев считали его членом организации, но затем без резкого разрыва он постепенно отдалился от всех революционных дел и стал толстовцем. Тем не менее, в глазах полиции он был скомпрометирован,

и его судили по «процессу 193-х» (18 октября 1877-го—23 января 1878-го гг.). Во время заключения Александра Александровича в тюрьме родился его сын Сергей. Л. А. тогда было 19 или 20 лет. Во время самого процесса она была в Петербурге и посещала мужа, а после суда вместе с Ал. Ал., который был оправдан, возвратилась в Киев, где встречалась с различными революционерами (Самарская, Григорий Гольденберг, Зубковский, Кобылянский и др.). Мысль об убийстве харьковского губернатора князя Крапоткина возникла в Киеве в декабре 1878 г. и принадлежала Гольденбергу. Мотивом, как известно, было дурное обращение с политическими заключенными в центральных тюрьмах (Змиевской и Белгородской) и избиение харьковских студентов во время уличных беспорядков. Находившийся в то время в Киеве Валериан Осинский, бывший душой всех террористических актов на юге, доставил Гольденбергу деньги, оружие и адреса в Харьков. Волкенштейн и Зубковскому было предложено ехать туда же для основания конспиративной квартиры. Выследивши с помощью Кобылянского время выездов губернатора, Гольденберг смертельно ранил его 9 февраля 1879 г. выстрелом из револьвера [1]). Он вскочил на подножку кареты в то время, когда князь, возвращаясь с бала, ехал через Вознесенский сквер, расположенный перед губернаторским домом. Акт был совершен от имени Исполнительного Комитета, ядро которого уже существовало внутри организации общества «Земля и Воля». Сам Гольденберг считался одним из агентов низшей степени Исполнительного Комитета. Заговорщики благополучно скрылись. Через четыре дня после убийства Л. А. возвратилась в Киев, а осенью того же года, как было уже сказано, покинула Россию.

За границей Л. А. проживала короткое время во Франции и в Швейцарии.

---

[1]) Крапоткин умер через 5 дней.

В последней она мельком встретилась в 1880 г. с Н. А Морозовым, своим будущим товарищем по Шлиссельбургу. Но большую часть времени, проведенного за границей, Л. А. прожила в Болгарии и Румынии в кругу русских эмигрантов. В числе последних она называла Каца с женой, Василия Ивановского, Дическула (судившегося по «процессу 193-х») и др. Некоторое время Л. А. служила в Болгарии в качестве смотрительницы больницы, которою заведывал знакомый ей русский врач Юрьев, жена которого была близким другом Л. А. Надо сказать, что Л. А. была несколько причастна и к медицине, так как во время русско-турецкой войны прослушала в Киеве 3-месячный курс перевязок, приготовлявший сестер милосердия для русской армии. В последний год пребывания в Шлиссельбурге Л. А. начала усердно заниматься медициной, чтобы приобрести знания в размере фельдшерского курса, что должно было пригодиться ей в ссылке. Но об этом я скажу после.

Заграничная жизнь с ее оторванностью, отсутствием живой деятельности и платоническими мечтами о родине не удовлетворяла Л. А., и, оставив друзей, она возвратилась в Россию с паспортом болгарской подданной. Вскоре по приезде в Петербург она была приглашена в участок, где подверглась подробному допросу насчет знания болгарского языка и почему хорошо говорит по-русски. Ответы были более или менее правдоподобны, и ее отпустили. Но через неделю или две без всяких дальнейших поводов она была арестована [1]).

С большой горечью, пробегая в воспоминаниях свое прошлое, Л. А. говорила, что всю жизнь стремилась к настоящим людям и к настоящей деятельности и что ей так и не пришлось найти себе удовлетворения. В связи с этим она призналась, что суд был для нее праздником, так как на нем она могла, по крайней мере, открыто исповедать свои

---

[1]) О ее выезде в Россию из за границы был донос.

убеждения. Поэтому-то она не взяла себе защитника, отказалась от кассации и была чрезвычайно довольна вынесенным ей суровым приговором. Характерна и следующая подробность ее настроения и поведения после суда.

Когда, перед увозом в Шлиссельбург, ей надели ручные кандалы, это не произвело на нее тяжелого впечатления. Напротив, она почувствовала прилив гордости и «на пароходе я все время демонстративно побрякивала ими», рассказывала она мне в Шлиссельбурге.

Искренность и простота Л. А., ее готовность понести какую угодно кару за свои убеждения и необыкновенная сердечность в обращении скоро вполне обворожили меня. Мы подружились дружбой самой нежной и идеальной, какая возможна только в таких условиях, в каких мы тогда были. Мы походили на людей, выброшенных кораблекрушением на необитаемый остров. У нас не было *никого и ничего,* кроме друг друга. Мы были оторваны от жизни и деятельности, отрезаны от человечества и родины, лишены друзей, товарищей и родных. Не только люди, но и природа, краски, звуки,—все исчезло... Вместо этого были сумрачный склеп с рядом таинственно замурованных ячеек, в которых томились невидимые люди, зловещая тишина и атмосфера насилия, безумия и смерти.

Понятно, что общение двух душ в такой обстановке должно было доставлять невыразимое наслаждение и навсегда оставило в душе самое трогательное воспоминание.

Не знаю, что давала я Л. А., но она была моим утешением, радостью и счастьем. Мои нервы и организм были потрясены в глубочайших своих основах. Я была слаба физически и измучена душевно... Общее самочувствие мое было прямо ненормально, и вот я получила друга, на которого тюремные впечатления не действовали так губительно, как на меня; и этот друг был воплощением нежности, доброты и гуманности. Все сокровища своей любящей души она щедрой рукой отда-

вала мне. В каком бы мрачном настроении я ни приходила, она всегда умела чем-нибудь развлечь и утешить меня. Одна ее улыбка и вид милого лица разгоняли тоску и давали радость. После свидания я уходила успокоенной, преображенной, камера уж не казалась мне такой сумрачной, а жизнь—тяжелой. Тотчас я начинала мечтать о новой встрече послезавтра... Свидания были через день: тюремная администрация, очевидно, находила нужным разбавлять радость наших встреч днем полного одиночества. Но это, быть может, только обостряло наше стремление друг к другу и поддерживало то «праздничное» настроение, о котором впоследствии было так приятно вспоминать.

Когда в тюрьме происходило какое-нибудь несчастье, когда умирали наши товарищи, стоны и предсмертную агонию которых мы слышали отчетливо в стенах тюрьмы, замечательно отзывчивой в акустическом отношении, мы встречались бледные, взволнованные и безмолвные. Стараясь не смотреть друг другу в лицо, мы целовались и, обнявшись, молча прохаживались по дорожке или сидели на земле [1]), прислонившись к забору, подальше от жандарма, следившего с высоты своей вышки за каждым нашим движением. В такие дни простая физическая близость, возможность прижаться к плечу друга была уже отрадой и облегчала тяжесть жизни... Был в 1886 году месяц, когда один за другим умерли: Кобылянский, Исаев и Игнатий Иванов. Первый—от цынги, второй—от чахотки, а Игнатий Иванов, кажется,—от того и другого; к тому же он был безумен!..

Пока Исаев был на ногах и ходил гулять, его громкий, хриплый и словно из пустой бочки кашель надрывал душу, если приходилось быть рядом... Иногда же нас приводили в ту самую клетку, где перед тем был он. На снегу, справа и слева, виднелась алая, только-что выброшенная им кровь...

---

[1]) Скамей не было.

Эта неубранная, неприкрытая хотя бы снегом кровь товарища вызывала щемящую тоску... Это был символ иссякающей жизни,—жизни товарища, которому не поможет наука, никакая сила человеческая... И отвести от этой крови глаз было некуда. Небольшое пространство «клетки» было сплошь завалено снегом; оставалась лишь узкая тропинка, по которой поневоле только и приходилось ходить. Отвратительно было это палачество, которое несколькими ударами лопаты могло скрыть кровавый след, но цинично оставляло его на муку и поучение невольных посетителей... Нам же тогда не давали даже лопаты.

Предсмертные страдания Исаева были ужасны. Это была, кажется, самая тяжелая агония из всех, которые пришлось пережить. Немного морфия или опия, вероятно, облегчили бы ему борьбу со смертью и избавили бы от потрясения всех нас. Но ничего подобного не было сделано. Мертвая тишина стояла в тюрьме... все мы притаились, как-будто сжались и с затаенным дыханьем прислушивались к полному затишью... Не было ни звука... и среди напряженного состояния внезапно раздавался протяжный стон, скорее похожий на крик... Тяжело быть *свидетелем* расставания человека с жизнью, но еще тяжелей и страшней быть пассивным, замурованным в каменный мешок *слушателем* такого расставания. Только в тюрьме да в доме умалишенных, который вообще имеет во многих отношениях сходство с тюрьмою, возможны потрясающие, зловещие сцены в роде этих...

Весной нам с Л. А. дали по 2 грядки [1]) в огороде. Еще задолго до того мы были сильно заинтересованы какими-то таинственными приготовлениями, скрытыми от наших взоров дощатой перегородкой: оказывается, там ставили заборы для 6 огородов; они примыкали к высокой крепостной стене и оканчивались саженях в трех от тюремного здания.

---

[1]) Арш. 4 длины, 1 ар. ширины каждая.

На баржах была привезена где-то по дорогой цене купленная земля и в виде уже готовых гряд насыпана по огородам.

Наш огород представлял собою небольшое, продолговатое, очень невзрачное местечко, почти совсем лишенное лучей солнца. С одной стороны—каменная стена, с трех остальных—3½-аршинный дощатый забор: откуда-нибудь да всегда падает тень! Однако, и этот колодезь показался нам раем. Тут была земля, настоящая земля—земля полей и деревень, черная, рыхлая и прохладная. До этого мы видели в своей тесной ограде только бесплодный пустырь, плотно убитую каменистую почву, на которой не пробивалась ни одна травка. Это было устроено, конечно, для облегчения надзора, чтоб мы не завели друг с другом письменных сношений, скрывая письма среди какой-нибудь зелени. В 1886 г. в эти дворики летом с берегов реки привезли песку и положили по деревянной лопате; «для моциона», сказал смотритель. Предполагалось этой лопатой перебрасывать песок с одного места на другое и этим целесообразным способом укреплять силы заключенных.

Действительно, кто не имел огорода (а его дали весьма немногим), чтоб как-нибудь убить время, бросал этот песок; но потом это страшно надоело, и мы называли это занятие работами национальных мастерских во Франции 48-го года.

Когда давали огород, смотритель и вахмистр молча вводили заключенного и пальцем указывали одну или две гряды. Затем, также молча вахмистр вручал пакет с огородными семенами (редис, морковь, репа, горох, брюква, мак) и, взяв щепотку, мимикой показывал, что надо делать: наклонялся к земле, делал в ней пальцем ямки и клал семячко, после чего в молчаньи удалялся вместе с присутствовавшим при всей процедуре смотрителем. Не только разговаривать, но вообще говорить что-нибудь заключенному жандармам было строго запрещено. В случае необходимости вахмистр

прибегал к мимике, и благодаря этому мы дали ему шутливое прозвище «Мимика».

Появление молодых всходов, пробивавшаяся повсюду зелень доставляли нам несказанное удовольствие, а когда летом зацвели посаженные самими жандармами вдоль забора цветы, мы пришли в чисто детское восхищение. Мы страшно соскучились по траве, по полям и лугам, и клок зелени вызывал совершенно неожиданно приятную волну чувств в нашей изголодавшейся душе. Такое же чувство возбуждали во время заключения и те немногие животные, которые были нам доступны. Л. А. впоследствии так приручила воробьев, что они целыми стаями сидели у нее на коленях и ели крошки хлеба с ее халата... Часто, когда мы ходили под руку, я вдруг замечала, что она делает обход и тянет меня в сторону. Некоторое время я недоумевала, что это значит, а когда услыхала ответ, то не могла не рассмеяться, а потом умилилась. Эта террористка, замечая ползущую гусеницу или жука, боялась раздавить насекомое!.. А мне и в голову не приходило смотреть, бежит ли какая-нибудь маленькая тварь поперек дороги... Когда позднее у нас появились кусты малины и маленькая гусеница стала об'едать зелень, то никак нельзя было уговорить моего друга заняться собиранием вредного существа и потоплением его в лейке. Пусть лучше пропадает малина и весь куст,—истреблять живое создание она не может! Однажды много смеха возбудил ее поступок с клопом, найденным в камере и, вероятно, занесенным каким-нибудь жандармом. Л. А. тщательно завернула его в бумажку и вынесла на гулянье: здесь клоп был освобожден из бумажной обертки и осторожно выпущен на волю.

Меня очень интересовало такое отношение к животным, и я спросила, всегда ли она так относилась к ним. Она сказала, что всегда уважала жизнь во всех ее проявлениях. И у нее это, действительно, была не временная тюремная «сантиментальность», а искреннее чувство, вполне гармони-

ровавшее со всей ее любящей натурой. Человека, более гуманного по отношению к людям, трудно было встретить, и в первые годы, когда мелкая борьба с тюремщиками не омрачала ее душу, эта гуманность и добросердечие сияли чудным блеском. Л. А. знала жизнь и знала людей и не идеализировала ни то, ни другое. Она брала их так, как они есть—смесь света и тени. За свет она любила, а тень прощала. Она имела счастливую способность находить и никогда не терять из виду хорошие стороны человека и непоколебимо верила в доброе начало, таящееся в каждом. Она была убеждена, что добро и любовь могут победить всякое зло; что не суровый приговор, не репрессия, а доброе слово, участливое, дружеское порицание—самые действительные средства исправления. Бесконечная снисходительность во всех личных отношениях была характерным свойством Л. А. «Все мы нуждаемся в снисхождении»,—было ее любимой поговоркой.

Мое собственное миросозерцание далеко не отличалось таким мягким колоритом, но в первые годы заключения, вдали от общественной борьбы и той разгоряченной атмосферы, в которой я жила на свободе, душа моя смягчилась, и общение с таким прекрасным типом любви не только *к человечеству,* но и к *человеку* производило на меня чарующее впечатление. Я чувствовала удовольствие нравственное и вместе эстетическое: это была любовь, это была красота, красота совсем другого рода, чем жесткая энергия и непреклонная суровая воля, которая ломает все, что встречает на своем пути, и удивительные образцы которой я видела ранее вокруг себя... Слушая и наблюдая Л. А., оценивая ее, как человека, невольно можно было спросить, как мирятся ее гуманность и добросердечие с насилием и кровью революционной деятельности? Распространять вокруг себя свет и теплоту, делать людей счастливыми—вот, казалось, поприще для такой любящей натуры. И, однако же, безобразие и несправедливость политического и экономического строя

бросили ее на другой путь. Вопиющая эксплоатация трудящихся масс сделала ее социалисткой. Невозможность свободной общественной деятельности в России и варварское угнетение личности превратили в террористку. Любящая, самоотверженная душа нашла в революционном протесте единственную форму, в которую со спокойной совестью могла вложить свои альтруистические чувства, чтоб ценою собственной жизни расчистить пути жизни для следующих поколений...

Осенью того же 1886 года, когда мы свиделись с Л. А., мы были вынуждены отказаться от прогулок вдвоем, хотя они одни только и скрашивали нашу жизнь. Это случилось так: по тюремной инструкции прогулка вдвоем и пользование огородом были льготой, даваемой за «хорошее поведение». Понятно, быть *взысканным,* не в пример прочим, «*за поведение*» никому не могло быть приятным, а оценка поведения производилась смотрителем или, вернее, он просто давал льготы кому хотел, проявляя обыкновенно вопиющую несправедливость. Были товарищи, повседневное поведение которых не выходило из рамок, в которых держались все, и, однако, никакими льготами они не пользовались. Они немножко перестукивались с соседями, но это был общий грех.

В тюрьме люди не могут обойтись без сношений между собой: совсем не стучат только одни душевно-больные. Но если одним нарушителям тюремных правил можно было дать прогулку вдвоем и огород, казалось бы, следовало дать их всем. Но этого не было, и некоторые товарищи, как Кобылянский, Златопольский, умерли, не видав дружеского лица. Другим, как Панкратову, Мартынову, Лаговскому, пришлось ждать этой льготы целые годы.

Какими средствами, не имеющими ничего общего с «хорошим поведением», иногда можно было добиться свидания с товарищем, можно видеть из случая с М. Р. Поповым.

Однажды наша тюрьма огласилась криком: «Караул!!!». Все насторожились, недоумевая, в чем дело?..

Мгновенно форточка в двери Попова открылась, и в ней появилось лицо смотрителя Соколова.

— Что нужно?—грубо спросил он.

— Не могу дольше так жить!..—отвечает Попов.—Дайте свиданье!..

Смотритель помолчал и, смотря в упор ему в лицо, сказал:

— Доложу начальнику управления.

Через несколько минут является Покрошинский (комендант).

— Что нужно заключенному?—спрашивает он.

— Не могу дольше жить так...—повторяет Попов.—Дайте прогулку вдвоем!..

— Заключенный кричал караул! И требует льготы... Пусть заключенный подумает: если мы теперь же исполним его желание, какой пример это подаст другим?!.. Но если заключенный немного подождет, мы удовлетворим его. Если же он вздумает кричать опять, мы уведем его в другое помещение... (т.-е. в старую тюрьму, т.-е. карцер).

Михаил Родионович нашел более выгодным подождать, и через несколько дней его свели на гуляньи с Шебалиным.

Но не всякий был так изобретателен, как Михаил Родионович, и большинство молчало. Иногда раздача льгот была прямо-таки орудием непонятной злобы и мести в руках смотрителя. Если на его «ты» ему отвечали той же монетой, то заключенный терял все шансы на то, чтоб увидеться с кем-нибудь из своих, хотя бы дни его жизни были сочтены. Савелий Златопольский никаких столкновений со смотрителем не имел, но стучал с соседями, хотя весьма мало. У него открылось сильное кровотечение горлом... Силы его падали день ото дня, но смотритель с холодной жестокостью оставлял его в одиночестве. То же было с Кобылянским, который говорил

смотрителю «ты»... Отсутствие льгот у Панкратова тоже было актом мести.

Тяжело было, возвращаясь с гулянья, думать о соседе, лишенном последней радости—видеться с товарищем. Тяжело гулять вдвоем, когда тут же вблизи уныло бродит товарищ, тоже жаждущий встречи, столь же нуждающийся в обществе, в сочувствии, в друге.

Но мне никогда не приходила в голову мысль о каком-нибудь выходе из этого положения. Я считала тюремные правила такой же несокрушимой твердыней, как каменные стены, железные двери и решетки. Мне казалось невозможным сломить гнетущий нас тюремный режим, как невозможно разрушить стены и замки.

Но Л. А. была другого мнения; она думала, что против тюремных порядков надо в той или иной форме протестовать. Распределение льгот смотрителем—произвольно и несправедливо, а *потому* не может быть терпимо. Л. А. предлагала в этом случае протест пассивный, а именно—добровольный отказ от льгот со стороны тех, кто ими пользуется в данное время. Отказ, конечно, должен быть мотивированным: в нем следовало указать на более или менее одинаковое поведение всех заключенных и на чувство товарищества и симпатии, не дозволяющее нам спокойно пользоваться тем, чего лишены другие.

Я долго не могла решиться на такую жертву. Конечно, мне было тяжело при мысли, что я пользуюсь благом, от отсутствия которого рядом задыхается товарищ... Но я чувствовала себя «на дне» жизни, и свидания с Л. А. были моей единственной радостью!.. Если бы я еще могла верить, что жертва будет плодотворна и что добровольным отказом нам удастся вырвать из рук смотрителя орудие угнетения товарищей! Но мне казалось невероятным, чтоб нам уступили в таком серьезном пункте, а если так, то не будет ли это простым самоистязанием и притом навсегда, потому что, отка-

завшись однажды, отступить было уже невозможно. К тому же некоторые из пользовавшихся «льготой» гуляли с товарищами настолько уже больными, что им безусловно была необходима дружеская помощь.

Видя, как меня пугает разлука, Л. А. на время замолкала. Но вопрос, беспокоивший нас, снова и снова выплывал в наших беседах. Л. А. постоянно указывала мне на новые стороны вопроса: она говорила, что нужно иметь в виду не одни только непосредственные результаты протеста; что помимо прямой цели—добиться того, чтобы прогулки вдвоем и пользование огородом стали общим достоянием тюрьмы, нормой, а не льготой,—протест сам по себе имеет значение. Среди общего молчания и подчинения администрация увидит, что мы не относимся пассивно к тому, что совершается вокруг нас, что мы думаем не только о себе, как того постоянно требует начальство, но также сочувствуем товарищам и поднимаем голос в защиту их. «Говорите только о себе»—было всегдашним замечанием при употреблении кем-либо слова «мы». А тут, во имя товарищества, люди отказываются от того,что в глазах начальства составляет награду. Ничто не дорого так начальству, как беспрекословное, пассивное восприятие всего, что от него исходит.

И вот люди, лишенные не только всех юридических, но и просто элементарных человеческих прав, и относительно которых приняты все меры к полному подавлению их личности,—эти люди ставят себя, хотя бы на минуту, выше своих тюремщиков и палачей: они критикуют и осуждают распоряжения тюремной администрации и указывают на необходимость перемен в режиме, установленном для того, чтоб держать в железных тисках этих самых критиков.

Мало-по-малу Л. А. убедила меня в справедливости своих доводов, и вместе с некоторыми другими товарищами мы отказались от пользования льготами до тех пор, пока они не будут распространены на всю тюрьму. Первоначально до-

вольно многие соглашались действовать с нами заодно, но потом, как это часто случается в тюрьме, все спуталось и замешалось, и вместо более или менее общего протеста только Л. А., я, Ю. Богданович, Попов и Шебалин довели дело до конца. В течение полутора лет мы не пользовались льготами... За этот период немало утекло воды. Погиб жестокой смертью Грачевский, сжегший сам себя. Смотритель Соколов был после этого уволен, и новый смотритель Федоров весной 1888 г. дал льготы всем, кроме Лаговского. Когда же Л. А. и я заявили, что все же не воспользуемся прогулкой вдвоем, пока и Лаговский не будет пользоваться ею, то Федоров дал товарища и Лаговскому. С тех пор в тюрьме вывелись какие бы то ни было разделения на категории, и я думаю, что желание администрации не возбуждать неудовольствия заключенных было причиной, что льготы, как награда за поведение, остались только на бумаге (в инструкции), но исчезли в нашей тюремной жизни.

После того, как осенью 1886 года Л. А. рассталась со мной, в ее жизни начался новый период. В первые годы заключения в Шлиссельбурге ее отношение к крайне тягостным правилам тюремной дисциплины ничем не отличалось от отношения к ним всех товарищей: все мы были в подавленном состоянии, и в атмосфере застенка, в который были брошены, казалось, надо или прямо итти на смерть, как пошли Минаков и Мышкин [1]), или молчать, покоряясь участи связанного по рукам и ногам человека. Но Минаков и Мышкин, равелинцы и карийцы, были людьми, уже несколько лет терпевшими бесправие и угнетение; у них могло уже нехватить сил на дальнейшую жизнь при таких условиях. Из остальных многие, в том числе Л. А., были новички. Тот, кто был когда-либо под обаянием образа Иисуса, во имя идеи

---

[1]) Сначала один, а потом другой нанесли оскорбление действием и были расстреляны.

претерпевшего оскорбления, страдания и смерть, кто в детстве и юности считал его идеалом, а его жизнь—образцом самоотверженной любви,—поймет настроение только-что осужденного революционера, брошенного в живую могилу за дело народного освобождения. В первое время после суда душа во многих отношениях настроена почти так же, как у человека, который умирает: спокойный и просветленный, он не цепляется судорожно за то, что покидает, но твердо смотрит вперед с полным сознанием, что наступающее неизбежно и неотвратимо.

Мало того: идеи христианства, которые с колыбели, бессознательно и сознательно прививаются всем нам, внушают осужденному отрадное чувство, что наступил момент, когда делается проба человеку, испытывается сила его любви и твердость его духа, как борца за те идеальные блага, добыть которые он стремился не для своей скоропреходящей личности, а для народа, для общества, для будущих поколений.

Понятно, что при таком настроении никакой словесный или физический бой с шайкой сбирров и заплечных дел мастеров немыслим. Ведь Иисус не сопротивлялся, когда его поносили и заушали. Всякая мысль об этом является уже профанацией его чистой личности и кроткого величия...

Несомненно, и у Л. А. было подобное же настроение. Но потом оно исчезло. Пока мы виделись с нею, она сдерживалась, чтоб не оставить меня в одиночестве, которое для меня было так губительно. Но даже и тогда порой у нее прорывался гнев при обстоятельствах, которые мне казались ничтожными. Так, однажды жандарм, стоявший на посту и бдительно присматривавшийся ко всему, что мы делали, почему-то улыбнулся. Быть может, он слышал что-нибудь из нашего разговора, и это показалось ему забавным. Внезапно я услышала главный голос Л. А.: «Вы приставлены тут, чтоб наблюдать, а не для того, чтобы смеяться!!» говорила она, и вся дрожала от волнения. Я удивилась ее горячности и была огор-

чена: мне казалось, лучше бы сделать вид, что не замечаешь этой улыбки. Но Л. А. была другого мнения...

После нашей разлуки подобные столкновения с жандармами участились, а осенью 1887 г. Л. А. с несколькими товарищами была уведена в старую тюрьму. Это было наказание, так как гигиенические условия в последней были несравненно хуже, чем в новой тюрьме, где мы находились с 1884 г. Отлучение от остальных товарищей тоже должно было иметь тягостное психическое влияние, а обращение тюремщиков с наказанными было самое бесцеремонное. Пребывание в течение 6—7 месяцев в старой тюрьме было тем поводом, по которому ген. Шебеко делал Л. А. выговор. Увод же ее туда случился при следующих обстоятельствах.

Лаговский постоянно лазил на окно, чтоб в форточку смотреть на товарищей, гулявших в огороде, расположенном против его камеры. Сам же он в то время не имел ни прогулки вдвоем, ни огорода. Однажды, когда, несмотря на многократные замечания, он все-таки не повиновался, его увели в старую тюрьму. Узнав об этом, Л. А. стала требовать, чтоб увели и ее. Смотритель Соколов исполнил это желание. Тогда Попов потребовал того же. Увели и его. В той же тюрьме, но по другим поводам, оказались еще Грачевский и Манучаров. Последний был уведен за пение, на несколько минут нарушившее обычную тишину тюрьмы. По пути из одного здания в другое он был избит в присутствии коменданта Покрошинского, впоследствии отрицавшего этот факт.

В старой тюрьме шли почти непрерывные столкновения с жандармами из-за «стука». Товарищи переговаривались между собой, и, чтоб помешать им, жандармы поднимали неистовый шум: они брали полено и колотили им изо всей силы в дверь, страшно раздражая этим нервы всех, или скоблили кочергой по железу в коридорной печи. Начиналась адская музыка: в коридоре человек 6 здоровенных унтер-офицеров бомбардировали поленьями двери камер, а запертые в них,

измученные люди бешено отвечали, стуча кулаками и ногами,—единственными орудиями, которых у них нельзя было отнять. По обе стороны дверей, снаружи и внутри, люди были в бешенстве. Сцена выходила дикая и жестокая...

Когда-то в качестве студентки я посещала психиатрическую больницу в Берне. Там, между прочим, нас водили в отделение буйных. Одну женщину, высокую худую брюнетку, с горящими черными глазами и зловещим румянцем на щеках, я помню до сих пор.

Когда профессор вошел к ней, она, пробормотав несколько слов, внезапно принялась на него кричать, яростно жестикулируя и наступая. Скоро он должен был сделать несколько шагов назад и запереть дверь ее чисто тюремной кельи. Неистовые крики, угрозы и проклятья понеслись из-за двери. С силой, совершенно не гармонировавшей с истощенным видом пациентки, она наносила кулаками такие удары в дверь, что, казалось, еще минута, и дверь разлетится в щепки. Толпа учащейся мужской и женской молодежи стояла в тягостном смущении... Один профессор, холодный и невозмутимый, со строгими, пронизывающими глазами стоял, словно тюремщик, держа в руке ключ... Он привык, он не волновался...

Теперь такие же сцены происходили здесь, в тюрьме, с людьми, которые не были маниаками, но находились в условиях и обстановке, делавших их похожими на маниаков. Немного раньше, чем Л. А., я сама в течение нескольких дней была участницей в подобного же рода сценах, и ярость, которую я испытала, была так ужасна, что раз навсегда я дала себе слово никогда более не ставить себя в подобное положение...

И такую жизнь, такую обстановку, когда каждую минуту дверь могла отвориться и 6 жандармов могли ворваться в камеру, избить, связать и надругаться,—Л. А. с небольшими передышками вела целые месяцы...

Это один типичный случай, происходивший в первый, самый тяжелый период заключения. В последующие годы условия тюремной жизни стали изменяться к лучшему, дикие сцены выходили из обихода. Побои, вязанье и надеванье сумасшедшей рубашки, которым в первый период подвергались некоторые товарищи-мужчины,—прекратились. Столкновения с тюремной администрацией стали ограничиваться шумными пререканиями и резкими словами...

Тюрьма, конечно, дает множество поводов к неудовольствиям и конфликтам, и Л. А. в той или иной степени принимала участие в последних. Иногда она воевала по поводу фактов, относившихся к ней, но несравненно чаще мотивом было чувство товарищества, желание поддержать или защитить кого-нибудь другого. В своей брошюре о жизни в Шлиссельбурге она говорит: «Сидя в тюрьме, некоторое удовлетворение находишь лишь в постоянной борьбе за чувство человеческого достоинства». Она, действительно, искала такого удовлетворения и находила его. По своим взглядам на обязательность борьбы по всякого рода поводам она сходилась с той группой женщин на Каре, к которой принадлежали Ковалевская, Россикова и Ковальская. Но она не была истерзана и надломлена, как Ковалевская, и не отличалась деспотизмом и такой страстной нетерпимостью, которые причиняли Ковалевской такие жгучие нравственные страдания. Л. А. уважала чужое убеждение и чужую личность. Конечно, холодок пробегал и у нее, когда по поводу какого-нибудь тюремного вопроса дело доходило до резкого разногласия с друзьями. Но это было мимолетное явление; бесконечно добрая, она скоро забывала не только разногласия, но даже и жесткое слово, которое могло сорваться по ее адресу. Ее незлобие в последнем отношении было удивительно: она ни на минуту не забывала тех условий, среди которых мы жили в Шлиссельбурге, и эти условия в ее глазах вполне об'ясняли и извиняли всякую раздражительность. Сама она по отношению к

товарищам никогда не страдала этим качеством: ее характер был всегда ровен и отличался несравненной мягкостью и веселостью, что составляло резкую противоположность с ее всегдашними отношениями к жандармерии низшего и высшего порядка.

Долго гуляли мы с Л. А., беседуя только вдвоем и не имея никакой возможности увидеться с остальными товарищами. Но, как искусно описал М. Ю. Ашенбреннер в своих воспоминаниях в 1-ой книжке «Былого», в один прекрасный день преграды, разделявшие нас, рушились: в заборах самовольно были прорублены окошечки, и явилась возможность в каждых двух смежных огородах видеться и говорить с соседями. Видя, что изоляции уже не существует и что восстановить старую систему значило бы поднять в тюрьме волнение и беспорядок, комендант Гангардт, всегда отличавшийся большим тактом и лойяльной добротой, сделал департаменту государственной полиции доклад, в котором предлагал переделать огородные заборы таким образом, чтоб верхняя часть их была заменена деревянной решеткой. Он мотивировал эту реформу скудостью света в огородах, со всех сторон затененных сплошными заборами в 3½ аршина высоты, отчего растения тянулись и плохо развивались. Реформа прошла, и это было великое событие в нашей жизни. Не говоря уже о том, что количество солнечного света, который мы научились ценить только в тюрьме, сильно увеличилось, и уже от одного этого нам стало веселее жить,—мы получили неоценимое благо, стоя на маленьких эстрадах, построенных нами у заборов, говорить уже не в окошечко, а через решетку с соседями. Этот перелом в общей жизни тюрьмы произошел в 1892 году. Наша жизнь расширилась неизмеримо, особенно для Л. А. и меня. Товарищи-мужчины могли сменяться друг с другом парами (это тоже далось не сразу!), и таким образом каждый мог познакомиться со всеми и из 21—28 человек выбирать себе любого собеседника, мы же

были совершенно лишены всякого другого общества, кроме нас двух, так как других женщин в тюрьме не было. На меня одиночное заключение подействовало таким образом, что я потеряла потребность в общении с людьми. Один или два друга были бы для меня вполне достаточны. Но Л. А. была человек крайне общительный, она любила общество, любила, как она выражалась, быть «на улице». В этом мы составляли в тот период полную противоположность: я прямо тяготилась встречами с товарищами и чувствовала непреодолимое стремление бежать от них. Так как я была вполне откровенна с Л. А., то часто жаловалась ей на тягостные чувства, которые испытывала; но она всеми силами старалась убедить меня, чтоб я боролась с нездоровым стремлением к одиночеству. Она находила его ненормальным и утешала, что понемножку это пройдет. Много раз она ободряла меня, уговаривала и всячески старалась облегчить мне возврат к естественным отношениям к людям. Ее здравомыслию и гуманной поддержке я очень много обязана в том, что в конце-концов стала находить приятным общение с товарищами и вышла из состояния, которое я теперь не могу назвать иначе, как состоянием одичания. Ту же милую доброту и широкое альтруистическое чувство, которыми Л. А. обогревала меня, она дарила и другим товарищам. И если для нее самой было нужно и приятно их общество, то для них, лишенных теплой ласки, ее обаятельная личность имела неотразимую привлекательность. Все хотели ее видеть, и как можно чаще видеть, и ей приходилось, как выразился однажды Морозов, резать себя на кусочки. И, в самом деле, она резала, потому что отказать в просьбе была не в силах. Время ее прогулок было распределено на несколько смен, состоявших в том, что в то время, когда она находилась в одном огороде, в соседнем находились двое товарищей; затем они уходили, и на их место являлись другие.

После обеда в 1 час нас водили в мастерские, помещав-

шиеся в 1890-х годах в старой тюрьме. Когда там добились того, чтоб форточки в дверях были во время работ отперты, и затем товарищи завоевали право находиться по 2 и даже по 4 человека в общем коридоре, то у дверей столярной, где работала Л. А., постоянно стояла кучка собеседников, и не смолкали разговоры, шутки или прения. Всех она встречала с радушием и улыбкой, всегда находя темы для разговора и обсуждения и служа для своих друзей постоянным источником радости и утешения.

Невозможно перечислить все, что она делала для товарищей, эти сотни мелких услуг, забот и маленьких подарков, которые скрашивали и разнообразили монотонную жизнь в тюрьме. Понятно, что ее любили горячо. Прочувствованные стихи Н. А. Морозова, написанные по случаю ее увоза от нас в 1896 году, прекрасно выражают чувства, которые она вызывала в друзьях:

Полна участья и привета
Среди безмолвия и тьмы,
Она сошла, как ангел света,
Под своды мрачные тюрьмы...

Была чарующая сила
В душе прекрасной и живой.
И жизнь она нам обновила
Своей сердечной чистотой.

В глухой тюрьме она страдала
Среди насилия и зла;
Потом ушла и не узнала,
Как много света унесла...

Есть в мире люди; их встречаешь
Лишь в дни гонений и утрат,
Но мир за них благословляешь
И жизнь за них отдать бы рад!..

В начале ноября 1896 года, когда мы находились в старой тюрьме на работе в мастерских, внезапно пришел вахмистр

и увел одного за другим несколько лиц [1]) и между ними и Л. А., сказав, что их ждет комендант. Все были в недоумении и тревоге, не зная, что бы это значило. Однако, уведенные скоро возвратились. Они были взволнованы и рассказали, что комендант им об'явил, что по коронационному манифесту срок каторжных работ им сокращен: каторга бессрочная заменена 20 годами (Василию Иванову, Ашенбреннеру и Поливанову), а остальным (Панкратову, Суровцеву, Яновичу и Л. А.) срок сокращен на одну треть, в силу чего Л. А., Суровцев и Янович должны теперь же выйти из крепости. Частичная амнистия, оставлявшая других товарищей в прежнем положении, не приносила амнистированным радости, а Л. А. встретила ее прямо с гневом: когда мы, обрадованные, что хоть несколько человек выйдут из нашей могилы, бросились поздравлять ее, она не хотела слышать никаких поздравлений и ликований и лишь мало-по-малу примирилась с фактом. Тогда начались спешные приготовления к отправке и планы насчет будущего.

Еще в 1895 году, предполагая, что через четыре года, по окончании срока каторги, она будет сослана в Сибирь или на Сахалин, Л. А. решила пополнить свои медицинские знания, чтоб в ссылке быть полезной населению в качестве фельдшерицы. Доктор Безроднов, который, оставаясь вполне лойяльным, облегчал нам жизнь своей гуманной отзывчивостью на каждую нашу нужду, оказал и тут всевозможную помощь, доставив некоторые учебники, полный человеческий скелет и отдельные кости, по которым Л. А. могла изучить анатомию. Морозов прочел ей краткий курс химии, а Лукашевич, этот образец альтруизма, когда дело шло о помощи в научных занятиях, взялся прочесть Л. А. на гуляньи курс гистологии, что и выполнил блестящим образом. Микроскоп

---

[1]) Василия Иванова, Суровцева, Яновича, Поливанова, Панкратова.

у нас был с 1891 г., когда на заработанные товарищами [1]) деньги комендант Гангардт купил нам подержанный микроскоп. Этот микроскоп выносился на гулянье, ставился между рейками решетчатой части забора, и таким образом Лукашевич мог демонстрировать Л. А. гистологические препараты, которые приготовлял с большим искусством. Л. А. быстро усваивала необходимые знания и с большим усердием изучала предметы намеченного курса, который предполагала пройти в четыре года. Амнистия неожиданно прервала эти занятия, чрезвычайно полезные в видах будущей ссылки.

Тяжело было Л. А. покинуть нас после стольких лет общей жизни, полной всевозможных невзгод. Она любила нас и знала, что для некоторых нужна, как свет, как воздух. Нежная заботливость об этих лицах сказывалась много раз в последних ее беседах со мной, когда она просила меня не забывать, что для них ее от'езд особенно тяжел... 23 ноября ее и 4-х других товарищей—Мартынова и Шебалина, 12-летний срок которых как-раз тогда кончился помимо амнистии, и амнистированных Яновича и Суровцева—должны были увезти.

Последний час перед от'ездом Л. А. провела в моей камере. Все время она плакала, я утешала. Трогательные слова, сказанные ею на прощанье, были, что в Шлиссельбурге она покидает лучших людей, которых когда-либо знала...

В 1 час дня уезжавших одного за другим стали выводить из камер, а потом из тюрьмы. По выходе из тюремной ограды на обширный двор крепости, где с одной стороны находятся братская могила по убитым воинам и ряд домов, в которых обитает высшая тюремная администрация, а с другой—церковь, сад и казармы низших чинов, каждый освобожденный останавливался, чтоб безмолвным жестом выразить нам

---

[1]) Они выточили ограду на братскую могилу воинов, павших в битве со шведами при Петре I.

Л. Волкенштейн.

Г. Исаев.

свое «последнее прости». Из окон камер мы смотрели на их удалявшиеся фигуры. Каждый, обернувшись в нашу сторону, делал низкий поклон; мужчины снимали шапки и махали ими в знак приветствия, а Л. А., остановясь два или три раза, махала платком. Мы тоже держали в руках белые платки, которые издали легче было видеть через двойные рамы и решетки наших окон. Мы провожали взглядом друзей, возвращавшихся к жизни, и в ту минуту, казалось, вокруг нас образуется новая темная пустота. Вот они дошли до ворот и скрылись. Для нас они перестали существовать: словно морская бездна разверзлась и поглотила их, и ни одна весточка не должна была сказать нам, что будет с ними дальше... Темная неизвестность, как «слепцов» Метерлинка, всегда и во всем окружала нас...

По выходе из Шлиссельбурга Л. А. увидалась, наконец, со своим сыном, тогда уже студентом естественного факультета Петербургского университета, и духовная связь между ними оказалась сильна и глубока. Муж Л. А. Александр Александрович Волкенштейн, еще до суда говоривший ей, что в случае ссылки в Сибирь последует за ней, исполнил это обещание теперь и отправился на Сахалин, назначенный Л. А. как место поселения. Там в порте Корсаковском, представляющем лучший пункт всего острова, он занял место врача в больнице, а прибывшая туда морем Л. А. получила место фельдшерицы. В газете «Наша Жизнь» от 26 января 1906 года помещена теплая заметка г-жи Александровой о деятельности Л. А. на Сахалине.

Эта жизнь была полна самоотвержения и активной любви к ближнему. Обстановка Сахалина, с его бесправным населением, жестокими нравами, презрением администрации к человеческой личности, давала полный простор для протеста против угнетателей и защиты угнетенных, к чему было так склонно сердце Л. А. Как должно было влиять на больных ее участливое, мягкое отношение, может составить себе по-

нятие всякий, кто только имел случай знать лично Л. А. В Шлиссельбурге были товарищи, которые считали, что обязаны ей своею жизнью. Так, С. А. Иванов, одно время почти обреченный на гибель вследствие кровотечения горлом, приписывает свое воскресение не чему иному, как сочувствию и нравственной поддержке, которую во время болезни ему оказывала Л. А., нарочно переселившаяся к нему в соседство, чтоб через стену оказывать ему дружескую помощь. Кто читал мемуары об Алексеевском равелине нашего дорогого товарища П. С. Поливанова, конечно, помнит трогательный образ Н. Колодкевича, на костылях подходившего к стене, чтоб несколькими ласковыми словами утешить и развлечь Петра Сергеевича. Короткий разговор через бездушный камень, разделявший двух узников, погибавших от цынги и одиночества, был их единственным утешением и поддержкой. По признанию автора мемуаров, не раз доброе слово Колодкевича спасало его от острых припадков меланхолии, толкавших к самоубийству... И в самом деле, ласковое участие в тюрьме творит истинные чудеса, и если бы легкий стук в стену не разрушал каменной преграды, разделяющей человека от человека, осужденный не имел бы возможности сохранить жизнь и душу... Не даром борьба за стук есть первая борьба, которую ведет узник: это—прямо борьба за существование, и за нее, как за соломинку, бессознательно хватается всякий замурованный в келью.

Когда же наступает момент, что осужденные на одиночное заключение могут встретиться лицом к лицу и заменить символический стук живой речью, то доброта души, воплощенная в звуки голоса, ласковый взгляд и дружеское рукопожатие дают отраду, неведомую для того, кто не терял свободы. В этом отношении миссия и роль Л. А. в тюрьме была велика, и многие сердца навсегда запечатлели ее образ и сохраняли о ней горячее воспоминание, полное признательности...

В Шлиссельбурге и на Сахалине она была одна и та же, великая силой любви своей к людям, полная благородного мужества и неуклонной стойкости.

Прекрасная душой, Л. А. обладала и красивой внешностью: она была довольно высокая, очень стройная. Темные, слегка вьющиеся волосы тяжеловесной косой падали на ее спину. Прекрасный цвет лица и мягкие славянские черты с бровями, проведенными широким мазком, хорошо очерченный рот и чудные серые глаза, неотразимые в минуты серьезности, вот ее портрет в лучшие годы жизни в Шлиссельбурге.

Л. А. убита 10 января 1906 года во Владивостоке, где она жила последние годы по от'езде с Сахалина. Одна из пуль, направленных в безоружную толпу манифестантов, среди которых была и она, порвала ее жизнь. Она покоится в земле на расстоянии 9 тыс. верст от того места, где она мучилась и страдала и где погребены те, кто не перенес физических и нравственных тягостей нашей Бастилии. Но одна и та же идея, идея свободы соединяет эти два отдаленные пункта, лежащие на противоположных концах нашей родины. Борьба, начатая одиночками, поднятая среди общего молчания организацией, которая была сильна не числом, а лишь энергией и готовностью погибнуть за общее благо, волнует все наше отечество от моря до моря и, быть может, лучшей эмблемой единодушия русских людей, стремящихся к свободе, будут служить эти могилы: в Шлиссельбурге—с одной стороны и во Владивостоке—с другой. И если когда-нибудь здесь и там захотят почтить память погибших, то памятник в честь их должен быть один и тот же, и на нем можно начертать одни и те же слова:

«Погибшим—слава,
Живущим—свобода!»

25 февраля 1906 г.

Григорий Прокофьевич Исаев.

(Род. в 1857 г., ум. 1886 г.).

Григорий Прокофьевич Исаев по общественному положению родителей принадлежал к классу неимущих: его отец был почтальоном в Могилеве и умер рано, оставив семью без всяких средств.

До 12 лет Исаев воспитывался в Могилевском сиротском доме, а в 1868 г. поступил в местную гимназию. По свидетельству тех, кто знал его в этот период, он рос тихим и скромным мальчиком: его голоса не было слышно и фигурки не видно ни в шумной свалке, ни в оживленной игре товарищей. Вместе с тем, благодаря, быть может, семейным влияниям и трудным условиям жизни, он был крайне набожен и религиозен: аккуратно ходил в церковь и не пропускал ни одной службы, посещая храм даже и в тех случаях, когда это для гимназистов было не обязательно. Воображение невольно рисует его ребенком, который молится сосредоточенно и усердно, серьезными серыми глазами всматриваясь в лик богоматери. С большими и малыми, со старухами и молодыми он идет в крестном ходе, любуется развевающимися хоругвями и с детским благоговением прикладывается к чудотворной иконе, пламенно и наивно ожидая и для себя от нее чуда. Или, замешавшись в пеструю толпу мещан и мелких чиновников, спешит на городское кладбище, выполняя обряд поминовения усопших.

В гимназии Исаев учился хорошо и безостановочно переходил из класса в класс. Однако, из 5-го класса его чуть-чуть не исключили. В это время он и его одноклассники интересовались русскою литературой, и под влиянием «некоторых развитых людей», как глухо сообщает одно известие, в гимназии образовался кружок саморазвития. По-видимому, дело не обходилось и без нелегальных изданий. Так, по крайней мере, утверждают официальные документы: обвинительный акт 1882 г. прямо говорит, что Исаев был замечен тогда в распространении запрещенных книг среди товарищей. Гимназическое начальство не замедлило накрыть «крамольников», и есть сведения, что кое-кто из учеников был выброшен за борт. Недели две не посещал гимназии и Исаев, но «в виду отменно скромного поведения и отменных успехов», он, по ходатайству педагогического совета, был оставлен в учебном заведении и благополучно кончил его в 1876 г. Осенью он отправился в Петербург и поступил в университет на естественное отделение физико-математического факультета.

Приезд Исаева в Петербург совпал с периодом расцвета революционного движения. После разгрома 1873—74 гг. это движение успело оправиться, и на развалинах эпохи «хождения в народ» в Петербурге была выработана новая программа, известная под именем *народнической,* и основано тайное революционное общество «Земля и Воля». Это было событием большой важности, так как с тех пор движение уже не замирало и продолжалось преемственно вплоть до наших революций.

Новая программа вызвала оживленные сходки, дебаты и известный под'ем среди учащейся молодежи. А за программой пошли факты.

6 декабря 1876 г. на площади Казанского собора произошла так называемая «Казанская демонстрация»; общество «Земля и Воля» хотело ею публично заявить о своем высту-

плении на общественное поприще. В этот день на площади впервые было выкинуто красное знамя с заветными словами: «Земля и Воля». Безумно смело было выкинуто оно, но вместе—как робко! Как луч из-за туч в зимнюю стужу, мелькнул красный лоскут и скрылся, спрятался в кармане подростка-рабочего [1]) и канул точно в темную бездонную пропасть, канул надолго, на многие годы, пока не народился отклик в народной массе, и явились толпы рабочих, запрудили широкие проспекты столицы и высоко, высоко подняли это знамя.

За демонстрацией последовало избиение, за избиением—суд.

Суд скорый и немилостивый: щедро сыпались—каторга, поселение.

За этим процессом последовал ряд других: «процесс 50-ти», «процесс 193-х». В течение двух лет они поддерживали возбужденное состояние в обществе и для своего времени имели громадное значение, вызывая не только интерес, но и глубокое сочувствие к подсудимым. Трагические вести из тюрьмы и яркие впечатления из залы судебных заседаний непрерывно будили мысль и чувство молодежи.

Взять хоть речь Петра Алексеева. Сколько силы, энергии и одушевления было в словах этого полуграмотного ткача! Как хорош был он в своей белой рубахе, со смелым жестом поднятой кверху полуобнаженной, мускулистой руки! Тут были и предупреждение, и призыв,—предупреждение «имущим» и призыв интеллигенции итти вместе с «неимущими», рука-об-руку против эксплоатации и гнета.... Тщетно председатель останавливал его. Тщетно кричал: рабочий громогласно закончил свой пламенный призыв, и, казалось, в лице его в зале заседания говорит весь пролетариат... Или речь

---

[1]) Я. Потапова.

Бардиной, полная ума и сдержанного чувства; судьи выслушали ее, хотя и не хотели бы слушать...

И сотни, тысячи листков с этими речами облетали Петербург и шли в провинцию.

Потом явилась первая революционная газета того периода—«Начало». Она печаталась без больших конспираций, почти на глазах у всех. Но предатель, провокатор еще не народился: все знали и... все молчали.

Если революционное выступление и прекрасный образ 16-ти женщин на «суде 50-ти» тронули и привлекли сердца, то не меньшее, но уже совершенно иное значение имел грандиозный протест, каким по существу был «процесс 193-х» с его бурными сценами и последующим выходом на свободу многих участников его, горевших желанием продолжать борьбу против существующего строя.

Понятно, что молодой, увлекающийся, энергичный студент Исаев волновался теми же вопросами и жил теми же интересами, какими волновались и жили наиболее отзывчивые сердца учащейся молодежи. Он жадно ловил призывы к борьбе, бросался на всякую книгу по общественным вопросам, принимал участие во всех студенческих делах, в кружках, распространял революционные издания и т. п. Пробыв два года на естественном факультете, он перешел в Медико-Хирургическую академию прямо на 3-й курс. Этот переход был сделан под влиянием идей народничества: Исаев хотел иметь специальность, которая давала бы возможность стоять близко к народу. Кончать курс в академии он не предполагал, но рассчитывал занять место в деревне, сдав экзамен на фельдшера. Полиция скоро заметила неблагонадежного молодого человека, и над ним был учрежден тщательный надзор. Часто приходили к нему с обыском, но когда бы ни явились, ничего подозрительного не находили. Иногда словно чутье подсказывало ему, что надо беречься, а впоследствии сведения, получаемые конспиративным путем

из III отделения через Клеточникова, с точностью указывали, у кого должен быть обыск. Не зная этого, товарищи по квартире немало удивлялись.

— Гришка, ты что это разложил свой товар, как купец? — говорили ему его сожители - студенты, указывая на всевозможную нелегальщину, разложенную и разбросанную на квартире.

— Сегодня обыска не будет,—уверенно отвечал Исаев. А дня через 2—3 уже при самом входе, на пороге, он говорил:

— Ну, ребята, сегодня будут гости! Живо убирайте литературу!..

И литература убиралась, куда придется, вон из дому: к товарищам, к «сочувствующим», а подчас предавалась пламени.

Летом 1879 г. к Исаеву был приставлен шпион, неотступно следовавший за ним с утра до вечера. Но где ему было угоняться за своей жертвой! Григорий знал все выходы и ходы, все переулки и проходные дворы и, бросаясь из конца в конец города, не давал сыщику ни отдыха, ни срока... Возбужденный ходьбой и счастливый от удачи, Григорий приходил, наконец, «чистым» на нелегальную квартиру в «Лесном» и с добродушным смехом рассказывал свои приключения. Шпион измучился, проголодался и отстал. А иногда выходило еще забавнее: Григорий быстро оборачивался назад и сталкивался лицом к лицу со своим преследователем.

— Нате-ка... подите лучше, выпейте!..—и он совал шпиону двугривенный, чем тот вполне удовлетворялся.

Жил студентом Исаев бедно. Денег было мало—гроши какие-нибудь, добытые мелким заработком, дешевенькими уроками. Одевался почти как рабочий, комнату держал с товарищами, а пил и ел, как придется. Но когда же он жил без нужды!? И разве «сытость» входила когда-нибудь в «порядок» его дня? Он обедал в дрянной «закусочной» в Новом

переулке, где за 10—13 коп. можно было обмануть ненасытный студенческий желудок. И какая это была «закусочная»! Смрад, грязь... И что за публика! Снять пальто было невозможно—повесить его было негде, а повесь—украли бы. Шапку тоже приходилось хранить особым способом—положить в карман, придерживать левой рукой, чтоб не вытащили... И так сидели, не раздеваясь, тесными рядами и орудовали лишь правой рукой.

Все было плохо: жилище, питание и одежда, но Исаев вырос в бедности, и хотя был худощав, но имел хорошее здоровье. С круглого, миловидного лица его с мелкими чертами не сбегал румянец, серые глаза не теряли блеска, а на губах всегда играла улыбка.

Но пока Исаев учился, жизнь не стояла на одном месте, и то, что в 1876—77 гг. было общим веянием, к осени 1879 г. изжило свой век. Три года «землевольцы» севера и «бунтари» юга искали доступа к сердцу народа,—все было напрасно: народ молчал, спала деревня. А в городах закипала тем временем *борьба, борьба против агентов власти.* Раздался выстрел Засулич в Трепова и отозвался по всей России. Затем последовали убийство Мезенцова, покушение на Дрентельна, на Котляревского, убийство Гейкинга, кн. Крапоткина, вооруженные попытки освобождения арестованных и перестрелка при арестах.

Наиболее чуткие из революционеров уловили пульс жизни. Осинский, быть может, раньше всех и затем Квятковский, Александр Михайлов, Морозов. Они чувствовали, что рамки «Земли и Воли» не вмещают требований жизни, и предвидели, что назревает конфликт: раньше или позже тайное общество «землевольцев» должно будет расколоться. В тиши одиночества, в задушевной беседе с глаза на глаз и в бурной схватке с более консервативными товарищами они ковали оружие для будущего, подготовляя выступление «Народной Воли». Втайне они группировали подходящие силы и

к лету 1879 г. основали в Петербурге группу, девизом которой избрали знаменательные слова: «Свобода или смерть!».

В эту группу, кроме Квятковского, Михайлова, Арончика, Якимовой и других, был привлечен и Григорий Исаев, сделавшийся к тому времени террористом.

Для замышляемой борьбы с самодержавием было нужно средство страшное и разрушительное. Давно, еще с 1874 г., говорили о динамите... Квятковский соединил руки Исаева, Кибальчича и приехавшего из-за границы Степана Ширяева, и эти три лица, принеся каждый свои специальные знания, создали ко времени разделения «Земли и Воли», в обстановке обыкновенного жилища, целые пуды взрывчатого вещества, которого хватило Исполнительному Комитету на покушение в Москве и на мины под Одессой и Александровском.

Когда образовалась «Народная Воля», Исаев, Кибальчич и Ширяев встали в обязательные отношения к Исполнительному Комитету и приняли на себя агентуру различных степеней [1]).

Имена этих трех неразрывно связаны с террористической деятельностью Исполнительного Комитета. Они прочли книги, пошли в лабораторию, сделали опыты; они все исследовали, все обдумали и все испробовали. Шаг за шагом, путем приспособления, усовершенствования и изобретения, они добились своего! Исаев и Ширяев вели подкоп и закладывали мину из дома «Сухорукова» в Москве, ту мину, которая взорвала царский поезд 19 ноября 1879 г. Кибальчич тем временем руководил установкой электрических батарей и проводов от них под Александровском и Одессой. В лице Халтурина эти техники—Исаев и Кибальчич—вошли в Зимний дворец, и 5 февраля 1880 г. его стены задрожали от взрыва, приготовленного ими. Под их же руководством опускались у Каменного моста гутаперчевые подушки, набитые

[1]) Исаев и Ширяев сделались агентами III степени, т.-е. членами Испол. К-та.

динамитом. Кибальчич, вместе с Грачевским и Сухановым сидел в ночь на 1-е марта над бомбами. А потом они умерли,—одни раньше, другие позже: Кибальчич и Суханов—на эшафоте. Ширяев—в Алексеевском равелине, Грачевский и Исаев—в Шлиссельбурге.

Какая доля участия в этой террористической эпохе принадлежит каждому?

Если исключить Ширяева, арестованного вскоре после 19 ноября 1879 г., то, говоря крупными штрихами, Кибальчича можно назвать мыслью, а Исаева руками Исп. Комитета в его террористической деятельности. Их натуры были различные и даже противоположные и взаимно дополняли друг друга. На суде по делу 1-го марта Кибальчич из чувства справедливости все время отмечал, что он работал не один, что их «было трое». А Исаев на процессе 1882 г. прямо заявил, что изобретение бомб 1-го марта принадлежит ему. Однако, в общем «старшинство», несомненно, принадлежало Кибальчичу.

Стоит лишь вспомнить энергичные слова его в одном из писем перед выходом из тюрьмы в 1878 г. Давая своего рода аннибалову клятву, он говорил: «Даю слово, что все свое время, все свои силы я употреблю на служение революции посредством террора. Я займусь такой наукой, которая помогла бы мне и товарищам приложить свои силы самым выгодным для революции образом. Очень может быть, что целые годы придется работать над тем, чтобы добыть нужные знания. Но я не брошу работы, пока не буду убежден, что достиг того, что мне надо»...

Кибальчич был пионером и первоучителем; но если в некотором отношении Исаев и был его учеником, то учеником, порой превосходившим учителя.

В самом деле, натура мечтательная и несколько флегматичная, Кибальчич был человеком не от мира сего.

По складу и направлению ума философ и теоретик, он плохо разбирался в практических делах, был рассеян и в техническом отношении не отличался ловкостью. Его голова была всегда наполнена проектами и комбинациями; самое это обилие часто мешало ему остановиться на чем-нибудь определенном... Он постоянно отвлекался в сторону, разрабатывая все новые и новые детали в области своей специальности. Это был «искатель», с любовью обдумывающий и видоизменяющий свои идеи и не спешащий к практическому осуществлению первоначального наброска. В деловом смысле это было неудобно и невыгодно. «Народная Воля» была прежде всего партией действия и много терять времени не любила и не могла. Исаев в этом отношении был как-раз нужным человеком: подвижной сангвиник и ловкий техник, все умеющий приладить и пригнать, он налету хватал всякий намек, каждую мысль. Со здравым смыслом практического человека он взвешивал предлагаемое и тотчас же пробовал на деле. А после этого, в случае несостоятельности, придумывал что-нибудь свое, простое и удачное. К тому же Исаев был необыкновенно усерден в работе и не знал устали. За что бы он ни брался—за типографское дело или паспортное бюро, за производство динамита, работу в подкопе или сношения с жандармами по переписке с Нечаевым,—во всем он был исполнителен и аккуратен: на него всегда можно было положиться, что в свое время и в должный час все будет сделано.

Летом 1880 г. в Одессе, когда во второй раз там делались приготовления к покушению на Александра II, на Итальянской улице устраивался подкоп из лавочки, нанятой Саблиным и Перовской. Технической частью заведывал Исаев, приехавший для этого из Петербурга и живший вместе с Якимовой на особой квартире, где хранились динамит, запалы и прочее. Тут однажды в руках Исаева взорвало запал с гремучей ртутью. Три пальца левой руки были оторваны и

с силой отброшены в разные стороны. Кожа руки висела безобразными клочьями, из сосудов струилась кровь, и в первую минуту у Исаева вырвалось обращение к Якимовой: «Убей меня!».

Но самообладание скоро вернулось. Якимова с присущим ей присутствием духа перевязала искалеченную руку, быстро уничтожила следы крови и, убедившись, что ни хозяева, ни соседи не обратили внимания на шум взрыва, свезла Григория Прокофьевича к доктору, а затем в больницу.

Как человек, Исаев отличался большой скромностью, а в общении с людьми был, что называется, добрым малым: всегда ровным, веселым и общительным. В противоположность тому, что рассказывают о его детстве, он любил посмеяться и повеселиться. Помню, как в компании товарищей он встретил новый наступающий 1881-й год.

В разгаре танцев он так отплясывал трепака, что из нижнего этажа прислали сказать, чтобы были потише. Тогда Исаев сбросил башмаки и в таком виде с одушевлением продолжал свой дикий танец. Из всех присутствовавших (Гельфман, Желябов, Якимова, Перовская, Саблин и др.) это была самая оживленная фигура: он как-будто хотел наплясаться если не на всю жизнь, то на целый год.

С людьми как на университетской скамье, так и в революционной среде, с которой он вполне слился в 1879 г., когда оставил университет и стал нелегальным, он сходился очень легко, но, полный доверчивости, плохо разбирался в людях. Так, Рысакова рекомендовал народовольцам именно он; благодаря его рекомендации Рысакову и была дана та крупная роль, которая оказалась ему не по силам.

Это незнание людей зависело отчасти от молодости—Исаеву тогда было всего 23 года,—но, главным образом, оттого, что вне узкой сферы идеалистически настроенной университетской молодежи он ни жизни, ни людей не видел. Все другие агенты Исполнительного Комитета имели за со-

бой известное прошлое: они пережили несколько фаз революционного движения—фазу хождения в народ, период народничества «Земли и Воли» и не мыслью, а самой жизнью дошли до «Народной Воли». Университет и высшая школа были у них далеко позади. Они жили в деревне, более или менее знали крестьянскую среду и городских рабочих, имели сношения с представителями либеральных слоев общества и т. д. У них была известная опытность, пережитые впечатления и встречи. За единичными исключениями, все (в 1879 г.) были нелегальными, побывали в тюрьме или ссылке, были судимы или разыскивались. Ничего *этого* у Исаева не было: он прямо со студенческой скамьи, еще не покидая ее, вступил на практическую работу сначала в группу «Свобода или смерть», а потом перешел в нелегальные в качестве агента Исполнительного Комитета, и для развития его личности осталось лишь узкое русло ультраконспиративной деятельности. Оттого и внутреннего богатства у Исаева было меньше, чем у других народовольцев, которые до этого жили если не всесторонней, то все же разнообразной жизнью.

В зиму 1880—81 гг. Исаев был вместе со мной хозяином той квартиры у Вознесенского моста, где происходили заседания Исп. Комитета «Народной Воли» и после рождества заседали агенты Комитета, приглашенные на с'езд по вопросу об инсуррекции. На этой квартире были приняты все важные решения этого кульминационного периода деятельности Комитета: здесь был решен наем и устройство магазина сыров на Малой Садовой; здесь обсуждались все перипетии работ по подкопу из магазина, и по очереди ночевали муж и жена Кобозевы, так как ночные работы в подкопе не давали спать дома хозяевам магазина. Сюда же стекались тревожные вести о подозрениях полиции насчет магазина, о неофициальном обыске его под предлогом осмотра с санитарной целью и т. п. Здесь же 28 февраля после происшед-

шего накануне ареста Желябова и Тригони, на собрании, созванном спешно, было решено действовать *завтра,* действовать во что бы то ни стало, хотя бы только одними бомбами. Это *завтра* было 1-е марта. Здесь же после 1-го марта было прочитано и утверждено известное письмо к Александру III, написанное Львом Тихомировым.

2 апреля Исаев был арестован на улице, и так как он отказался назвать себя и указать квартиру, то для опознания градоначальник в течение двух дней показывал его дворникам всего Петербурга: они в градоначальстве поочередно дефилировали перед столом, а за ним стоял Исаев и, посмеиваясь, курил папироску, как о том сообщали газеты.

Из квартиры, единственное богатство которой состояло из динамита, нелегальной литературы и т. п. вещей, все по моему призыву было вынесено морскими офицерами кружка Суханова, после чего покинула квартиру и я. Когда Исаев был, наконец, признан дворником дома, в котором мы жили, полиция нашла лишь пустые комнаты и еще теплый самовар.

Исаева судили в 1882 году по «процессу 20-ти» народовольцев (Фроленко, Александр Михайлов, Баранников, Колодкевич, Тригони и др.). Он был приговорен к смертной казни. Прошло 2 месяца неизвестности, пока, наконец, всем приговоренным к смерти, кроме Суханова, было об'явлено, что смертная казнь заменена каторгой без срока. После этого Исаев вместе с другими был заключен в Алексеевский равелин.

Цынга и смерть скоро стали косить равелинцев. Умерли такие здоровяки, как А. Михайлов и Баранников; умерли и такие слабосильные, как Колодкевич и Клеточников; сошел с ума Щедрин; дважды покушался на свою жизнь Поливанов. Не было ни книг, ни достаточно воздуха и пищи. Все были больны от голода, а доктор Вильмс откровенно говорил, что изменить режим для больных он может только с разрешения администрации, но этого разрешения нет. Болел и Исаев, и

когда в 1884 году его привезли в Шлиссельбург, у него уже была чахотка.

В начале 1885 года, вскоре после расстрела Мышкина за протест против режима, шести шлиссельбуржцам, наиболее слабым и больным, было разрешено гулять вдвоем. Это были: Морозов и Буцевич, Тригони и Грачевский, Исаев и Фроленко. Болезнь Исаева была в то время в полном разгаре: в легких у него были каверны, и он страшно кашлял и харкал кровью.

Фроленко нашел своего товарища в сильном религиозном возбуждении. В тиши одиночества, среди обстановки, более суровой и печальной, чем жизнь инока или анахорета, в Исаеве проснулись когда-то столь сильные религиозные чувства, дремавшие до поры до времени в глубинах бессознательного. Он снова обратился к богу, к Христу, как утешителю во всех скорбях. С горячей страстностью старался он обратить в свою веру и Фроленко, постоянно возвращаясь к беседам на темы о бытии бога, о загробной жизни и бессмертии души.

25 марта 1886 г. Исаев умер. Умер после невыносимо тяжелой, продолжительной агонии, незримым свидетелем которой была вся тюрьма, в бессильной муке слышавшая его стоны.

Но вот все стихло. Наступили покой и тишина... Что это: забытье? передышка? или конец?

Жандармы попрежнему четыре раза в день отпирают камеру, входят и выходят из нее.

Значит, не кончено, он жив... Тюрьма слушает, прислушивается...

На второй, на третий день то же самое, и те же недоумения волнуют нас: зачем они ходят в *его* камеру? Что они там делают? Неужели он еще жив? А между тем все так тихо, ни одного стона...

На четвертый день комедия прекращается; покойник, по-видимому, унесен. Камера заперта и в нее более не заходят. Одним человеком в тюрьме стало меньше: счет запираемых дверей ясно говорит об этом.

Но когда же Исаев умер? Днем или ночью? В котором часу? Никто не знает, никто не скажет.

Когда его унесли? Никто не заметил, не мог заметить... Что с ним сделают? Где похоронят? Никто не знает, никто не скажет...

«*Отсюда не выходят, а только выносят!*»—сказал однажды сановник, посетивший Шлиссельбург.

И вот его «вынесли».

А между тем Исаев *мог бы* выйти.

Когда он был в равелине, к нему являлся знаменитый Судейкин и предлагал свободу. За это Исаев должен был отказаться от политического террора и склонять к тому же своих товарищей на воле. [1])

Исаев отказался,—и дверь тюрьмы затворилась навсегда... Правда, он вышел из равелина, но только затем, чтобы войти в Шлиссельбург. Но над Шлиссельбургом стояло: «Отсюда не выходят, а только выносят!».

И *его* «вынесли»...

---

[1]) Любопытно, что при переговорах гр. Воронцова-Дашкова с литератором Николадзе насчет перемирия с «Народной Волей» министр предлагал, как гарантию добросовестности правительства, выпустить кого нибудь из осужденных, напр. Исаева. Так осенью 1882 года передавал Н. К. Михайловский.

Михаил Федорович Грачевский.

(Род. в 1849 г., ум. в 1887 г.).

На крыльях радости лечу в об'ятья смерти.
Ускорил свой я в вечность переход...
Друзья! Вас пламенно люблю я всех...
Великодушно прошу я вас грехи мои простить
И в памяти своей с друзьями дорогими слить...

Таково предсмертное стихотворение Грачевского, написанное в Шлиссельбурге к товарищам. После пяти лет жизни в Алексеевском равелине и в Шлиссельбургской крепости он кончил самосожжением, сделав из себя факел, который должен был осветить мрачные застенки русской Бастилии.

Из всех крупных народовольцев к Грачевскому, быть может, более всего приложимо название «фанатика». Это была индивидуальность сильная, самобытная и вместе с тем замкнутая в резко очерченное русло. Его железная воля, раз поставив себе цель, преследовала ее неуклонно, с упорством, которое граничило с упрямством. Никогда не считался он с препятствиями, не признавал возможности отступления... Если когда-нибудь в его душе и были колебания или сомнения,—они никогда не выносились наружу. Два раза в жизни—в трагический период пред арестом и в тюрьме пред жестоким концом—дальновидный ум мог говорить ему: «Остановись!». Но остановиться он не мог и не хотел и холодно смотрел в глаза гибели и смерти. Для публики, для то-

варищей он был всегда один и тот же: вооруженный с головы до ног, непреклонный революционный деятель, и в этом смысле во всем движении трудно найти человека, более прямолинейного, и жизнь, более цельную, чем его жизнь. Так иногда видишь в природе могучую глыбу гранита, которого не коснулась рука художника, и он лежит в поле во всей первобытной простоте и силе...

Жизнь Грачевского была жизнью труда и непрерывных энергичных усилий, и это с 18-летнего возраста! Два раза он находился в тюрьме: сперва 3½ года под ряд, потом опять с 1882 по 1887 гг., когда добровольно порвал свою жизнь ради все той же общественной цели, которой служил раньше.

У иных было радостное детство, у других—светлая, кипучая юность, полная умственных интересов и расцвета молодых сил. У Грачевского ничего не было. Судьба была для него мачехой и наносила ему удары, как молот, бьющий по твердому куску металла. И она, эта жизнь, выковала его душу—твердую, как сталь, его волю—прямую и решительную, как линия, проведенная по стеклу алмазом. Человек без высшего образования, без дара слова, он, тем не менее, всегда оставлял след в памяти всех, с кем соприкасался. Оно и понятно: это был *характер*.

Самая наружность его не была обычной: он был высок, строен и худощав, но очень силен. Темные, чуть-чуть вьющиеся волосы обрамляли широкий лоб и лицо с мелкими прямолинейными чертами. Это угловатое лицо было всегда бледно, серьезно и носило печать не то скорби, не то болезни... По временам общее судорожное сокращение пробегало по нему... глаза быстро смыкались, но затем все быстро распрямлялось... Пара карих глаз, с своеобразным блеском, имели что-то острое, колющее, а речь была отрывистой: перед словами он часто останавливался, хотя это не было обычным заиканием. Его голос звучал твердо и имел особенный металлический тембр, как-будто в нем звучали

ноты разбитого колокола. В общем наружность была привлекательна и носила характерные черты аскета, каким он и был в действительности.

Грачевский любил народ, но это было не то альтруистическое чувство, которое часто одушевляет интеллигентных людей, по рождению и образу жизни принадлежащих к культурным классам. Он любил народ потому, что был близок ему по происхождению, воспитанию, по первоначальным впечатлениям жизни. Он родился в деревне—в селе Березовке, Аткарского уезда, Саратовской губ. Его отец был заштатным дьяконом или даже дьячком, как об этом говорит обвинительный акт по «делу 193-х». Известно, что за жалкая, униженная фигура—фигура сельского дьячка. По укладу жизни он тот же крестьянин, но в глазах последнего—вымогатель ничтожных грошей из мужицкого кармана. А вверху стоит «батюшка», который помыкает им, как хочет... Детские воспоминания об этой во всех отношениях убогой жизни,—воспоминания, тесно связанные с трудовой жизнью крестьянства, невидимыми нитями вплелись в душу Грачевского и заложили в ней понимание народных нужд и деятельное сочувствие к трудящимся массам. Эти воспоминания навсегда сделали его по привычкам, вкусам и симпатиям демократом в полном и лучшем смысле этого слова. Более того, они выработали из него подвижника и аскета, который всегда отдавался другим и ничего не брал и не требовал для себя. И в самом деле: разве не подвижник, не аскет этот человек, «душу свою полагающий за други своя» и в стенах тюрьмы приносящий в жертву последнее достояние свое—жизнь, чтобы добиться «правды», как он ее понимает? И не напоминает ли он суровые образы наших раскольников, в огне костров искавших выхода из жизни, полной страданья и гонений?..

Как все дети нашего сельского духовенства, Михаил Федорович начал ученье в духовном училище, которое одно

гостеприимно раскрывало свои двери многочисленному потомству церковных причтов. Потом поступил в семинарию, но, пробыв два года, вышел, чтоб 18-летним юношей сделаться народным учителем сначала в селе Лопуховке, Камышинского уезда, а потом в 3-классной школе, организованной им по предложению камышинских немецких колонистов.

Что побудило его оставить семинарию и сделаться учителем? Во всяком случае—не вопрос о куске хлеба, а стремление идеальное. «Я горел желанием приносить пользу крестьянам»,—вот об'яснение, которое дал об этом сам Грачевский на суде в 1883 г.

Начало этой учительской деятельности относится к 1867 г., когда в обществе еще существовал под'ем, вызванный реформами,—крестьянской, земской и судебной, и стремления Грачевского, по тому же об'яснению, были откликом этого общественного под'ема.

Таким образом, по времени выступления Грачевский опередил поколение семидесятников, с которыми так тесно связана вся его дальнейшая судьба.

В 1871 г. Грачевский женился на крестьянке, бывшей раньше его ученицей, но через три года покинул ее с тем, чтоб никогда уже не встретиться и никогда не упоминать о ней.

С этого же года он оставил школу, заподозренный в политической неблагонадежности, и это навсегда закрыло для него педагогическую деятельность. Тогда он перешел к физическому труду и сделался железнодорожным слесарем, пройдя впоследствии все стадии железнодорожной службы вплоть до машиниста. Как рабочий, он имел широкое поприще для культурно-просветительной деятельности в среде товарищей по труду и неустанно работал в этом направлении.

В 1873 г. небольшой инцидент дает повод к полному перевороту в его жизни. Из Петербурга на его имя высылается

тюк книг, дозволенных цензурой, но между ними заложены две прокламации. Тюк перехвачен, Грачевский арестован; для производства следствия является жандармский майор из Петербурга. Арест непродолжителен и с внешней стороны не имеет никаких серьезных последствий, но он дает сильный нравственный толчок Грачевскому. Его тянет в столицу, ему хочется выйти из узкого круга провинциальной жизни, хочется поступить в высшее учебное заведение, чтобы пополнить свое образование. У него является желание повидать «новых» людей, сблизиться с ними. Это был период «хождения в народ», период бурного возбуждения молодой интеллигенции. И вот, в 1874 г. Грачевский оставляет родные места и оставляет навсегда. Он отправляется в Петербург и поступает в Технологический институт. Здесь он сразу встречает разгоряченную атмосферу революционных кружков, быстро сближается с представителями кружка чайковцев и принимается в их среду. Сближение с фабричными рабочими составляло в то время первую задачу пропагандистов-социалистов, и так как аресты пошатнули связи, заведенные чайковцами раньше, то, по предложению новых друзей, Грачевский, не покидая Технологического института, поступает слесарем на завод Струбинского (на Обводном канале), а через 2½ месяца, по решению той же группы, отправляется в Москву для пропаганды среди тамошних рабочих. С запасом нелегальной литературы («Сказка о 4-х братьях», «Стенька Разин», «Сборник новых песен и стихов») и с рекомендациями от земляков он, по обычаю тех времен, приступает весьма простодушно к распространению запрещенных книг. Однако, на заводе Гюбнера, при первой же попытке к этому, получатель предает его, заранее пригласив полицию в трактир, где происходит условленная встреча.

Грачевский арестован, и несчастная попытка обходится ему чрезвычайно дорого: целых 3½ года проводит он в оди-

ночном заключении в тюрьмах Москвы и Петербурга. Здоровье его расшатано, нервная система расстроена навсегда.

Долголетнее заключение, во время которого Грачевский мог на досуге удовлетворить свою жажду знания, конечно, дало ему очень много в умственном отношении, в моральном же оно сделало его, как и других подсудимых «процесса 193-х», пламенным врагом существующего строя.

Понятна горечь в человеке, из-за незначительной брошюрки поплатившемся свободой и здоровьем... А потом—суд в особом присутствии Сената... Председательствовал Петерс, ведший себя по отношению к подсудимым и к защите самым грубым, вызывающим образом.

Даже на расстоянии 30 лет описание перипетий этого грандиозного процесса производит яркое и глубокое впечатление. 193 подсудимых борются шаг за шагом против комедии суда. Энергичные протесты и заявления, отказ отвечать на вопросы, требование увести из зала заседаний, обличение всевозможных гнусностей, произведенных жандармерией и прокуратурой при следствии, ряд насилий и сцен во время самого суда, закончившихся после речи Мышкина настоящей свалкой между подсудимыми и стражей,—свалкой, где были удары и борьба, крики, истерические вопли и обмороки,—все это не могло не произвести неизгладимого впечатления на участников дела.

И вот, по окончании процесса, 24 человека посылают в заграничный орган «Община» письменный протест против всего происходившего и заявляют, что «попрежнему остаются врагами системы, действующей в России и составляющей несчастье и позор родины, так как в экономическом отношении эта система эксплоатирует трудовое начало в пользу хищного тунеядства и разврата, а в политическом—отдает труд, имущество, свободу, жизнь и честь каждого гражданина на произвол личного усмотрения». Хотя в числе подписей нет подписи Грачевского, но, несомненно, чувства,

выраженные в протесте, были чувствами, общими для всех участников процесса.

В довершение всего—не насмешка ли этот приговор над Грачевским, просидевшим в тюрьме 3½ года,—приговор, определявший *три месяца ареста с зачетом предварительного заключения* (что, однако же, не было утверждено государем).

Три с половиной года! Три с половиной мучительных года в 4-х стенах каземата до суда, и месячный арест *по суду!* Такова расправа за книжонку, напечатанную без разрешения цензора!

Теперь, казалось бы, дело кончено и правосудие удовлетворено. Ничуть не бывало! Едва выйдя из тюрьмы, больной и лишенный каких бы то ни было материальных средств к жизни, Грачевский поступает на один из петербургских заводов. Но через полтора месяца полиция об'являет, что ему запрещено не только жить в столице, но даже в'езжать в нее. Пришлось бросить место и ехать в провинцию. Грачевский отправился на юг и поступил помощником машиниста сначала на Харьковской-Азовскую, потом на Одесско-Кишиневскую железную дорогу. Живя в Одессе и пользуясь морскими купаньями, он стал поправляться; но в половине августа того же 1878 года новая, ничем не вызванная кара обрушивается на него: по распоряжению III отделения, он арестован вновь, и на этот раз—для высылки административным порядком в Архангельскую губернию.

Полтора месяца пробыл он в тюрьме, затем 4 месяца ехал по этапу, натерпевшись в дороге всего, вплоть до наложения ручных кандалов, которых по закону налагать на него, как имеющего звание почетного гражданина, не имели права.

Наконец, он добрался до места назначения и был водворен в г. Холмогорах. Впоследствии, на суде в 1883 г., он обрисовал несколькими яркими штрихами условия тяжелой жизни ссыльных на крайнем севере. Но они слишком обще-

известны, чтоб повторять их здесь. Учительство ему, как ссыльному, было воспрещено; технического труда по своей специальности в таком захолустьи он найти не мог. Видя в Грачевском кандидата на побег, местное начальство воспользовалось первым попавшимся предлогом, чтоб сбыть его с рук и отослать подальше: его перевели в Пинегу. Такая энергичная и трудоспособная натура, как Грачевский, конечно, не могла подчиниться вынужденному бездействию: в августе 1879 г. он бежал с 20 руб. в кармане, имея перед глазами путь в 400 верст через бесконечные леса, пересекаемые громадными реками, и неизмеримые болота, где легко погибнуть неопытному путнику, проходящему по северной части Архангельской губернии. Как и следовало ожидать, он заблудился в тайге, разошелся с товарищем по бегству Орловым, с которым должен был встретиться в условном месте, и после нескольких дней скитаний под проливным дождем в лесных дебрях принужден был сам отдаться в руки полиции на одной из застав, устроенных последней для поимки беглецов. Итак, он снова в руках властей и отправлен назад—в Архангельск... Однако, трудно было сломить такого решительного и упрямого человека, раз он задумал что-нибудь серьезно. И вот, не доезжая пяти верст до города, он пользуется оплошностью заснувшего конвоира и выскакивает на-ходу из тележки, в которой его везли. Тщетно ямщик, соскочивший с козел, бросается за ним!.. Угрожающая поза Грачевского, схватившего толстый сук дерева, и лошади, в испуге рванувшиеся вперед, заставляют ямщика отступить, а когда лошади, наконец, остановлены,—Грачевского уже и след простыл: он скрылся в лесной чаще. Потом, с небольшими приключениями он добрался до города и, укрывшись временно у товарищей-ссыльных, прибыл в конце-концов в Петербург.

Таким образом, с 1875 по 1879 гг., в течение четырех с половиною лет, человеку не давали жить: по пустому по-

воду арестовали и 3½ года продержали в тюрьме; потом, уже без всякого повода, лишили заработка и выгнали из Петербурга; затем ни за что, ни про что лишили места в Одессе. С крайнего юга перегнали на крайний север. Весь арсенал произвольных действий административной власти держал все это время в своих тисках этого железного человека. Можно себе представить, что́ перечувствовал и передумал он в эти долгие годы... Такая жизнь была яркой и убедительной иллюстрацией нашего политического строя. Неудивительно, что теперь, в 1879 г., Грачевский явился в Петербург вполне сложившимся борцом за политическую свободу, глубоко убежденным, что политическое освобождение есть первый шаг в общем освобождении народа, и что в России нужна не пропаганда, а открытая борьба...

Но к тому же самому пришли и другие, наиболее энергичные революционные деятели: «Народная Воля» в эту осень уже сложилась в совершенно определенную партию, и место Грачевского могло быть только в ней; он делается агентом Исполнительного Комитета, деятельным, серьезным, ни перед чем не отступающим... Как не теоретик, а практик по всему складу ума и способностей, он занимался в организации «Народной Воли» преимущественно работами техническими: в мастерской, приспособленной для производства динамита, он делал динамит; в период 1880—81 г. был хозяином квартиры, где помещалась типография, и печатал «Народную Волю», «Письмо к Александру III» и все прокламации по поводу 1-го марта...

С весны 1881 по 1882 г. он был, можно сказать, министром финансов партии и вел все денежные дела ее, совершая частые поездки в провинцию. Затем поселился окончательно в Петербурге и вместе с А. П. Корба и Буцевичем был центром, в котором сосредоточивались все нити революционной деятельности в столице. В виду террористических актов, среди которых на первом плане стояло устра-

нение Судейкина, Грачевский устроил динамитную мастерскую, в которой играл роль и работника, и руководителя.

Известна судьба этой мастерской, около которой сгруппировались лица, судившиеся потом по «процессу 17-ти».

Дознание установило, что Грачевский, считавший себя вне наблюдений, на деле находился под самым бдительным надзором тайной полиции, и по нему агенты проследили всю организацию, всех лиц, находившихся с ним в сношениях.

В июле последовал единовременный арест как самого Грачевского, так и всех причастных делу. Грачевский считал себя фактическим виновником гибели своих товарищей, и это послужило для него источником глубочайших страданий. Под суровой внешностью фанатического революционера и террориста Грачевский скрывал горячее сердце, которому он только не давал воли: простора для этого сердца не было и в самых условиях деятельности. Но теперь, когда эта деятельность кончилась, его любовь к товарищам прорывалась неудержимо, и он испытывал жесточайшие муки, видя гибель целого ряда молодых людей. Эти чувства определили и все поведение Грачевского на суде: безбоязненно заявлял он о себе все, что могло привести к виселице, но вместе с тем все усилия прилагал к тому, чтоб выгородить других участников процесса [1]).

В «последнем слове» на суде он говорил: «Я прошу смыть с моей души хоть часть той нравственной муки, которую я испытывал в течение 10 месяцев моего заключения и перед которой стушевывается всякая физическая казнь, которую только может придумать человеческое воображение. Никто не причастен к делу об устройстве лаборатории: я действительный и единственный виновник оного и потому прошу особое присутствие обратить всю тяжесть кары закона на меня одного».

---

[1]) См. воспоминания Прибылева в «Былом».

И с тяжестью, великой тяжестью в душе вышел Грачевский из залы суда и понес эту тяжесть в живую могилу— в Алексеевский равелин и в Шлиссельбург, в которые был последовательно заключен после приговора к смертной казни, замененной каторгой без срока.

Жизнь в Алексеевском равелине была для Грачевского тем же медленным умиранием, как и для других народовольцев, осужденных в 1882 и 1883 годах. Никаких подробностей, которые касались бы лично его, в мемуарах Поливанова и в воспоминаниях Фроленко о жизни в равелине не имеется. Равелин был мертвецкой. Протестов в нем не было. Не слышно было и голоса Грачевского.

Зато все три первые года существования Шлиссельбургской тюрьмы наполнили его негодующей борьбой со смотрителем Соколовым. Все предшествовавшее, несомненно, играло свою роль в этой борьбе. Человек, менее переживший, не так исстрадавшийся, быть может, смог бы игнорировать или переносить молча многое из той обстановки, в которой жили шлиссельбуржцы. Но Грачевский был потрясен до глубочайших основ своих, потрясен физически, истерзан нравственно, и его нервная система была напряжена до последней степени.

Если исключить условия моральные, в которых «осужденный» живет в застенках, подобных равелину и Шлиссельбургу, если исключить и условия материальные (как недостаточная пища, отсутствие моциона, свежего воздуха, физического труда, надлежащей врачебной помощи и т. д.), то самым страшным орудием пытки в тюрьме является *тишина*. Да! Тишина господствует в тюрьме... Тюремное начальство требует этой тишины «для порядка»... Она есть наиполнейшее выражение тюремной дисциплины, сковывающей узника. Тюрьма должна быть мертва, мертва, как могила, мертва день и ночь. Единственный неизбежный шум, поражающий слух, это—стук отпираемых и запираемых тя-

желовесных дверей из дуба, окованного железом, да форточек, сделанных в двери для передачи пищи. Гулко раздается этот грохот, напоминающий, что ты *не один* в этом здании... В остальное время—ни шороха, ни звука...

При небольших расстройствах нервной системы, какие бывают у людей на свободе, тишина есть благодеяние и прекрасное средство привести нервы в равновесие. Но вечная, вечная тишина! Бесконечно длинная, бесконечно мертвая—ужасна. Быть может, нет средства более сильного, чтоб в конец испортить нервы человека. Продолжительный покой изнеживает ухо; с течением времени слух становится все тоньше, все раздражительнее и затем—уже *не может выносить* самых обычных звуков, которые кажутся нестерпимо сильными. У иных является рефлекс, и из груди при каждом звуке вырывается крик, и, как это ни странно,—чем незначительнее звук, тем сильнее рефлекс. Случается, что внезапный слабый шорох или стук разрешается рыданием, а если звуки повторяются периодически, более или менее правильным темпом, они мучают невыносимо: к нервному потрясению привходит *ожидание* звука, и хотя ждешь его, он все же приходит неожиданно, и чем более ждешь—тем неожиданнее... Ночью эти маленькие звуки не дают спать и настолько раздражают, что человек прямо выходит из себя и готов кричать и бить, чем попало, лишь бы положить конец своему физическому страданию. К этому надо прибавить, что дрессировка и поощрение начальствующих развивает в страже злобное стремление помучить заключенного: унтера стараются делать как-раз то, что особенно неприятно и тягостно для узника. Горе тому, кто выкажет, что тот или иной звук мучителен для него! Еще большее горе—выказать нетерпение, гнев. И почти верная гибель,—если человек вздумает начать систематическую борьбу на этой почве. Чем последовательнее и упрямее, чем энергичнее и прямолинейнее

человек, тем труднее ему в этой борьбе остановиться. Он будет вести ее все дальше и дальше: он будет заявлять, протестовать, браниться и кричать. За все ему воздастся, не вдвое, а во сто крат! Провокация пойдет за провокацией. Наконец, отношения так обострятся, накопится столько горечи, обиды и гнева, что узнику останется одно—оскорбить своего врага действием и умереть.

Всю лестницу подобной борьбы прошел Грачевский. Постоянно и по всевозможным поводам он протестовал. Ежедневно, по тому или другому случаю, у него происходили стычки с жандармами и с нашим Малютой Скуратовым—Соколовым.

Камера Грачевского была внизу, а под нижним этажом находился подвал, где были свалены дрова и каменный уголь: там происходила топка всего здания. И день, и ночь там шла возня: мешали в печи, бросали дрова, чем-то скоблили, терли и пр. Этот шум служил бесконечным источником жалоб Грачевского. По ночам он плохо спал и пил хлорал, а утром часто подолгу оставался в постели. Но лежать неподвижно под одеялом не полагалось: жандармов это беспокоило... Полно, уж жив ли человек? Уж не бежал ли и на койке покоится простое чучело? И вот, в мягких туфлях, они периодически подкрадываются и, приподнимая задвижку над стеклышком, вставленным в дверь, на мгновенье приникают глазом, а затем щелкают задвижкой... Они знают, что тонкий слух узника непременно отзовется на этот звук. И действительно, это периодическое пощелкивание около «глазка» было мучительно решительно для всех, а порой приводило людей нервных в бешенство. Так было и с Грачевским. Мало того, за каждую жалобу коменданту смотритель старался донять Грачевского, чем только мог. Так, в марте 1886 г. в тюрьме было двое умирающих: Немоловский и Геллис. Громко раздавались их стоны... Жандармы заметили, что страдания больных при-

влекают общее внимание, и, зная, что больные должны скоро умереть, предусмотрительно задумали отправить их на покой в старую тюрьму. Но старая тюрьма была предметом ужаса и отвращения для нас. Вся обстановка ее была несравненно угрюмее, суровее и подозрительнее, чем обстановка нового здания... Тут хоть и разобщенные и невидимые друг для друга, мы все же были вместе: одна общая крыша была над нами, и мы сквозь стены чувствовали близость друг друга. И умереть не в одном здании с нами, умереть там, в старой тюрьме, казалось нам еще безотраднее, еще страшнее, чем тут, рядом... Больное воображение возмущалось и охотно рисовало самое циничное отношение к умирающему. Как ни были мы покинуты и одиноки, одиночество в старой тюрьме представлялось еще более полным, прямо угрожающим. Никоим образом не хотели мы, чтоб наших больных отнимали у нас и заживо уносили «на погост». А между тем Немоловского увели, Геллиса унесли... Положили на простыню и среди стонов и крика унесли... Грачевский протестовал. Он призвал коменданта Покрошинского и энергично обличал смотрителя. «Они беспокоят всю тюрьму», оправдывался Соколов. Однако, протестации подействовали, и Геллиса принесли обратно, а Немоловский так и умер в начале апреля в старой тюрьме.

После этого смотритель каждый раз при передачах через форточку Грачевского раз пять хлопал ею, делая вид, что не может затворить сразу. Грачевский не выдержал и стал кричать:

— Прошу не стучать форткой более разу! Я раздражаюсь!..

— Ты раздражаешься?—выразительно спросил смотритель,—ну, и я тоже раздражаюсь!..

Хлоп! хлоп!..

В этом роде то из-за гулянья, то из-за перемены товарища по прогулке, то пред'являя требование, чтобы дозво-

лили посещать больных, Грачевский изо дня в день ссорился со смотрителем, в полной власти которого он находился. Когда же соседи старались успокоить его, указывая, что иное действие, в роде стука форткой, может быть и неумышленным и что у него расстроены нервы, Грачевский отвечал:

— Да, нервы, но не голова, и начальство пользуется этим и выстукивает меня, как медведя из берлоги на рогатину...

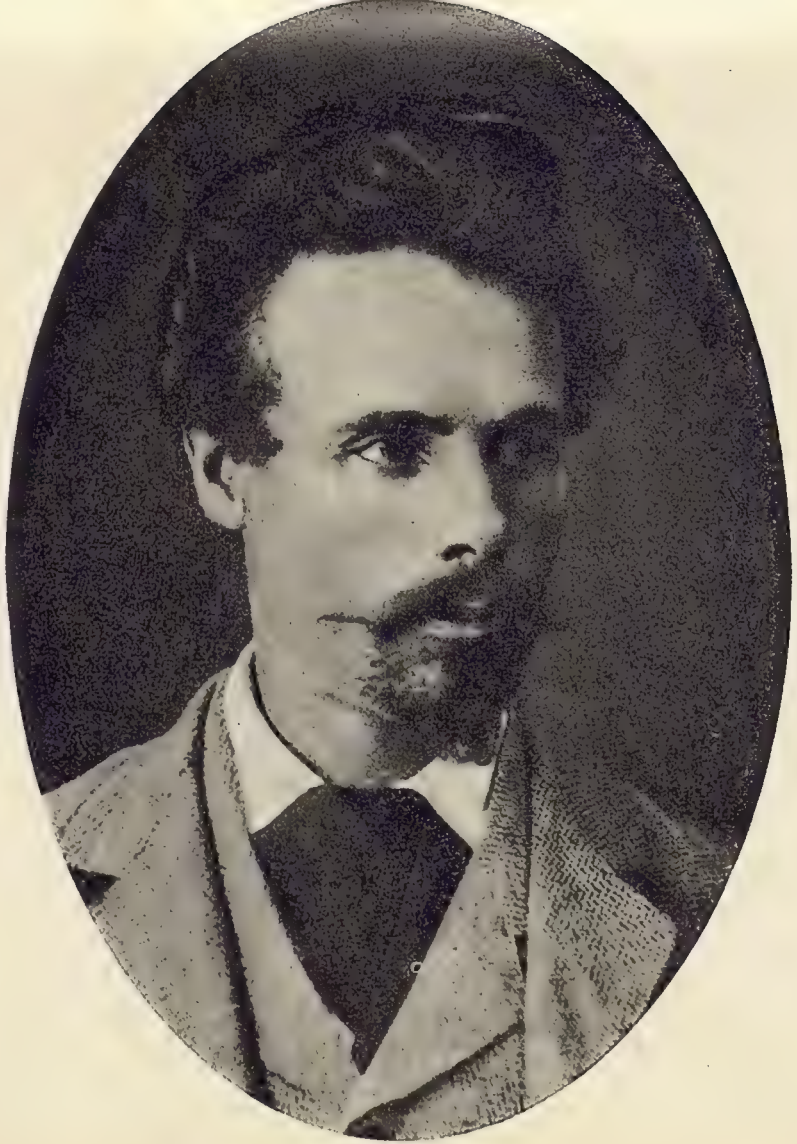
Он то переставал гулять, то начинал голодать. Так, в октябре 1886 года он не принимал пищи в течение 18 дней (по другим воспоминаниям даже 28 дней), и чтоб скрыть это от остальных, Соколов обманным образом увел его в старую тюрьму.

Там Грачевский написал обширную об'яснительную записку, адресованную министру внутренних дел, графу Д. А. Толстому. В ней он изложил все крупные обиды и притеснения, все невозможные условия, вынесенные в равелине и в Шлиссельбургской крепости.

Быть может, когда-нибудь этот любопытный скорбный лист выплывет на свет и нарисует цельную картину всего, что вынес Грачевский в равелине, а потом в Шлиссельбурге, изобразит тот мрак, который окутывал его душу в условиях заключения. Этому документу сам Грачевский придавал громадное значение и верил, что он будет чреват последствиями, верил, что существующий тюремный режим падет, будут введены улучшения и жизнь в тюрьме станет легче.

Стоит ли говорить, что то была иллюзия... Осталось неизвестным даже, передано ли по назначению заявление Грачевского, а непосредственным результатом было то, что у него тотчас же отобрали письменные принадлежности, книги и даже *лекарства* (бромистый калий и хлорал).

Время шло, и в голове Грачевского, между тем, скла-



М. Грачевский.

М. Тригони.

дывался план, в случае безрезультатности его записки, добиться реформ иным путем, не щадя жизни.

В мае 1887 года по поводу увода в карцер (в старую тюрьму) нескольких товарищей (за перестукиванье), Грачевский простучал соседям:

— Нет сил терпеть более: просто с ума сойду!.. Завтра же ударю доктора...

Никакие уговоры не помогли, и 26 мая он ударил доктора Заркевича, этого молодого, слабовольного труса, всегда прикрывавшего смотрителя вплоть до избиений, которые производились жандармами по приказу Соколова и последствия которых он видал воочию [1]).

Сообщив товарищам о том, что он сделал, Грачевский сказал, что хочет суда, чтоб описать положение тюрьмы, а если его не казнят, посадят на цепь и будут мучить, то он сожжет себя керосином...

В тот же день его увели в старую тюрьму, откуда живым он уже не вышел...

Месяцы шли, а суда над Грачевским все не было. Отчаявшись во всем, что им было предпринято раньше, и потеряв, наконец, всякую надежду предстать на суд (которому его не предали под предлогом душевной болезни), но желая во что бы то ни стало предать гласности все муки и надругательства, павшие на долю ему и его товарищам, он выполнил ранее составленный замысел и 24 октября 1887 г. облил себя керосином из большой лампы, которую ставили для освещения камеры, и сгорел.

Мрачная драма, достойная суровой эпохи средних веков, совершилась; совершилась в XIX столетии, в 50 верстах от столицы культурного государства... Да! Шлиссельбург был таким уголком великой империи, где горсть политиче-

---

[1]) При жалобах высшему начальству Заркевич не подтверждал фактов.

ских узников жила в условиях чуть не более тяжких, чем условия жизни Иоанна Антоновича, тень которого еще осеняет мрачный каземат, где он погиб от руки убийц... Там, отрезанный от всего мира, узник не мог поднять голос в свою защиту и быть услышанным.

Погиб Минаков... расстрелянный! Он протестовал, желая явиться на суд. Обращаясь к суду, он обращался к родине. Он верил, что родина услышит...

Погиб Мышкин... расстрелянный! Он протестовал, чтоб предстать перед судом, и, обращаясь к суду, верил, что голос его будет услышан, что родина его услышит...

Погиб Грачевский... сгоревший! Он протестовал, он требовал суда... Во что бы то ни стало он хотел быть выслушанным.

Но тщетно... И он делает из себя зловещий факел, пламенеющий в стенах склепа — той старой исторической тюрьмы Шлиссельбурга, в которой он отлучен от нас. Вот обширная комната коридора—настоящий зал для заседаний инквизиции... Ряд темных дверей, запертых семью замками... Они стоят мертвые и неподвижные, замкнутые так, будто им суждено никогда не раскрыться... Угрюмая темнота и сырость... Крошечный одинокий огонек мерцает, ничего не освещая... Темно, а в темноте еще более темные 5—6 высоких фигур стражей—жандармов. Сумрачные и суровые, эти длинные темные фигуры странно колышутся в пустоте, как тени, или зловещие призраки палачей, или наемных убийц в каком-нибудь Тоуэре... И тишина... Тишина... Тишина... Внезапно происходит смятенье, беспорядок... Все задвигалось, заволновалось... Отчаянно дергают ручку проволоки от звонка, давая сигнал тревоги...

Но все двери неподвижны: они заперты...*Его дверь*[1]) заперта... и *ключа—нет*... А там за дверью, во весь рост стоит

---

[1]) Камера № 9 старой тюрьмы.

высокая, худая фигура с матовым лицом живого мертвеца... Стоит и темнеет среди языков огня и клубов копоти и дыма... Огонь лижет человека своими красными языками... огонь—сверху донизу, со всех сторон... Горит, дымится факел, и этот факел—живое существо, *человек!*..

Поспешными тяжелыми шагами входит Малюта... В широкой руке крепко стиснута связка ключей. Нижняя челюсть опущена и нервно вздрагивает, выдавая волненье, но привычная рука быстро вкладывает заветный ключ в скважину замка... Наконец-то!.. дверь отперта... Камера в дыму, в огне. А в середине попрежнему—человек... Дым и огонь... клубы дыма, языки огня... Запах керосина и гари... Сгорели волосы, догорает одежда и падает...

Свершилось... Свершилась мрачная драма... В клубах дыма померкла мысль, в пламени огня погасло сознание... Свершилось!.. Несколько стонов... глухих и подавленных стонов, и человек—умер...

Через три дня Шлиссельбургскую тюрьму посетил генерал Петров... Смотритель Соколов исчез, уволенный, как мы узнали потом.

Жертва всесожжения принесена и громко вопиет; в тюремной жизни наступает перелом... Бездыханно лежат мертвые, а оставшиеся в живых начинают легче дышать...

Шлиссельбург остался, но Малюты Скуратова уж нет!

Михаил Николаевич Тригони.

(Род. в 1850 г., ум. в 1917 г.).

В 1917 г. телеграф принес известие, что в Балаклаве, в ночь на 5 июля, умер от удара шлиссельбуржец Михаил Николаевич Тригони. Среди потрясающих событий войны и революции эта смерть прошла без всякого отклика в текущей прессе. Но я, как товарищ Тригони по Шлиссельбургской крепости, в которой он пробыл 18 лет, не могла не помянуть его словом и не сообщить того, что я о нем знала.

Очерк, прилагаемый ниже, написан мной 11 лет тому назад и предназначался для второго тома «Галлереи шлиссельбургских узников». По обстоятельствам реакционного времени, наступившего после 1907 г., этот второй том не вышел, и потому очерк пришлось печатать, когда Тригони не стало. Не стало человека, который был членом Исполнительного Комитета партии «Народная Воля», боровшейся насильственными средствами с самодержавием, когда русское общество бессильно молчало, а русский народ еще не пробудился. Не стало одного из тех, которые, казнив бомбой Александра II, обращались 47 лет тому назад к его сыну Александру III с записанным в историю революционного движения письмом, в котором требовали *Учредительного Собрания*—Земского Собора, *земли и воли* русскому народу. Пережив начало революции 1905 г. в качестве

ссыльно-поселенца, которого сибирские губернаторы не хотели принять в мещанское сословие своих губерний, и захваченный, благодаря этому, в плен японцами на острове Сахалине, Тригони дождался февральских и мартовских дней 1917 года—медовых месяцев нашей второй революции, когда царизм, опозоренный больше, чем когда-либо, пал безвозвратно, и все в России могли крикнуть: «Мы свободны!».

В первые годы сознательной жизни Тригони видел народ темной, совершенно не дифференцированной, косной массой, в которой революционная деятельность, начатая интеллигенцией, находила лишь слабый, на-глаз незаметный, отклик.

Кончая жизнь, он видел всю великую страну в движении, в великом порывании к свету, к свободе, к устроению жизни на новых, лучших основах. Вся эволюция от деспотизма, свирепого и бессмысленного, до республики, идеалом которой может быть только право, свобода и справедливость, прошла перед ним. И я знаю, что, несмотря на все ужасы войны, ее неудачи и поражения, несмотря на отрицательные стороны, ярко выступившие затем на фоне нашей внутренней жизни, любовь М. Н. к народу, его вера в него, спасла его от разочарования, и 5 июля он умер с успокоением, что рассеется все омрачающее и в России будет и хлеб, и свет, и свобода.

Михаил Николаевич Тригони родился в 1850 г. в Севастополе, в зажиточной и культурной семье. Его отец, по происхождению грек, служил в гвардии; вышел в отставку в чине генерал-майора и владел имением в Севастопольском уезде, а мать была дочерью адмирала и сестрой известного писателя К. М. Станюковича, который изобразил своего отца в одном из «Морских рассказов» в лице «Грозного адмирала». Отец М. Н. был человеком убеждений консервативных. Он умер рано, когда сыну было всего 9 лет. Мать же была светской женщиной, но в вопросах религии

и политики отличалась свободомыслием. В памяти М. Н. живо сохранилось воспоминание об ее отношении к варварствам русского правительства во время восстания в Польше. В ее альбоме на первом месте стояли дорогие для всех передовых людей России портреты Герцена и Гарибальди, и Тригони с малых лет научился любить их. Эти влияния и последующие впечатления гимназической и университетской жизни понемногу выработали из него революционера и узника Шлиссельбурга.

Первоначальным обучением М. Н. руководила сама мать, кончившая курс в Смольном институте; потом он учился у приглашенной в семью француженки-гувернантки, а в гимназию его приготовлял флотский офицер Сафонов, о нравственной личности которого Тригони сохранил теплое воспоминание. Отец, вероятно, отдал бы его в какое-нибудь привилегированное учебное заведение столицы. Но мать не хотела, чтоб сын был вдали от нее, и поместила его в Симферопольскую гимназию, при которой был устроен «благородный пансион». Там-то и жил М. Н., так как мать большую часть года проводила в деревне.

Обновление русской жизни в 60-е годы коснулось и учебных заведений, в том числе и Симферопольской гимназии. Набеги воспитанников на чужие фруктовые сады и прилавки кондитерских во время прогулок «благородного пансиона», считавшиеся прежде подвигами удальства, отходили в область предания, как и кулачные бои пансионеров с семинаристами. Лучшие ученики старших классов, в числе которых был известный потом ученый и писатель Н. Зибер, занимались чтением прогрессивных журналов того времени, а вскоре назначенный новый директор, писатель Евг. Львович Марков, начал устраивать литературные вечера, в которых участвовали совместно ученики как мужской, так и женской гимназий. Правда, Марков руководился при этом, по словам М. Н., расчетом, что «страсти нежные» отвлекут

от других страстей—политических. «Но в расчетах своих директор ошибся»,—говорит он, и радикализм решительно господствовал среди учащихся.

Из 4-го класса Симферопольской гимназии Тригони вышел вследствие столкновения с одним учителем и перешел в 5-й класс Керченской. Здесь, в Керчи, он встретился и подружился с А. И. Желябовым, который учился в той же гимназии и был одним из лучших и выдающихся учеников того класса, в котором находился и М. Н. Керченская гимназия была из вновь открывшихся, и подбор учителей в ней был пестрый. Нравы в ней были довольно патриархальные и отдавали старинкой. Так, некоторые учителя по старой привычке говорили ученикам 5-го класса на «ты», и М. Н. помнит, как густо краснел Андрей Иванович каждый раз, когда учитель Адриасевич обращался к нему с этим местоимением. Во главе гимназии стоял швейцарец Падрен-де-Карнэ, переведенный из Вильны. Его нравственная физиономия достаточно характеризуется следующим фактом: одно время, за отсутствием учителя, директор сам занимался с гимназистами латинским языком и в определенные дни задавал им поочередно переводы то из Овидия, то из Саллюстия. Однажды вместо Овидия ученики по недоразумению перевели Саллюстия, и из этого вышла целая история. Директор с кафедры громил провинившийся класс и в речи к юным крамольникам заявил, что «и в Польше умел усмирять бунты». А когда учитель, преподававший русскую словесность, стал приглашать старших учеников к себе на дом, его поспешили перевести в другое место. Темы для сочинений, которые отсылались попечителю учебного округа, имели целью выведать настроение и направление молодых авторов. Это были: «Мечты юноши», «Влияние литературы на жизнь народа» и т. п.

Обстановка учебного заведения в общем не поощряла саморазвития; однако, многие из гимназистов читали Белин-

ского, Добролюбова, Чернышевского и Писарева, Бокля, Милля и других лучших представителей русской и иностранной литературы. Вместе с тем они живо интересовались и чутко прислушивались ко всем вестям, приходившим из Москвы, когда там начались аресты и административные высылки по нечаевскому делу.

По окончании курса в гимназии, Тригони пробыл некоторое время в Петербургском университете, но потом перешел в Новороссийский. Вначале он поступил на естественное отделение физико-математического факультета, но затем перешел на юридический, как такой, где можно ближе ознакомиться с общественными науками. Изучение последних было, однако, поставлено плохо; так, профессору государственного права было, например, запрещено делать подробный обзор современных конституций и т. п. В университете, как и в гимназии, Тригони был одновременно с Желябовым, который в студенческих делах сразу занял видную позицию и за участие в одном из них был исключен.

Дело состояло в том, что профессор славянских законодательств, Богишиц, оскорбил на лекции одного из студентов:

— Как, вы спите?!—крикнул он,—здесь не место спать!

Студенты были возмущены, и по поводу инцидента начались сходки: учащиеся требовали немедленного удаления профессора. Университет был временно закрыт, а Желябов, как главный агитатор, арестован. Настроение студентов, однако, быстро пало,—беспорядки улеглись. Богишич не был уволен, университет открыли, но Желябова и студента Белкина выслали административно: первого—на 1 год в Керчь, а второго—на Кавказ. Опальный профессор возобновил свои лекции, но прочел только одну—к нему пришло лишь несколько человек, и Богишич покинул университет.

Во времена студенчества Тригони книгами, наиболее популярными среди университетской молодежи, были произве-

дения Маркса и Лассаля, а затем заграничный журнал Лаврова «Вперед» и другие революционные издания. Активное участие в революционном движении М. Н. стал принимать с 1875 года. Находясь в сношениях с революционерами, жившими в Одессе и судившимися по «процессу 193-х», он занимался пропагандой и распространением революционной литературы среди молодежи и артиллерийских офицеров.

В 1879 г. Тригони уехал в Петербург и при посредстве Желябова и Колодкевича примкнул к партии «Народная Воля». Сделавшись агентом Исполнительного Комитета, он вращался здесь, главным образом, среди лиц либеральных профессий, а осенью 1880 г., после моего от'езда из Одессы, Исполнительный Комитет поручил ему отправиться туда для продолжения начатой мною работы.

В Одессе М. Н. поступил в помощники присяжного поверенного при Одесском окружном суде. Это давало ему известное положение в обществе и возможность всюду бывать и всех принимать. Круг его знакомств скоро расширился. Из новых элементов, привлеченных им, и из лиц, связь с которыми была передана мною, М. Н. образовал местную группу партии. В нее входил мой хороший друг, бывший офицер генерального штаба, писатель И. И. Сведенцов; другим весьма ценным работником явился привлеченный М. Н. студент Дрей, сын одесского врача, пользовавшегося большой популярностью среди местной бедноты за свое бескорыстие и отзывчивость.

В то время в Одессе на фабриках и заводах еще существовали рабочие, воспитанные трудами Заславского, выдающегося революционного деятеля, осужденного в 1877 году. После его ареста связи с этими рабочими не прерывались: в 1879 г. из народовольцев их поддерживал Колодкевич, а в 1880 они перешли к Тригони и составляли основной кадр рабочей организации или, вернее, кружков, так как

строгой организации среди рабочих тогда не было. С помощью их и с участием Тригони и Дрея были организованы новые кружки; велась пропаганда и среди пришлого рабочего люда: каменщиков, плотников и т. д. По отзыву лиц, ведших в то время дело в Одессе, тип настоящего, промышленного пролетария, совершенно обособленного от деревни и имеющего свое определенное классовое самосознание и психологию, тогда еще не сложился. Большинство из тех, с кем соприкасались пропагандисты, были серые деревенские люди, часто возвращавшиеся обратно к своим полям. Впечатлéния, выносимые из общения с ними, несмотря на полную некультурность и почти поголовную безграмотность, были хорошие, и из среды их на суде в 1883 г. против Дрея не нашлось ни одного свидетеля. Характерно, что группа настоящих заводских рабочих, уже давно привлеченных к партии и отличавшихся большою интеллигентностью, тоже не стояла на классовой точке зрения и в революционной деятельности руководилась теми же мотивами, как и сама интеллигенция: это были альтруизм, идея справедливости и тому подобные чисто нравственные побуждения.

М. Н. были переданы и связи среди военных. Самым выдающимся из них был Ашенбреннер, отправившийся потом в Николаев и основавший как там, так и в Одессе группы военной организации. С крестьянством одесские народовольцы непосредственных сношений не имели, но М. Н. завязал знакомства с учителями и учительницами Херсонской губернии.

Таким образом, организационная работа стояла на хорошем пути, и М. Н. пользовался в Одессе большим авторитетом, служа об'единяющим центром, к которому тяготели все революционные силы округа...

В начале января 1881 г. эта организационная работа была, однако, прервана: М. Н. был вызван в Петербург для обсуждения некоторых вопросов, поднятых Исполнительным

Комитетом; из них главным был вопрос об инсуррекции. Дебаты, в которых принимал участие и Тригони, происходили в тогдашней штаб-квартире Комитета, находившейся у Вознесенского моста.

27 февраля вечером, в меблированных комнатах на Невском, где жил Тригони, он был арестован, как и пришедший к нему Желябов.

Этот арест был событием громадной важности: подкоп из лавки сыров на Малой Садовой [1]) был уж готов, динамит заложен, план действия детально разработан. Желябову была назначена видная роль в подготовлявшейся драме,—и вот энергичного борца не стало. 28-го спешно был созван Комитет, и решено наутро действовать во что бы то ни стало, хотя бы одними бомбами, которые при Желябове рассматривались лишь как вспомогательное средство.

Разразилось 1-е марта... А 5 апреля казнили Желябова, Перовскую, Кибальчича, Т. Михайлова и Рысакова... Тригони же судили в феврале 1882 г. по так называемому «процессу 20-ти» народовольцев, — процессу, составлявшему продолжение «процесса 1-го марта».

Главным обвинителем против Тригони являлся рабочий Василий Меркулов, показывавший, что Тригони регулярно посещал лавку Кобозева для работ в подкопе и что он, Меркулов, видел, как М. Н. вылезал оттуда. Тот же Меркулов дал указания на революционную деятельность Тригони среди рабочих в Одессе.

Защитнику Тригони, Спасовичу, удалось снять первый и самый важный оговор, и особое присутствие Сената, в котором разбиралось дело, приговорило М. Н. к 20 годам каторги за возбуждение к бунту одесских рабочих.

На суде М. Н. признал как свою принадлежность к партии «Народная Воля» и солидарность с программой Испол-

---

[1]) Для покушения на царя.

нительного Комитета, так и революционную деятельность среди рабочих.

Небезынтересен рассказ Тригони из периода предварительного заключения его. «Однажды привезли меня в департамент государственной полиции,—говорит он,—и ввели к начальнику штаба корпуса жандармов, генералу Никифораки. Он встретил меня очень любезно, извинился, что побеспокоил, предложил чаю и папирос, а затем начал:

«— Я пригласил вас для частной беседы, и вы, конечно, можете не отвечать мне. Но я хотел бы предложить вам несколько вопросов... Могу ли?

«— Почему же нет,—сказал я,—если вопросы будут таковы, что я найду возможным ответить.

«— Так вот... Знал я вашего отца, знаю, что семья ваша—с общественным положением и материальным достатком. Знаю, что вы с университетским дипломом... Меня и нас интересует, что побудило вас стать в ряды революции?

«— Мои убеждения,—отвечал я и продолжал:—есть нечто высшее, чем дипломы, общественное положение и материальные достатки. Это—долг по отношению к порабощенному народу.

«Затем я вкратце изложил, почему другого пути, кроме революционного пути, нет.

«Он глубоко вздохнул, и мы расстались»...

После суда М. Н. был помещен в Трубецкой бастион, а потом в Алексеевский равелин, где пробыл более двух лет среди самой ужасной обстановки.

В августе 1884 г. его привезли в Шлиссельбургскую крепость, в которой он и оставался до февраля 1902 года, когда кончился двадцатилетний срок каторги.

Во время пребывания его в Шлиссельбурге, за несколько лет до окончания срока, из департамента полиции не раз делались авансы матери Тригони в том смысле, что стоит

ему захотеть,—и он не только выйдет из крепости, но будет восстановлен и во всех правах. Мать сообщала об этом в письмах сыну, но нечего и говорить, что Тригони никогда *не согласился бы написать желаемое прошение.*

30 августа 1882 г., во время пребывания Тригони в равелине, его матери было дано свидание с ним. Оно длилось 15 минут и было разрешено по письму ее к государю, переданному через генерал-ад'ютанта Рихтера.

В течение 18-летнего заключения в крепости главным занятием Тригони было чтение, преимущественно по общественным вопросам, и физический труд. Одно время он мечтал об изучении медицины, но, конечно, это было совершенно невозможно в условиях тюрьмы. Естествознанием, которое одно время у нас процветало, он интересовался мало, но в работах в пользу музея подвижных пособий охотно принимал участие и много помогал мне в составлении гербариев для школ.

20 лет заключения сокрушили крепкое здоровье М. Н. Обстановка в равелине и в первые 8 лет в Шлиссельбурге могла расшатать какой угодно организм, и можно считать чудом, что он не сошел в могилу и дожил до рассвета русской свободы. Последние годы пребывания в крепости он страдал грудной жабой, и всякое физическое напряжение ему было запрещено: работы в мастерских, которые раньше так поддерживали силы и помогали коротать тюремные дни, ему пришлось совершенно оставить. Одни только книги, изучение английского языка и выполнение обязанностей старосты и библиотекаря, в которые мы выбирали М. Н., наполняли его время.

Когда я вспоминаю о Тригони, то всегда в качестве убежденного народника и горячего поборника артели и общины, о которых много было сломано копий в спорах и дебатах, происходивших через решетки наших огородов. И в нашу тюремную жизнь Тригони всегда хотел внести

элемент коммунизма, совершенно невозможного в условиях, в которых мы жили. Изучение в юные годы произведений Фурье, Сен-Симона и Кабэ сделало его на всю жизнь сторонником идей этих авторов, и он всегда мечтал о воплощении их идеалов в жизнь. В литературном материале, который проникал к нам, он тщательно подхватывал всякий факт из народной жизни, который говорил о стремлениях к коллективизму в форме общинных и артельных начал. Земледельческие артели Левицкого в высшей степени интересовали его, и он возлагал на них самые радужные надежды, а книга Кочаровского об общине произвела глубокое одушевляющее впечатление.

Никакие аргументы противников и неудачи в практике жизни не могли разочаровать этого сторонника принципов кооперации, и, уже будучи на Сахалине, он задумал устройство артелей для рыбной ловли на Охотском берегу; однако, осуществлению плана воспротивилось местное начальство.

9 февраля 1902 г. Тригони увезли от нас в Петербург, и здесь он лишь «случайно» узнал, что «завтра или послезавтра» его отправят через Одессу на Сахалин. До отправки прошло, однако, 10 дней, и он успел повидаться с сестрой и запастись необходимыми вещами. Тщетно хлопотала сестра, чтобы ослабленный долгим заключением брат ехал через Сибирь. Тщетно предлагала взять на себя все издержки и оплатить путь жандармов туда и обратно—ей было отказано. Врачебная комиссия освидетельствовала Тригони и нашла, что он может вынести путешествие морем: оно должно было длиться 55 дней. «Бывали случаи,—говорит он в своих воспоминаниях,—что уголовных, не могших вынести морского плавания, отправляли через Сибирь, но я не знаю примера, чтобы комиссия признала хоть одного политического неспособным вынести море».

Кто-то из представителей главного тюремного управле-

ния заговаривал с министром Сипягиным на тему, что после 20 лет Шлиссельбурга можно бы сослать Тригони куда-нибудь ближе, чем Сахалин, но Сипягин в ответ сказал: «Ближе—никоим образом нельзя!».

Странное впечатление произвела на шлиссельбургского узника первая сцена, которая встретила его при посадке в вагон Николаевской железной дороги. Последний был наполнен уголовными, а из политических был один он. И вот, как только он вошел, один из уголовных поднялся и звучным голосом запел: «Allons, enfants, de la patrie!», а несколько голосов крикнули: «Свобода!!!». Эта крошечная сцена приветствия была символом всей громадной перемены, которая произошла за четверть века в обществе, пока М. Н. был вне его.

Проезжая через Москву, Тригони провел один день в Северной башне в Бутырках, и этот день был для него светлым праздником. До самого вечера подле форточки в его двери толпилась молодежь, состоявшая, главным образом, из рабочих, содержавшихся в той же башне. Все горячо приветствовали выходца из живой могилы, расспрашивали о Шлиссельбурге, выражали свои надежды и пожелания. В тюрьме в то время сидело несколько сот студентов и около двухсот курсисток. Те и другие, порознь и совместно, прислали ему письма с приветами и цветы. Эта ласка и почет глубоко трогали и радовали узника. Особенно же важным и радостным казалось ему то возрождение идей и настроения «Народной Воли», о котором свидетельствовали все говорившие с ним и писавшие ему.

В Одессе все тюрьмы были тоже переполнены студентами, и поезд подошел прямо к пристани, где уже ждал пароход Добровольного флота «Ярославль», шедший на Сахалин.

Отправляемая партия уголовных состояла из 800 мужчин и 50 женщин; из политических—попрежнему один Три-

гони. Сначала его поместили в маленькую каютку, запертую на ключ, но в Константинополе перевели в хорошую просторную каюту и до самого Сахалина не запирали. На стоянках сходить с парохода ему, однако, не позволяли.

Что касается уголовных, то несчастные люди сидели в душных трюмах, откуда их выводили поочередно на короткое время на палубу для прогулки и купанья под краном. Начиная с Красного моря, когда температура стала быстро повышаться, из трюмов то и дело выносили людей, впавших в обморок. И такое положение продолжалось целые 55 дней.

Общество Добровольного флота предлагало устроить для перевозки ссыльных на остров Сахалин специальные пароходы, рейсы которых продолжались бы всего 20 дней. Но для этого нужно было повысить плату за перевоз, и правительство на это не соглашалось.

28 апреля «Ярославль» бросил якорь на рейде поста Александровского, составляющего центр сахалинской администрации. Тут к Тригони сейчас же явились друзья; между ними были и двое шлиссельбуржцев: ближайший друг Михаила Николаевича по Шлиссельбургу Л. А. Волкенштейн и Манучаров.

Товарищи непременно хотели, чтобы Тригони побыл с ними до отправки в село Рыковское (Тымовского округа), которое было назначено ему для поселения, но ехать в которое, по случаю весенней распутицы, сейчас было невозможно. Но начальство не хотело отпустить Тригони в семью Волкенштейн, как они о том просили.

Приехал в пост Александровский начальник Тымовского округа Соболев и, при встрече с Тригони, предложил отправиться к Волкенштейнам, под честным словом, что не уедет обратно на «Ярославле».

— Честного слова я вам не дам,—ответил Тригони, и Соболев вышел, но, спустя несколько минут, вернулся и сказал:

— Можете итти к доктору Волкенштейн.

15 мая Тригони увезли в село Рыковское. Там он не оставался бездеятельным. Местная администрация до известной степени ценила интеллигентный труд, в котором чувствовался большой недостаток. Благодаря этому политические ссыльные имели некоторую возможность применять свои силы в области культурной деятельности. Тригони взял на себя заведывание бесплатной библиотекой. Ею пользовались как поселенцы, в количестве до 200 человек, так и каторжане, бравшие книги в тюрьму. При библиотеке удалось устроить читальню, в которой получалось достаточное количество газет и журналов. Местное население охотно посещало ее.

Из политических ссыльных в Рыковском при Тригони находились: Александрин, Перлашкевич, Форминский и Волохов.

Во время пребывания в Рыковском у Тригони совсем испортилось зрение, и друзья стали хлопотать о переводе его в пост Александровский для лечения глаз. Добиться этого было, однако, довольно трудно, между прочим, по следующему курьезному обстоятельству: губернатор как-то перед тем получил неожиданно из департамента полиции запрос, почему в департамент до сих пор не прислано известия о том, что Тригони бежал в Америку? Недоразумение было ясно, так как Тригони был налицо, но департаментская бумага огорчила губернатора, и последствием ее были стеснения и усиленный надзор над Тригони.

После перевода в пост Александровский Тригони поселился у супругов Волкенштейн и оставался у них до их от'езда во Владивосток.

Как было уже сказано, режим по отношению к политическим ссыльным на Сахалине нельзя было назвать очень суровым, но с началом японской войны и пробуждением России начались репрессии: стали вскрывать письма и по-

сылки и выдавать их не на почте, а в полицейском управлении; начались воздействия на лиц, знакомых с ссыльными. Так, Михаил Николаевич рассказывает, например, следующий случай: после от'езда Волкенштейнов он столовался у одного народного учителя N, который после об'явления войны, как прапорщик запаса, вступил в ряды армии. На одном офицерском собрании N сказал, что «России нужен государственный переворот». В тот же день это стало известно губернатору, который был и командующим войсками. Он немедленно потребовал N к себе и сказал:

— Я знал вас за примерного учителя, и ваше поведение об'ясняю только частыми встречами с Тригони. Что может быть у вас общего с ним? Вы носите военный мундир; я предупреждаю—этих частых встреч не должно быть!!

«Среди уголовных каторжан и ссыльно-поселенцев мы, политические, пользовались большим доверием»,—пишет Тригони в своих воспоминаниях (См. «Былое», сент., 1906 г.). Так, ему передавали, что кандальная тюрьма готова снабдить его паспортом, деньгами и проводником, если он задумает уйти с Сахалина... «Немногое мы могли сделать для уголовных,—говорит он далее,—но что могли—делали». Маленькая колония политических ссыльных держалась от остального общества особняком, и все знакомство Тригони ограничивалось 2—3 врачами и мировым судьей.

В посте Александровском Тригони оставался до взятия его японцами. Когда последние заняли округ Корсаковский, губернатор Ляпунов об'явил Тригони, что он может оставить Сахалин и переехать в Приморскую область или в Амурский край. Тот выразил желание отправиться в Благовещенск, но тамошний губернатор нашел невозможным допустить бывшего шлиссельбуржца во вверенный ему город в виду возбужденного состояния, господствовавшего там. Тогда Тригони телеграфировал во Владивосток, чтобы друзья нашли губернатора, который согласился бы принять

его. 11 июля утром пришла депеша, что хабаровский губернатор согласен. Но в 3 час. пополудни японцы заняли пост Александровский, и сообщение с материком было отрезано: ссыльные очутились в плену. Но это сказывалось лишь в тесноте помещения, да в том, что после 9 час. вечера жителям запрещено было ходить по улицам. Для японских солдат требовалось много квартир, и всем местным жителям пришлось потесниться. Тригони жил в одной комнате с семьей одного поселенца, к которому, кроме того, приходили ночевать еще родственники. Через 3½ недели японцы об'явили политикам, что они свободны, и предложили отвезти на своих пароходах в Японию, откуда каждый мог, по желанию, ехать в Европу или Америку. Тригони воспользовался предложением, но с тем, чтобы отправиться в Россию. Сначала он поехал в Иокогаму, потом в Кобэ, Шанхай и Владивосток.

В Иокогаме он встретился с русским эмигрантом, доктором Русселем, и познакомился с известным журналистом Кеннаном, выказавшим громадный интерес к русскому освободительному движению и всем деятелям его.

В течение двух недель, которые Тригони провел в Японии, он был лицом, на котором сосредоточивалось общее внимание... Множество корреспондентов всевозможных газет посетило его и осаждало расспросами о его прошлом. Из Кобэ в Шанхай Тригони ехал на немецком пароходе, который вез в Россию часть сахалинской администрации. Тут были: начальник тюрьмы, секретарь полиции и т. п. Некоторые из чиновников ехали со своими семьями в 4-м классе. Вероятно, благодаря этому обстоятельству, пароходное начальство обращалось с ними грубо, не позволяло с'езжать на берег и, несмотря на все протесты, отпустило на всю компанию лишь два столовых ножа, мотивируя, что дать больше нельзя—опасно. Таким образом, бывшим управителям ссыльно-каторжной колонии пришлось

самим побывать на положении каторжан, за которых, очевидно, пароходная администрация принимала всех пассажиров, ехавших с Сахалина. До ратификации мирного договора сообщения с Владивостоком не было, и Тригони попал туда лишь в начале октября.

Здесь его застал манифест 17 октября, и подробности о том, как на этот манифест реагировало население, с одной стороны, и начальство, с другой, читатель может найти в чрезвычайно интересной статье М. Н., помещенной в журнале «Былое» (сентябрь, 1906 г.). Эта статья, которою я не раз пользовалась в этом очерке, озаглавлена «После Шлиссельбурга» и охватывает период от момента выхода М. Н. из крепости и до возвращения его в Россию.

21 ноября М. Н. выехал из Владивостока, когда там уже была об'явлена почтово-телеграфная забастовка и поговаривали о второй—железнодорожной. В Харбине он застал митинг, на котором было решено—грузы, почту и пассажиров, кроме уже взявших билеты, не перевозить, но увеличить число поездов для возвращающихся в Россию солдат. У Тригони уже был куплен билет до Харькова, и он мог продолжать путь дальше. Он ехал от Харбина с воинским поездом. Сильное возбуждение господствовало среди солдат: лишения и неудачи, перенесенные во время войны, тревожные вести с родины были причиной тому, а жалкие 15—20 коп. кормовых в сутки и распоряжение главнокомандующего закрывать буфеты во время прохождения поездов с солдатами вызывали острое недовольство. Там, где, вопреки распоряжению, буфеты оставались открытыми, солдаты вели себя мирно и за продукты платили деньги. Там же, где они были закрыты, все разбивалось моментально вдребезги.

По мере удаления от Сахалина делалось все яснее, что вся страна восстала от сна и находится в брожении. Уже в Забайкальской области на железнодорожных станциях

виднелись собрания рабочих и слышались революционные песни. В Иркутске за два дня перед тем была манифестация, в которой под красным знаменем собралось 15 тыс. человек и, по рассказам, две трети были военные. На вокзалах, в вагонах люди говорили обо всем совершенно свободно. На станциях целые корзины с различными изданиями обходили вагоны, и в одну минуту брошюры и листки разбирались.

Все были в возбуждении, все чего-то ждали напряженно... *Ждали,* как говорит Тригони, *решения центров.* Ему, столько лет пробывшему в тюрьме и ссылке, все виденное казалось, по его собственному выражению, сновидением из «Тысяча одной ночи».

Пробуждение не заставило себя ждать, и после розового рассвета, видений из Шехеразады, настали дни черных сотен, Дубасовых и Каульбарсов.

Тригони, попавший немедленно «под надзор», поселился по своем возвращении в Евр. Россию на столь любимом им юге, близ станции Бельбек, по Лозово-Севастопольской жел. дор. Купив небольшой участок земли, он занялся разведением плодового сада, но, конечно, жизнь в захолустье не могла удовлетворять его; стремясь к общению со старыми друзьями, он наезжал в Петербург, пробыл в 1909—10 гг. полгода за границей, не примыкая, однако, ни к действовавшим партиям в России, ни к политическим организациям эмигрантов за границей. К своим агрикультурным начинаниям он относился довольно юмористически и в конце-концов продал землю и купил небольшой дом в Балаклаве. Здесь он и умер в ночь с 4-го на 5-е июля от апоплексического удара, как о том извещали газеты с юга. Таким образом, он видел и нашу вторую революцию, столь непохожую на 1905 год. К сожалению, я имею мало сведений о последнем периоде его жизни, но знаю, с какими надеждами он встретил новый порыв русского народа к свободе: его чувства были те же, какие волновали всех в мар-

товские дни, открывавшие для нашей родины такие широкие перспективы. Его первым делом было основание республиканского клуба, который после смерти своего основателя торжественно похоронил его.

Петр Леонтьевич Антонов.

(Род. в 1859 г., ум. в 1916 г.).

Петр Леонтьевич принадлежал к рабочей среде. Его дед был крепостным крестьянином одного помещика Тульской губернии и за какую-то провинность попал в солдаты. В качестве кузнеца он был зачислен в рабочий экипаж Черноморского флота. Отец Петра Леонтьевича, как сын солдата, был с самого раннего детства сдан в школу кантонистов в г. Николаеве, а затем служил, подобно деду, во флотском экипаже, но уже в качестве переплетчика. В Николаеве же в 1859 г. родился Петр Леонтьевич. Когда после крымской войны дела черноморского флота ликвидировались, отец Петра Леонтьевича остался при штабе дослуживать свой 25-летний срок, и так как казенной работы почти не было, то брал заказы от частных лиц, главным образом, моряков. Многие книги оставались при этом невзятыми небрежными заказчиками. К возрасту, когда Петр Леонтьевич научился читать, ими был наполнен целый чулан. Эти книжные залежи сослужили большую службу в умственном развитии Петра Леонтьевича: он забирался в чулан и зачитывался всякой всячиной, к великому неудовольствию сурового родителя, не шедшего в своих педагогических воздействиях дальше обучения ремеслу. Книгой, которая в детстве произвела огромное впечатление на Петра Леонтьевича, были «Знаменитые люди» Плутарха, игравшие некогда такую

важную роль в развитии души г-жи Ролан. Так, и по рассказам Петра Леонтьевича, биографии знаменитых деятелей и героев классической древности впервые заставили его мечтать о славных делах и подвигах на благо родины. Семья П. Л. была очень многочисленна и состояла из нескольких братьев, которые, однако же, один за другим сошли в могилу в разном возрасте. После П. Л., спустя несколько лет, у матери родилась, наконец, девочка, нянькой которой, по необходимости и обычаям среды, пришлось быть Петру Леонтьевичу. Он страстно привязался к своей питомице и любил ее с необычайной нежностью. Он рос ребенком глубокорелигиозным и, как часто случается с детьми, мечтал о подвигах христианского благочестия и деятельности миссионера среди язычников. В этом отношении интересен и трогателен один эпизод из его раннего детства.

Недалеко от их крошечного домика на 8-й Слободской, среди трудящейся бедноты городской окраины, в одной рабочей семье жила старая, разбитая параличом бабушка. Все взрослые, как люди рабочие, вынуждены были с раннего утра выходить на работу и возвращаться лишь по окончании трудового дня. Старуха оставалась без всякого призора, брошенная на полу, на куче лохмотьев, среди невообразимой грязи. И вот, маленький благочестивый самарянин, побуждаемый лишь внутренним стремлением к добру, стал ежедневно бегать к этой убогой женщине, мыть, прибирать и кормить ее...

Когда Петру Леонтьевичу было лет 11, его маленькая сестренка опасно заболела. Вскоре стало ясно, что ей предстоит гибель. Но вера ведь двигает горами, и Петр Леонтьевич с пылким усердием и детским доверием молил «всемогущего» не отнимать у него малютку, его радость и счастье... и его вера в чудную силу молитвы была так сильна, что он не сомневался, что по вере—ему дастся. Но ребенок умер,

и его пестун был в полном отчаянии; с потерей сестры он терял и утратил бога. С течением времени наблюдения, что пастыри церкви нередко ведут жизнь, недостойную профессиональных последователей Христа, убили в юноше последние остатки религиозного настроения, которое первоначально было так пламенно и искренно, что составило целую полосу в его ранней жизни.

Детство Петра Леонтьевича протекало среди крайне тяжелых условий.

«Я не помню того времени, когда бы я не работал,—пишет он.—Как бы рано ни вставал отец, чтобы работать, меня непременно будили для той же цели, и попытки уклониться от этой обязанности, вполне естественные в возрасте 6—7—8 лет, карались с беспощадной жестокостью. На мои жалобные крики делалось нравоучительное замечание, что его, отца, не так, мол, еще били, и после рассказа о том, как именно его били в школе кантонистов, у меня становились волосы дыбом, и я забывал о тех «пустяках», которые доставались мне от родительских рук, и начинал чувствовать себя одним из счастливейших мальчиков на свете. Я работал больше всех детей, и мне больше всех доставалось: можно сказать без преувеличения, что я был козлом отпущения за всех моих братьев, хотя я и не был старшим».

Один из бесчисленных случаев жестоких расправ, от которых, по словам П. Л., у него трещали ребра, я передам его собственными словами.

«Однажды—дело было зимой—после трех часов утренней работы мне приказали поставить самовар. Была гололедица, и у меня явилась преступная мысль использовать время, пока самовар закипит, и минут 10—15 покататься по двору. Я быстро наколол лучин, зажег, бросил в самовар и положил углей; схватив затем валявшуюся кость бычачьего ребра, я быстро приладил ее к ноге, и, ну, с наслаждением

кататься по двору, не забывая, однако, чутко прислушиваться, не хлопнет ли дверь, чтобы своевременно прекратить столь нелегальное времяпровождение. Прошло минут пять. Сообразив, что опасно долее искушать судьбу, я вскочил в сени, счастливый тем, что мое наслаждение осталось незамеченным, а следовательно и безнаказанным; но взглянул на самовар—и у меня волосы на голове зашевелились от ужаса: впопыхах я забыл налить воды, и самовар распаялся, так что потоки олова расплылись по полу... Первой моей мыслью, когда я подумал о том, что может за сим последовать, было бежать на реку и утопиться в проруби... Потом я почувствовал какое-то странное равнодушие приговоренного к смерти. Позднее, когда, измученный двухгодичным терзанием на допросах, я был приговорен к смерти, я испытал совершенно то же самое... Я решительно открыл дверь в мастерскую и стал на пороге, как истукан, уставившись в одну точку, в ожидании побоев. Вид у меня был такой, что все ахнули. Отец выскочил в сени, а через секунду я уже лежал на полу, стонал и корчился от боли. Восемь дней я пролежал после этой экзекуции...».

Жестокое отношение отца, его требовательность по отношению к работе и строгость во всех житейских и семейных отношениях, деспотизм, с которым он подавлял всякое проявление индивидуальной свободы, жестокие побои и брань, выпадавшие на долю сына за каждую детскую забаву или проказу, за увлечение книгами, театром и т. п., впервые пробудили, по признанию самого П. Л., в его душе жгучую ненависть ко всякому угнетению и протестующее чувство против всякой тирании.

Учиться грамоте П. Л. начал, когда ему не было и семи лет. Сначала он ходил, платя по 1 рублю в месяц, в школу, которую держал в Николаеве какой-то штурманский офицер, разбитый параличом. После того, как этот педагог ударом в висок чуть не убил брата П. Л., отец перевел маль-

чиков в другую школу, содержателем которой состоял бывший кантонист Попович, применявший чисто кантонистские приемы обучения и истязания; с помощью их П. Л. научился грамоте и четырем правилам арифметики. Затем, когда в 1873 году в Николаеве открылась ремесленная школа при адмиралтействе, П. Л. поступил в нее и в 1876 году окончил первым учеником.

К этому времени, под влиянием чтения, общественные взгляды и симпатии его более или менее определились. Сам того не сознавая, он был христианским социалистом и вел мирную пропаганду среди рабочих, образуя кружки самообразования. С социалистическим учением он был совершенно незнаком, но его настольной книгой было евангелие, и он понимал его в духе демократического равенства и братства. Полный глубокой веры в непреодолимую силу учения Христа, он был убежден, что ничто не может противиться осуществлению идеалов, завещанных им, и царствие божие готово водвориться на земле...

Однако, с 1877 года, когда в газетах стали появляться отчеты по политическим процессам, пробелы в политическом развити П. Л. стали пополняться, а в 1879 году, после того, как в Николаеве были казнены Логовенко и Виттенберг, в нем произошел полный переворот: из мирного пропагандиста он стал ярым сторонником террористической борьбы. Но только в 1880 году П. Л. впервые столкнулся с членами революционных организаций в Полтаве, где он работал в железнодорожных мастерских. В Полтаве он познакомился и вступил в самые дружеские, тесные отношения с семьей Гвоздева, судившегося по «делу 193-х», и примкнул к партии «Народная Воля». С этого времени он всецело отдался революционному делу и не раз предлагал себя в боевую организацию. Но его берегли для целей пропаганды и агитации. Начало 1882 года застало его в Карловке (Полтавской губернии, Константиноградского уезда), в имении

великой княгини Екатерины Михайловны, в котором были сосредоточены заводы и управление окрестными поместьями этой крупной собственницы. Почва для распространения революционных идей оказалась здесь очень благоприятной, и, работая в качестве кузнеца на механическом заводе, П. Л. вел пропаганду с большим успехом.

Затем он переехал на станцию Люботин (недалеко от Харькова) и, поступив там в мастерские кузнецом, действовал среди железнодорожных рабочих и окрестных крестьян, главным образом, штундистов. С конца 1882 года он был зачислен в южно-русскую боевую дружину и, на ряду с двумя другими выдающимися рабочими, Мартыновым и Панкратовым (впоследствии тоже содержавшимися в Шлиссельбурге), занимался почти исключительно делами, сопряженными с опасностью и требовавшими решительности и отваги.

В мае 1885 года он был арестован в Харькове, при чем на квартире у него были найдены бомбы. Судили П. Л. в 1887 г. Петербурге вместе с Конашевичем, Г. Лопатиным, Стародворским, С. Ивановым и др. и приговорили к смертной казни, замененной, однако, каторжными работами без срока.

Еще во время предварительного заключения в Петропавловской крепости П. Л. пришлось пережить много тяжелых испытаний. Первый месяц его держали закованным в кандалы. Одно время он помещался в Екатерининской куртине, в камере, находившейся наполовину в земле. Кругом его не было ни души... Ни переписки, ни свиданий с родными он не имел, потому что его мать по старости и бедности не могла ни разу побывать в Петербурге.

Обстановка застенка, душевные муки, которые он испытывал вследствие цинического предательства своего близкого товарища Елько, терзания от мысли, что нет средств передать об этой измене на волю, подействовали даже на такого стойкого и твердого человека, как П. Л., и он решился

покончить с собой... Осколком оконного стекла он открыл себе лучевую артерию. Когда под кроватью, на которой он лежал, образовалась лужа крови и он был уже в обморочном состоянии, жандармы заметили происшедшее и поспешили оказать медицинскую помощь, а вместе с тем и смягчить условия переводом в более светлое и не столь уединенное помещение. Так он остался жить, чтобы выслушать смертный приговор, которого он ждал более двух лет в полной уверенности, что будет повешен. Это, вероятно, и случилось бы, не будь перед тем процесса 1-го марта 1887 г. с последовавшей казнью пяти человек. Эти казни изменили шансы на смерть тех, кто судился в июне: из них никто не был лишен жизни.

Вместе с четырьмя другими товарищами по процессу Петр Леонтьевич был отвезен в Шлиссельбург, где и пробыл более 18 лет.

В заточении он занимался, кроме чтения, ремеслами и художественным усовершенствованием в них, особенно в столярном и слесарном. Без физического труда ему было трудно, и часто он работал с неутомимой энергией. Такого тщательно обработанного огорода, как его, ни у кого не было. Осенью всю землю этого огорода он глубоко вскапывал и сбрасывал в одну большую кучу, а весной, снова разрыхлив, просеивал через грохот. Зато и овощи же он выращивал! На маленькой, очень изящной выставке, устроенной, кажется, в 1893 году, он побил рекорд не на одном сорте плодов земных; но особенную славу приобрел помидорами и громадным луком.

Тщетно добивался Петр Леонтьевич устройства кузницы, чтобы заняться любимым ремеслом, на котором мог бы размять свои рабочие косточки. Сколько раз ни заявлял он об этом желании разным министрам и их товарищам, директорам департамента полиции и другим высоким особам, аккуратно посещавшим нас много лет кряду, все было напрасно.

Наконец, в 1896 г., после коронационного манифеста, который был применен к некоторым из узников Шлиссельбурга, было об'явлено и Петру Леонтьевичу, что по высочайшему повелению разрешено устроить кузницу. Начальство дало только лесу и кирпичей; заключенные взялись сами построить здание и сложить горн. Для этого выхлопотали послабление относительно числа лиц, которые могли одновременно находиться на «большом» дворе, где было решено строить кузницу, и энергия всей общины воспрянула и закипела; мужское население тюрьмы превратилось в настоящий муравейник: тащили бревна, стругали и тесали, рубили и пилили, кто во что горазд, складывали кирпич, месили глину, а Тригони клал печку. Так, общими усилиями была выстроена монументальная кузница, прислонившаяся к левой стене прежней цитадели, на большом дворе, где находится старая Шлиссельбургская тюрьма с примыкающей к ней кельей Иоанна Антоновича. Под высокой кровлей этой кузницы реяли ласточки, а воробьи фамильярно чирикали, сидя на инструментах, лежавших у окна.

Все были так рады за Антонова, что разрешение кузницы с *высочайшего* соизволения вызвало лишь мимолетную улыбку. Первыми рьяными молотобойцами Петра Леонтьевича были Поливанов и Стародворский; сам же он, в дамском фартуке и домодельной коленкоровой шляпе, с ожесточением бил по раскаленному железу, как-будто желал вылить в этих ударах весь свой накопившийся гнев, а в искрах— весь огонь незатраченных сил.

Предметами изделия были разные инструменты для мастерских и заказы администрации. Однажды дали набить шины на колеса телеги. Это было событием. Все так давно не видали телеги, что в глубине души испытывали тоску по ней. Все осматривали ее, потрагивали, высказывали мнения и давали советы, а Петр Леонтьевич с мрачным видом, глядя исподлобья, молча выслушивал их...

Но образцовым произведением Петра Леонтьевича были топорики для колотья сахара, а позднее—сахарные щипчики, которые он делал уже с новым учеником, Карповичем, очень увлекавшимся кузнечной работой.

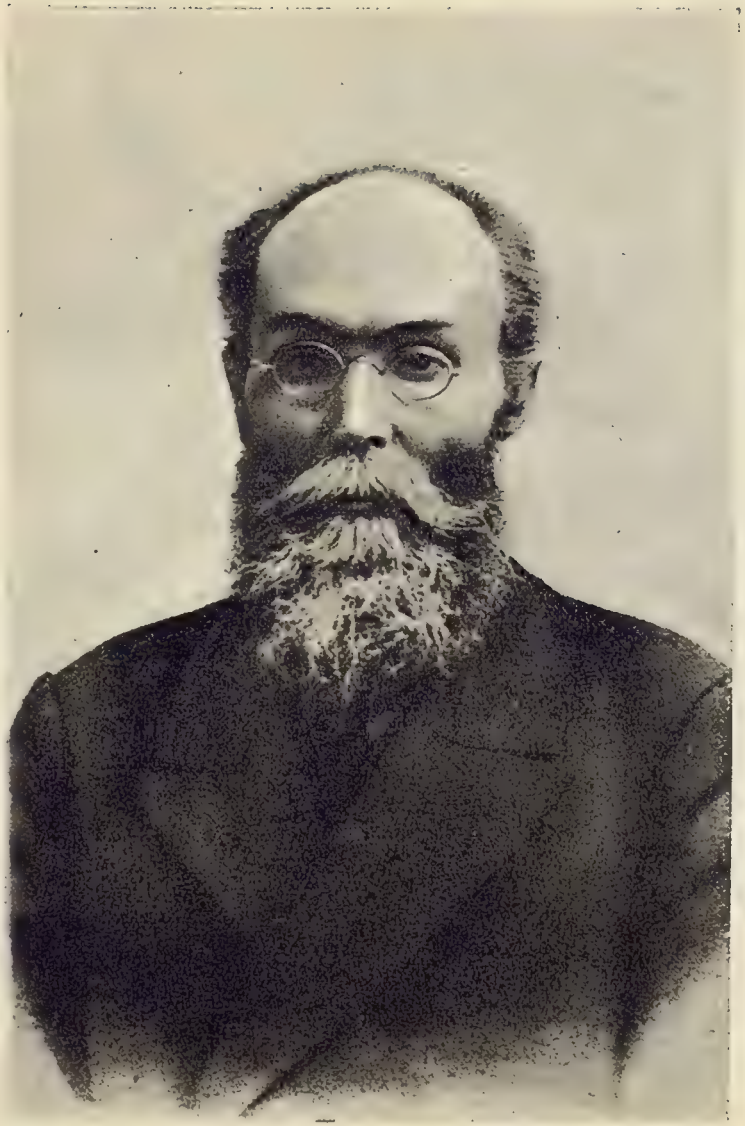
В работе Петр Леонтьевич являлся положительным художником. В смысле аккуратности и тщательности школа, пройденная у отца, не пропала для него даром: это был работник добросовестный, строгий по отношению к продукту, выходящему из его рук. Плохой вещи он не сделает, скорее уничтожит ее, но не сдаст—лишь бы с рук долой. В произведение, которое требует особенно много труда и изящной отделки, он положительно бывал влюблен, не хотел расстаться с ним, придумывал все новые и новые штрихи для его усовершенствования.

Раз ему заказали буфет из березы для смотрителя тюрьмы. Петр Леонтьевич задумал украсить его резьбой. И вот, из месяца в месяц, он составлял рисунки, чертил узоры, потом выполнял их резцом, видоизменял, совершенствовал,—и, право, конца не предвиделось всем его затеям. Наконец, было об'явлено, что буфет окончен и будет выставлен на площадке среди лестницы, по которой ходят гулять. Это было настоящее торжество. При возвращении всякий останавливался, осматривал, удивлялся и восхищался. Перед нами было в высшей степени изящное произведение, над которым человек работал не для денег, а ради искусства, из желания создать и показать другим нечто красивое, тем более ценное, что всякое изящество и красота в тюрьме необычны. Деньги—25 рублей—полученные за труд, мастер братски разделил между всеми, обогатив нас на целые месяцы.

В заключение скажу, что трудно найти сердце более нежное, чем сердце Петра Леонтьевича, и это покажется, конечно, удивительным тому, кто стал бы судить по его суровой и мрачной наружности, по его резким манерам и

суждениям или по обвинительному акту, повествующему о его революционных деяниях. Но такова была эпоха, переживавшаяся нами, и такова двойственность человеческой натуры, что одна и та же личность во имя общественного блага поднимает руку на своего ближнего, если он тиран или предатель, и в то же время по целым месяцам ухаживает, как Петр Леонтьевич, за птичкой, изувеченной бурей, лелеет и нежит ее, как ребенка, ни разу не забывая прикрыть куском теплой ткани и накормить.

В коллективных протестах в тюрьме Петр Леонтьевич никогда не принимал участия. На первый взгляд это несколько странно со стороны заведомо хорошего и надежного товарища. Разгадка заключается в том, что это были протесты пассивного характера. Так, первым протестом был отказ от совместных прогулок (во имя общего права на них); затем—голодовка по поводу из'ятия из библиотеки многих хороших книг. Но по натуре Петр Леонтьевич был человек боевой: он просто не переваривал системы самоистязания, что не мешало ему, однако, относиться с самым смиренным почтением к тем, кто участвовал в подобного рода протестах. Помню, как глубоко я была тронута, когда, лежа на койке после 9-дневной голодовки, которая не столько изнурила меня физически, сколько своей неудачей разбила нравственно, я услышала снизу, где в то время сидел Антонов, нежные слова: «Я целую край вашего халата»... А когда голодал Карпович по поводу решения тюремного начальства не пускать никого к двери того дворика, где он гулял (чем мы пользовались для бесед с ним), и на пятый день его голодовки Сергей Иванов, я и некоторые другие хотели присоединиться, чтоб поддержать его, Петр Леонтьевич и не подумал об этом. Но он сказал: «Если Карпович умрет—я отомщу за него». И это не была пустая угроза, потому что за словами Петра Леонтьевича всегда чувствовалась сила и решимость твердой воли: это был чело-



П. Антонов.

Н. Похитонов.

век не фразы, а дела, суровый и непоколебимый. Не даром всякого рода тюремная администрация остерегалась затрагивать его, а высшие чины, как Плеве и Дурново, относились к нему с нескрываемым озлоблением. Даже после 20 лет тюремного заключения из всех шлиссельбуржцев только его одного хотели отправить в Сибирь, и, только благодаря настойчивости одного друга, удалось отстоять для него хоть ту жалкую долю справедливости, по которой за равную вину должно быть и равное наказание.

Предыдущие строки написаны много лет тому назад. Когда теперь, в 1928 году, я перечла их, образ П. Л. с новой силой воскрес передо мной. Его уж нет—он умер летом 1916 г. в Одессе от мучительной болезни—рака пищевода. Умер в нужде, оставив без средств молодую жену и малолетнего сына. Когда я получила известие о болезни и о том, что нужны деньги, я хотела предпринять все возможное, чтобы достать их. Но уведомление опоздало, и помочь материально я не успела. Говорят, он не раз писал мне. Не о деньгах, нет. О них он не заикнулся бы, так как был очень щепетилен в этом отношении. Его беспокоило другое, не материальное, и отсутствие ответа он об'яснял в неблагоприятную сторону. Это больно, потому что письма его просто не доходили до меня.

После Шлиссельбурга, благодаря хлопотам княжны М. М. Дондуковой-Корсаковой, возлюбившей этого сурового и с виду неприступного человека, быть-может, потому, что она вообще тяготела к личностям, которых надо было преодолеть, П. Л. был отпущен на юг и поселился в своем родном городе Николаеве.

Вот как он описывает в письме ко мне (30 марта 1906 г.) первые часы по прибытии в Николаев.

«С вокзала меня перевели в городскую полицию. Там я просидел часа 4, пока власти переговаривались по телефону о том, «что со мной делать».

Сначала хотели вызвать мать в участок и там сдать меня ей на руки, но я воспротивился и потребовал, чтобы меня отвезли к ней, ибо я не хотел иметь первое свидание с матерью в участке. На том и порешили. Был вызван пристав нашей части и отвез меня к матери. Пристав сейчас же уехал, и с тех пор полиция оставила меня в покое. С того момента, как за мной приехали жандармы [1]), я чувствовал какое-то непрерывное опьянение, и, когда мне пришлось в первый раз на вокзале итти в толпе, у меня просто захватило дыхание. Везли меня в общем вагоне 3-го класса вместе с публикой. Через три часа по приезде к матери я уже бегал по городу, как угорелый.

Попал я сюда в разгар всех свобод. Голова буквально пошла кругом от митингов, красных флагов и прочих революционных атрибутов. Сразу же я перезнакомился с массой людей, между прочим с семьей Юрковских и Лукашевичей. У Юрковского жива еще мать, которой под 90 лет, а брат его командует одним из экипажей.

Дней через 6 после приезда я заболел плевритом и в такой скверной форме, что пришлось с неделю лежать неподвижно и больше 2-х недель не выходить из дому. Когда же я вышел снова на улицу, то декорация ее совершенно изменилась. Митинги, речи, флаги,—все это исчезло, и только уличные мальчишки неустанно и невозбранно распевали «Марсельезу» и другие революционные песни.

Снаружи, казалось, все пошло по-старому. На самом же деле даже в несколько недель свободы сделано столько для самосознания масс, сколько не сделала десятилетняя работа революционеров всех фракций. Несмотря на массу арестов, вовсе не чувствуется того рабьего страха, который при аналогичных случаях являлся раньше» [2]).

---

[1]) Чтоб везти из Петропавловской крепости в Николаев.
[2]) Орфография мною взята теперешняя.

В Николаеве Антонов поселился на той же 8-й Слободской, в доме матери, где родился и провел среди николаевской бедноты жестокое детство, немногими штрихами описанное выше. «Я не помню того времени, когда бы я не работал»,—писал он о своих детских годах, и та же работа, тот же тяжелый труд наполняли его жизнь и после двадцатилетнего заключения в тюрьме. Как искусный слесарь, он обратился к прежнему ремеслу и занялся водопроводным делом. Как социалист, вести его он хотел не индивидуально, а товариществом. Подобрав сотрудников-рабочих, он составил артель и пустил в ход небольшую мастерскую. Много огорчений встретил он на этом пути: в артели оказались недоброкачественные члены. Работа совершалась неаккуратно, инструменты и материал пропадали, запись получек страдала беспорядком. П. Л. был человек требовательный, строгий и дисциплинированный. Увидав, что толку нет и упорядочить дело невозможно, он распустил артель и перешел к огородничеству, которым занимался в крепости с таким успехом. Выше было рассказано, как он любил свою землю, как лелеял свой крошечный участок. Теперь он задумал вернуться к тому же уходу за землей. Купив, с помощью друзей, небольшой домик на окраине и тотчас заложив его, он арендовал у города прилегающий участок земли, провел воду, разбил гряды и завел парники. Предприятие пошло хорошо, и это подстрекнуло к расширению дела. Подвернулся и случай к этому. Банковский делец, французский консул Властелица, предложил себя П. Л. в компаньоны и дал 15 тыс. рублей для постановки дела на широкую ногу: ранняя выгонка овощей и сбыт их в столицы сулили компаньонам большие барыши. Предприятие увлекло П. Л.: он поставил 2 тыс. парниковых рам, нанял рабочих, удесятерил свой труд. Овощи росли и созревали под неусыпным попечением и надзором, но когда дело коснулось сбыта,—выказалась вся неподготовленность предпринима-

теля, совершенно лишенного необходимых для того навыков. В один год овощи опоздали прибытием в Петербург; в другой—произошло стихийное несчастье: выпал крупный град и побил стекла парниковых рам, причинив громадный убыток. Дальше оказалось, что Властелица беспорядочно распоряжался банковскими деньгами и попал под суд. Опасались, как бы неопрятное поведение компаньона не скомпрометировало и П. Л. По этому-то поводу он и писал мне письма, к сожалению, не дошедшие до меня. К неудачам присоединилась тяжелая неизлечимая болезнь. Эта болезнь и вместо барышей—отсутствие материальных средств в самое трудное время, так как небольшая помощь, которую оказывали Шлиссельбургский комитет и кое-какие друзья в Одессе, была совершенно недостаточна, омрачили остаток дней П. Л. Во всю свою жизнь он видел только труд, моральное напряжение и тюремные лишения. Радостей жизни, можно сказать, он совсем не хлебнул и умер в период реакции и всеевропейской войны.

Николай Данилович Похитонов.

(Род. в 1857 г., умер 1896 г.).

Николай Данилович Похитонов, по происхождению дворянин, родился в Миргороде, Полтавской губернии, и был сыном генерал-майора, начальника артиллерии корпуса гренадеров. Предназначенный отцом к военной службе, он учился сначала в военной гимназии в Киеве, потом в Петербурге в артиллерийском училище (кончил по первому разряду в 1876 г. и был выпущен в 5-ю артил. бригаду) и, наконец, завершил свое военное образование в артиллерийской академии, куда поступил в 1879 г., а кончил в мае 1882 г. Во время войны с Турцией 1877—78 гг. он был на поле действий и с отличием участвовал в осаде Плевны, которую громил артиллерией, за что и получил несколько орденов, красовавшихся на его мундире. Его знакомство с революционными идеями началось еще в артиллерийском училище, где он был одновременно с С. Дегаевым, впоследствии предавшим его. В академии они были тоже товарищами, но Дегаев был вынужден оттуда выйти по причине «неблагонадежности».

Русско-турецкая война во многом просветила Николая Даниловича: как потом он рассказывал на суде, ему, как и другим офицерам, казалось странным «освобождать» Болгарию и давать ей конституцию, когда собственная страна,

стоящая ничуть не ниже в культурном отношении, остается бесправной и автократической.

Более серьезное участие в революционном движении Николай Данилович принял в 1880 году, когда осенью этого года, по инициативе Исполнительного Комитета партии «Народная Воля», было положено начало чисто военной организации с собственным центром, состоявшим на первый раз из Суханова, Рогачева и барона Штромберга [1]). Дегаев, сам вступивший в члены одного из военных кружков, подчиненных этому центру, предложил и Николаю Даниловичу сделать то же и ввел его в дом Суханова, откуда и начались оживленные сношения Похитонова с партией «Народная Воля».

Как очень неглупый, молодой и красивый офицер, Николай Данилович производил очень приятное впечатление своей изящной фигурой, интеллигентностью и рассудительностью. Это последнее качество особенно ясно выступало при обсуждении вопроса об инсуррекции, о которой в ту зиму не однажды заходила речь на собраниях у Суханова. Страстный и энергичный, Николай Евгеньевич строил разные планы и увлекал всех своим сжатым и сильным красноречием, а Николай Данилович говорил трезвые слова, возвращавшие к действительности. В самом деле, можно откровенно сознаться, что сколько-нибудь основательных надежд на городское восстание тогда не могло быть. Стихийный элемент, который сообщает движению силу и дарует победу, в то время вполне отсутствовал. Поэтому выступление революционной организации с оружием в руках на улицу было бы делом искусственным и неминуемо кончилось бы даже не поражением, а неудачей. Как в 1876 г. при демонстрации 6 декабря на площади Казанского собора, мы остались

---

[1]) Желябов и Колодкевич состояли комиссарами Исп. Ком. при этом центре.

ничтожной кучкой, непонятые и не поддержанные, так и в 1880—81 гг. горсть смельчаков, выступивших на улицу с призывом к восстанию, ограничилась бы составом собственной организации и была бы раздавлена, вероятно, даже не войском, а дворниками и родственными им элементами.

Весь 1881 год Николай Данилович продолжал деятельные сношения с агентами Исполнительного Комитета, при чем сферой его пропагаторской и агитационной деятельности были военные. Ближайшими товарищами его в это время были офицеры: Николай Михайлович Рогачев (впоследствии казненный), Папин и Николаев (высланные административно в 1884 году). В половине декабря, задержанный на квартире доктора Мартынова, Николай Данилович подвергся обыску и на время должен был сократить свои революционные знакомства, а в мае 1882 г., кончив академию, отправился сначала на Кавказ лечиться, а потом в г. Кобеляки, Полтавской губ., где стояла его бригада. Там его застала измена Дегаева: 31 марта 1883 г. он был арестован и отправлен в Петербург. Если бы не собственное признание, то едва ли его могли осудить очень строго, так как никаких показаний Дегаева на суде не читалось, и среди документов следствия они отсутствовали. Самым важным пунктом, кроме голословного оговора относительно участия в военной организации, была собственноручная записка Похитонова о применении взрывчатых веществ в форме ракет, написанная им для С. Златопольского и найденная за год раньше, при аресте агента Исполнительного Комитета Теллалова. Весь последний период перед арестом Похитонов жил не в Петербурге, в котором у него было много революционных знакомств, а в провинциальном городишке, где, по собственному признанию, в революционном смысле он был совершенно бесполезен.

В виду общего положения дел в партии, я предлагала ему взять долгосрочный отпуск или совсем оставить воен-

ную службу, чтобы уехать из провинции и всецело отдаться делу пропаганды и агитации в военной среде. Но действовать в столицах под своим именем он находил неудобным, так как был уже скомпрометирован в глазах полиции, а «переменить шкурку», как он выражался, т.-е. перейти в нелегальные, считал невозможным, потому что врачи предписывали ему спокойную жизнь, угрожая в противном случае сумасшествием.

Отказ этот, однако, не спас Похитонова... Дегаев, хоть и знал все эти обстоятельства, так как участвовал в переговорах, все же предал своего товарища по школе, человека, которого сам ввел в военную организацию и к которому, судя по внешности, всегда относился с особенной мягкостью, нежно называя «Похитончиком»...

Отклонив предложение сделать революционное дело главным делом своей жизни, Похитонов не вышел из организации, не отказался от сношений и помощи организационным планам того времени. Для этого к нему приезжали подполковник М. Ю. Ашенбреннер, артиллерист Н. М. Рогачев и виделась с ним я. Дегаев раскрыл все эти обстоятельства, и Похитонов после ареста не счет нужным в чем-либо запираться.

На суд, происходивший в конце сентября 1884 г., он явился сильно изменившимся: больно было смотреть—так он побледнел и исхудал. Зато печать одухотворенности легла на это лицо, раньше бывшее обыкновенным лицом человека от мира сего.

В последнем слове он сказал краткую, довольно выразительную речь, о содержании которой было упомянуто вначале.

Приговор об'явил ему смертную казнь. Но, уступая просьбам отца, к которому он был очень привязан, и, кажется, из боязни скомпрометировать его своим непокор-

ством, он подал прошение о помиловании и был заключен в Шлиссельбург на каторгу без срока.

Похитонов не отличался ни особенной энергией, ни силой характера. Это была натура мягкая, нуждавшаяся в товарищеской поддержке и склонная к эпикурейству: он любил жизнь и все радости ее. Как человеку довольно избалованному, без малейшей нотки аскетизма, ему, быть-может, было тяжелее, чем кому-либо в Шлиссельбурге, и его жизнь там была полна страданья и завершилась катастрофой.

Всем известно, что в тюремном заключении человека сильно поддерживает мысль о товарищах, о том, что они тоже страдают, что делишь с ними одну и ту же участь. Несомненно, в первые годы заточения в Шлиссельбурге эта мысль оказывала большую поддержку и Похитонову. Но его в особенности трогала участь женщин, поставленных в такие же суровые условия, как и он. В одной записке ко мне, писанной в 1888 году, он говорит: «Если бы не ваш пример, то жизнь здесь была бы невозможна»...

Так рыцарское отношение к женщине сказывалось и в каменном мешке, в котором мы были заключены.

Рядом с № 21, в котором жил Похитонов, находился Ю. Н. Богданович (№ 22). Это соседство, знакомство с чистой и благородной личностью Богдановича имело тоже свое значение. Позднее ближайшими друзьями Николая Даниловича были Л. А. Волкенштейн и И. Д. Лукашевич.

Чтение, изучение иностранных языков и физический труд наполняли время Николая Даниловича в Шлиссельбурге. Он стал хорошим мастером, любил токарное, но в особенности столярное ремесло. Его здоровье до 1895 года было довольно удовлетворительно; так, например, цынги и кровохарканья у него никогда не было. Человек живого темперамента, он был обыкновенно очень деятелен и предприимчив, и все его тюремные затеи были направлены к тому, чтобы доставить удовольствие Л. А. Волкенштейн, для ко-

торой он созидал буфеты и шкафчики, кресла и полочки, шкатулки, точеные грибочки, вазочки и другие бесчисленные безделушки.

Однажды на рождество он ухитрился устроить для нас даже елку, настоящую елку с разноцветными фонарями и восковыми свечами. Вообще по части баловства он был мастер своего дела и в дни именин 16 и 17 сентября проявлял виртуозность, свидетельствовавшую о большой опытности. Задолго до этих дней все мужское население тюрьмы облагалось обыкновенно налогами и добровольно постилось: собирался сахар, копились масло, рис и селедки. Из огородов брались наилучшие овощи, срывались грибы, если они появлялись на гнилушках, и т. д. Затем все это перерабатывалось импровизированными поварами по строго обдуманному плану. Похитонов брал кусок цветной папки, рисовал толстых купидонов, трубящих в рог, и четким почерком писал меню. Это был длинный перечень всевозможных и невозможных блюд, название которых новичек никак не мог бы воспроизвести. К сожалению, такой лист, долго хранившийся, как воспоминание о кулинарном творчестве, не мог выйти из стен крепости, чтобы найти себе место здесь. Там морковь называлась непременно «carotte», а репа «rave»; были entremets и dessert, и по всему было видно, что автор не только читывал карту кушаний в ресторанах, но частенько пользовался ею и на практике... Так устраивалось то, что департамент полиции, быть может, и не иронически называл «фестивалями»...

Но среди работы и тюремных развлечений тоска, по-видимому, не переставала грызть Похитонова. Так, однажды, должно быть в 1894 г., он явился на прогулку весь сияющий, с широкой улыбкой на губах и радостным огоньком в глазах.

— Что с вами?—спрашивают товарищи

А он, прижимая руку к груди, со смехом отвечает:

— Сейчас доктор исследовал меня и говорит, что у меня начинается!..—Он разумел чахотку.

В другой раз, по рассказу Лукашевича, у Похитонова, относительно еще здорового, вырвались слова, что он «покончит с собой», что «так жить нельзя»...

Похитонов сошел с ума. Для ненаблюдательного глаза это совершилось почти внезапно. Можно определить даже число, когда в тюрьме впервые осмелились громко сказать: «Похитонов сошел с ума». Это было 10 или 11 сентября 1895 г. В действительности же психиатр открыл бы в нем признаки душевной болезни еще года за два, если не больше. Дело в том, что нравственный облик Похитонова стал уже давно явственно изменяться. Мягкий и уступчивый, он начал выказывать запальчивость и необычайное упрямство. Разные мелочи, сами по себе не стоящие внимания, часто приобретают в четырех стенах тюрьмы громадное значение. Там как нельзя более приложимы слова графа Толстого, что нет на свете мелочи, которая не разрослась бы до громадных размеров,—стоит только сосредоточить на ней внимание. Многие выходки Похитонова об'яснялись ложно, именно с этой точки зрения, и получили совершенно иное толкование в более поздний период, когда свет разума в его голове совсем погас.

Тяжело было видеть, как психическая деятельность человека разлагается. Летом 1895 г. Н. Д. предложил товарищам заниматься математикой и был очень рассержен, когда после нескольких уроков пришлось отказаться от продолжения их, потому что в его изложении решительно не было возможности что-нибудь понять. В другой раз он пригласил нескольких человек выслушать его доклад об экономическом положении России. Это был небольшой реферат, составленный по «Вестнику Финансов» и состоявший из самого дикого панегирика тогдашнему министру финансов Витте. Этот доклад, по существу совершенно бессодержательный, находился

в таком противоречии с экономическими и демократическими взглядами революционера, что вызвал крайнее недоумение в слушателях.

В летние месяцы того же года у него вырывались вопросы:

— Верите ли вы в спиритизм?

— Нет.

— А я верю... вчера ко мне приходила мать... Нет, нет! Я не должен говорить об этом.

Через некоторое время опять он заговаривал о спиритических духах и снова обрывал себя, видимо, сознавая, что это больные идеи и надо бороться с ними.

Около 14—15 сентября вся тюрьма уже единогласно и открыто признала, что Похитонов погиб. С этого времени он, можно сказать, перестал уже быть в правильном общении с остальной тюрьмой. Он не выходил на прогулку, лег в постель и об'явил, что болен. Перестал менять белье, умываться и начал посылать то тому, то другому записки жалобно-просительного характера насчет чего-нибудь с'естного. А то учинял сбор различных продуктов и, образовав из них отвратительную смесь, раздавал по камерам. Целый день у него горела дурно заправленная керосинка, чада которой он не замечал, и часто появлялся с лицом не чище трубочиста. Из его камеры постоянно слышался стук какой-то беспорядочной шумной работы: он забирал, где можно, столярные инструменты, без толку колотил ими по доскам, после чего эти инструменты, например, стамески, оказывались сломанным пополам. Он перепортил таким образом все, что у него было в камере: рубил направо и налево, ломал и рвал, не щадя даже карточек своих родных. Иногда, потребовав, чтоб его отперли, он выходил в общий коридор с пустой наволочкой на плече и обходил всех, подходя к двери каждой камеры и распевая деланным, дребезжащим голосом, наподобие калик перехожих: «Подайте милостыньку, Хри-

ста ради». При этом он приоткрывал так называемый «глазок» в двери и заглядывал внутрь. Электрический свет камерной лампочки, падая и отражаясь из глубины его глаза, производил жуткое впечатление: из глаза исходил пучок сверкающих лучей и, кроме неестественного ослепительного блеска, в нем нельзя было уловить никакого выражения. А надтреснутый странный голос из-за двери монотонно тянул: «Милостыньку... милостыньку, Христа ради»...

Жандармы держали его доселе на общем положении, рядом со здоровыми, полубольными и больными: все одинаково должны терпеть. По требованию его выводили, как и всех других, в коридор, если он хотел облиться водой в ванной или подойти за чем-нибудь к двери соседа. В мастерские, которые тогда находились в старой тюрьме, он не ходил. Кажется, он просто забыл об их существовании, а может-быть жандармы сами перестали его водить.

В это время он очень много говорил и еще более писал на темы о способах добыть громадные деньги для революционного дела. Целую кучу беспорядочно нарванных листов бумаги, небрежно исписанной карандашом, он посылал то одному, то другому, требуя самым настойчивым и даже задорным образом отзыва, и притом, конечно, хвалебного. Так, однажды и я получила целый ворох таких листов. Относясь добросовестно к задаче, я внимательно прочла весь манускрипт. Тут были всевозможные—безо всякой связи между собой—проекты получить миллионы, куда миллионы—биллионы и триллионы на дело революции, и притом самым простым способом. Изо всей кучи нелепых планов я помню одно предложение, касавшееся весьма выгодного приготовления рамок для портретов. Николай Данилович предполагал делать их посредством штампа, накладываемого на доску. Один, два удара—и рамка готова, и за каждую можно взять 20 коп. Дальше высчитывалось, как в самое короткое время можно наделать таких рамок бесчисленное множество и получить

миллионы, тысячи миллионов рублей. Голова кружилась от несметных и столь доступных богатств.

Все население тюрьмы, измученное проявлениями болезни Похитонова, скоро пришло в крайне нервное состояние. Все ждали, что вот-вот сам он сделает что-нибудь непоправимое или с ним сделают что-нибудь ужасное. И, казалось, нет выхода из этого положения, потому что, кроме Похитонова, в тюрьме уже несколько лет томились еще два психически больных: Щедрин и Конашевич... Умные и энергичные прежде, а теперь один—страдающий манией величия и устраивающий шумные сцены, а другой—весь день фальшивым голосом распевающий: «Красавица! Доверься мне!», а в промежутках пишущий удивительное сочинение «Компонат», где на протяжении множества страниц была единственная разумная фраза, которая могла бы вырваться из глубины и не омраченной души: «Господи! Когда же кончится эта каторга!!».

Среди этого напряженного выжидания произошел инцидент, который мог иметь кровавую развязку. Однажды, когда почти все были в старой тюрьме, в мастерских, при чем заперты были только Л. А. Волкенштейн и я, двери же остальных мастерских были отперты [1]), внезапно из новой тюрьмы явился взволнованный Мартынов и заявил, что жандармы бьют Похитонова. Моментально в коридоре собралась толпа, возмущенная, негодующая. Поднялись шум, крик и угрозы по адресу жандармов. Их было человека 3—4, и одним из них был Гаврюшенко, по прозванию «бурхан». Начались пререкания: жандармы распинались, что ничего подобного быть не может, а Мартынов уверял, что ошибиться он не мог.

С особенной энергией защищался Гаврюшенко и, между прочим, на упреки, что бить больного позорно, сказал:

---

[1]) Беспрестанные отпирания и запирания дверей—то за тем, чтобы взять доску, то передать клей—так измучили жандармов, что они перестали запирать мастерские мужчин.

— Да разве же на нас креста нет?!.

На это Янович, очень горячий и нервный, задыхаясь, крикнул:

— Вы подлец.

В ту же минуту обиженный изо всей силы дернул звонок, проведенный в кордегардию, и запер решетчатые ворота, отделявшие коридор от прихожей. Не успел никто опомниться, как послышались поспешные, мерные шаги, и у решетки появились солдаты с ружьями наперевес. Наступил решительный момент, когда из-за решетки могли засвистеть пули. Тогда-то П. С. Поливанов, отличавшийся крайней, совершенно болезненной вспыльчивостью, когда он не помнил, что творит, побежал в мастерскую и схватил топор, конечно, чтобы защищаться и рубить жандармов, бывших среди нас. Но Василий Иванов, в мастерскую которого прибежал Петр Сергеевич, успел задержать его и вырвать опасное орудие.

В то же время появление вооруженных солдат отрезвило Гаврюшенко и он отправил их назад.

Эта история не вызвала никаких репрессий: только Мартынов [1]) за распространение ложных слухов был на три дня лишен прогулки.

Комендант Гангардт, понимая причину общего возбуждения, обещал вместе с доктором Безродновым хлопотать об увозе Похитонова, а пока успокаивал нас тем, что при нем ни один жандарм не посмел бы наложить руку на кого-либо из заключенных, так как раз навсегда он, мол, отдал приказ, чтобы «ни одним пальцем никто не смел коснуться их»... Вместе с тем он совершенно искренно умилялся над словами жандарма: «Разве на нас креста нет?». Но нам-то хорошо было известно, что крест на жандармах был и при других комендантах; однако же, эти добрые христиане производили нещадные избиения, нападая семеро на одного. Попов, Васи-

---

[1]) Рабочий, осужденный в Киеве в 1881 г.

лий Иванов, Манучаров, Минаков, Мышкин, Кобылянский,— все были у нас в памяти. И эти с крестом на шее люди, желая, должно быть, получить также крест и на грудь, имели нахальство и жестокость уснащать побои еще различными словцами в роде: «Вот и моя рука», или «Вот тебе и от меня, белый негр» и т. п. [1]).

Вся эта история, конечно, не подействовала успокоительно на наши нервы, и дальнейшее пребывание Похитонова в общей тюрьме стало казаться невыносимым даже и самой жандармерии. Доктор Безроднов обнадеживал, что высшее начальство согласится поместить его в дом умалишенных, а в ожидании этого предлагал перевести его на жительство в старую тюрьму, где он уже не мог бы никого беспокоить. Но перспектива оставить душевнобольного в полном одиночестве, в совершенно изолированном здании, на произвол наших добрых знакомых—избивателей 80-х годов, у которых не могли же развиться гуманные чувства на их собачьей службе, казалась ужасной. Обсудив дело, тюрьма решила, чтобы кто-нибудь из товарищей сопровождал туда Похитонова и жил там в качестве свидетеля, служа порукой, что над больным товарищем не будет производиться никаких насилий. Это было тем более необходимо, что болезнь быстро прогрессировала: мания величия, религиозный бред, припадки буйства и стремление к самоубийству переплелись в

---

[1]) Впрочем, Гаврюшенко был по отношению к нам одним из лучших жандармов, и до этого инцидента никто не мог на него жаловаться. В последние годы (с 1901 г.) он был сделан каптенармусом и уже не имел с нами дела, но мы получили полное отвращение к нему после того, как он распоряжался казнью Балмашева и с бодрым духом шнырял мимо окон тюрьмы, таща под полой то пилу, то топор или веревку для виселицы, проделывал все свои палаческие обязанности с тем же добродушным лицом, с каким оказывал мелкие услуги нашим минералогам, принеся, однажды, с поля громадный кусок прекрасного белого кварца для коллекций.

самую острую и угрожающую форму сумасшествия, когда для обуздания припадков уже нельзя было не прибегать к физической силе. А известно, что и на свободе нередко происходят в таких случаях отвратительные злоупотребления, когда грубые и злые сторожа, потеряв терпение, ломают ребра и разбивают головы своим пациентам. Выбор пал на И. Д. Лукашевича, который всегда был в наилучших отношениях с Николаем Даниловичем. Эта дружба, на ряду с мягкостью и физической силой Иосифа Дементьевича, казалась наилучшим условием для человека, который должен был видаться с больным и служить посредником между ним и жандармами в случае каких-нибудь конфликтов или невыполнимых требований.

Тюремная администрация одобрила этот план, так как он обеспечивал общее спокойствие: верить жандармам мы не могли, а Лукашевич мог передавать в новую тюрьму самые точные сведения о состоянии больного и об обращении с ним.

Счастливый случай спас для этих страниц два письма, написанные Лукашевичем во время этого добровольного сожительства с несчастным товарищем (конечно, в разных камерах). Эти письма, набросанные второпях, под свежим впечатлением только-что пережитого, полны реализма и составляют живую страницу из летописи человеческих скорбей.

№ 1 [1]) «Я страшно взволнован, дорогая Вера Николаевна, и до сих пор не могу притти в себя...

Несколько дней под ряд Похитонов вел себя очень спокойно и пел божественные псалмы. Вчера вечером и ночью у него были сильнейшие галлюцинации, и он ужасно кричал. Воздевши руки к потолку и устремив глаза вверх, он то звал жандармов смотреть, как грядет господь бог в сиянии великом, то, ставши перед стеной, грозил и ругал воображаемых лиц. Днем он был спокоен. Когда его в урочное время по-

[1]) Писано в конце 1896 г.

звали в ванну, он сказал, что пойдет только в таком случае, если его пустят одного и жандармы не будут неотступно при нем присутствовать. Но после раздачи ужина он потребовал вдруг, чтобы его вели купаться. Вымывшись, он, при возвращении в свою камеру, бросился неожиданно в девятый номер, но его тотчас же схватили и без большого труда втащили в его № 10. Прошло, быть может, с полчаса, как я услышал вдруг, что жандармы вбежали в камеру Похитонова, и там началась возня. Похитонов умоляющим голосом чего-то просил. Я начал стучать в дверь, которую вахмистр сейчас же отпер, и сообщил мне, что Похитонов лег на пол навзничь, приподнял ножку койки и, вставив себе в рот, хотел проткнуть позвоночник. Я побежал и увидел: два жандарма вяло и нерешительно держали Похитонова за ноги; он лежал наполовину под койкой, крепко схватившись одной рукой за железный переплет ее, а другой стараясь проткнуть себе грудь острием ножки. Я ухватился за ножку, чтобы не дать ему искалечить себя. Жандармы, увидев меня, тотчас удалились, и Похитонов, почувствовав, что у него ноги свободны, стал бить ногами, крича: «Не мешайте мне покончить с собой!». Я не выпускал ножки из рук. Когда жандармы увидели, что Похитонов не перестает барахтаться, то снова схватили его за ноги. Он на время затих. Я присел возле и пытался заговорить. Так как Похитонов все время держался за переплет койки, лежа на полу, то я пододвинул ему под голову полушубок. Он сказал: «Вот это хорошо». Затем начал говорить о самоубийстве и, между прочим, обмолвился фразой: «Я уже лишился одного глаза». Не могу сказать, насколько серьезно он поранил себе горло и ушиб или оцарапал глаз ножкой койки. Я пробовал снова заговорить с ним, но он крикнул: «Вон отсюда». Я отошел к дверям. В это время он снова стал барахтаться, и жандармы его вытащили из-под койки, так что он только руками держался за нее, а тело его висело в воздухе, и он не переставал выры-

ваться. Вдруг он закричал раздирающим душу голосом: «Батько, ты видишь, как они меня мучат. Порази их всех»... Затем на несколько мгновений успокоился. Озираясь кругом, он вдруг увидел меня и, перекрестившись, взмолился: «Заклинаю вас вашей матерью, умоляю вас всем, что вам дорого,—размозжите мне голову или грудь кругляком».

Тем временем один унтер побежал дать знать начальству. Явились: смотритель, доктор, офицер и еще несколько жандармов (их было вначале только 3). Увидевши доктора, Похитонов сказал, чтоб его пустили, дав обещание быть спокойным. Он сел на стульчик, спросил папиросу, которую ему дал офицер, и, закуривши, начал говорить доктору, что он решился покончить с собой, и просил не мешать ему. Когда же доктор стал его уговаривать, возразил, что он сегодня написал последнюю бумагу и свел все земные счеты; что доктор ничего не знает, что уже вчера господь бог во всем великолепии снизошел на землю и теперь водворилось царствие божие; что возмутительно и бесчеловечно удерживать его в этой юдоли слез, стенаний и вечных мучений, когда он может сейчас воссоединиться со своим отцом и своими дорогими родными и пребывать в вечном блаженстве и чистейшей радости. И много, и долго говорил в этом роде. Затем попросил, чтоб его сводили снова в ванну: он хочет освежиться холодной водой. Его повели. Он позвал меня к себе. Я стал возле плиты. Когда он уже кончал одеваться, он сказал мне: «Отодвиньтесь влево». Я отступил, и в это время на освободившееся пустое место он бросился и схватил выдвижную вьюшку, что над плитой. Но жандармы тотчас схватили его за руки. В светлой комнате [1]) он пытался еще что-нибудь

[1]) Эта была обширная комната, рядом с кухней. Ее окна были устроены, как в обыкновенных домах, а не вверху, как делается в тюрьмах. Поэтому комнату звали «светлой», и она служила для установки горшечных цветов, спасая их от гибели из-за отсутствия света в камерах.

схватить, но, будучи окружен толпой жандармов, ничего не мог сделать. Тогда он стал жаловаться доктору: зачем его держат за руки, когда он спокоен. Но доктор, присутствовавший при этой сцене, сказал жандармам, чтобы они увели Похитонова под руки в камеру. Здесь он потребовал чаю, и заведующий тотчас налил ему кружку. Он снова стал беседовать с доктором на тему о самоубийстве и обозвал его несколько раз нахалом за то, что по разным бумагам, которые Похитонов отправлял в департамент, никаких решений до сих пор не получилось. Когда затем он настойчиво стал говорить, что должен покончить с собой, то доктор и смотритель сказали ему, что, если он сделает попытку к самоубийству, на него наденут сумасшедшую рубаху; при этом смотритель сделал распоряжение жандармам, чтобы один из них бессменно дежурил у дверей и смотрел в окошечко, а в случае тревоги звонком давал знать в караул, где будут наготове 5 человек. На угрозы смотрителя относительно сумасшедшей рубахи, Похитонов ответил: «А совесть, совесть что вам на это скажет?».

Доктор прописал ему на ночь хлорал-гидрата, чтобы он хорошо выспался.

Жизнь Похитонова ужасна... и не удивительно это страстное желание умереть, умереть во что бы то ни стало.

Еще зимой, когда он был относительно в здравом уме и я однажды помогал ему носить ящики с цветами в парник на хранение, он мне сообщил свое решение покончить с собою. Я старался его разубедить, выставляя на вид, что грусть и отчаяние могут пройти и смениться жизнерадостным чувством. Но он скептически помотал головой и сказал: «Нет больше сил терпеть».

№ 2. «Дорогая Вера Николаевна. Я написал вам записку к ужину, но когда смотритель мне сказал, что Похитонова увозят завтра утром, на радостях забыл послать вам. Во мне еще тлеет слабая надежда на улучшение состояния Похито-

нова. Быть может, искусство петербургских психиатров и не окажется бессильным при его лечении.

За последние дни я, впрочем, наблюдаю в нем резкое ослабление умственных способностей. Галлюцинации учащаются. Вчерашнюю ночь он не спал, был беспокоен и часто кричал. Круг его понимания настолько сузился, что он не может уже осмыслить важнейших предметов из своей обстановки; отправления организма совершенно не подчиняются сознанию. После обеда у него были галлюцинации и он сильно кричал. Во время ванны доктор и смотритель сообщили ему, что завтра его увезут в Петербург, но он, очевидно, их не понял. Смотрителю же показалось, что он не верит словам доктора, и он предложил мне поговорить об этом с Похитоновым. После ужина я отправился к Похитонову и долго беседовал с ним. Он был в благодушном настроении, но у него страшный сумбур в голове. Из моих слов об увозе, а также из уверений смотрителя и доктора, слышанных им ранее, у него сложилось смутное сознание, что вскоре должно что-то случиться, и притом хорошее, но он не может уже осмыслить такого простого факта, что его увезут отсюда, и что для него начнется некоторым образом новая жизнь. Это хорошее ему представляется то в виде миллиардов и биллиардов рублей, которые посылаются к нему со всех сторон, то в виде общего поклонения, которое воздадут ему все живущие и ранее жившие цари и короли, то в виде наступления царствия божия. При этой последней мысли он так увлекся, что не хотел ждать до завтра и просил сейчас же принести ему топор, чтобы раскроить всем нам череп: тогда все мы сразу очутимся в раю... От'езд отсюда—для него уже непосильная идея! Какая большая разница к худшему между его душевным состоянием недели 2½ тому назад и теперешним! Тогда у него был еще интерес к работам, к чтению, а теперь он называет величайшим «комизмом», что ему не дают инструментов, ему, по распоряжению которого

работает целое артиллерийское ведомство и пропасть всяких обществ. Самая речь его стала бессвязна и подчас состоит из бессмысленного набора слов, например, в таком роде: «Стена—препятствие, телеграфист—по телеграфу, а собака с'ела телеграмму—комизм», и т. д. Мы дружески распрощались, но завтра я буду присутствовать при его увозе.

В то время, как я пишу это письмо, Похитонов все покрикивает: вероятно, у него снова галлюцинации». 4 февр. 1896 г.

5-го февраля 1896 г. из верхних окон новой тюрьмы был виден неподалеку от квартиры доктора черный возок. И в одну минуту разнеслась весть, что Похитонова увозят. Его сопровождал доктор Безроднов, который всегда был другом заключенных. Переодетый жандарм сидел на козлах.

Итак, 12 лет назад Николай Данилович вступил в Шлиссельбургскую обитель молодым, привлекательным человеком, с любознательным и развитым умом, с живым и деятельным темпераментом... А теперь его увозили и даже обещали показать родным... в каком виде?!

Это не был уже человек: разум погас, логика исчезла... ни мысли, ни чувства, ни даже правильных инстинктов...

В Петербурге его поместили в Николаевский военный госпиталь, в психиатрическое отделение.

Но Похитонов пробыл там недолго: в том же 1896 году он умер. И хорошо, что последние дни его жизни прикрыты занавесом для тех, кто его любил, для его товарищей по борьбе за свободу и страданиям за нее!

Петр Владимирович Карпович.

(Род. в 1874 г., ум. в 1917 г.).

Однажды утром, в конце марта 1901 г., Антонов, сидевший в камере, из окна которой можно видеть крепостные ворота, возвестил нам, что привезли «новенького» и провели в канцелярию. Вся тюрьма пришла в волнение: после процессов 1887—88 гг., добивших последних членов партии «Народная Воля», ни один человек «с воли» к нам не приходил. К 1901 г. в крепости нас оставалось всего 13 человек; из них 9—вечников. Мы были обречены жить в этом малом числе без всякого притока свежих людей, вращаясь в кругу одних и тех же идей, чувств и настроений, без всякой продушины на вольный свет.

Об этой жизни в письме к архангельским ссыльным в 1905 г. я писала так:

«Часто воображение рисовало мне картину Верещагина, в натуре никогда, впрочем, не виденную мной: на вершине утесов Шипки, в снеговую бурю, стоит недвижно солдат на карауле, забытый своим отрядом. Он сторожит покинутую позицию и ждет прихода смены. Но смена медлит, смена не приходит и не придет никогда. А снежный буран крутится, вьется и понемногу засыпает забытого... по колена... по грудь... и с головой... И только штык виднеется из-под сугроба, свидетельствуя, что долг исполнен до конца.

Так жили мы год за годом, и тюремная жизнь, как снегом, покрывала наши надежды, ожидания и даже воспоми-

нания, которые тускнели и стирались. Мы ждали смены, ждали новых товарищей, новых молодых сил, но все было тщетно: мы старились, изживали свою жизнь, а смены все не было и не было»...

Среди этого настроения явился Карпович. Это был он, «смелый сокол», приведенный после суда, приговорившего его к 20 годам каторги за выстрел в министра народного просвещения Боголепова.

Для нас это был целый перелом: мы, люди старого поколения, должны были впервые встретиться лицом к лицу с представителем молодежи, выросшей и возмужавшей за время нашего отсутствия из жизни. Как мы встретимся? Что найдем друг в друге? Будет ли между нами взаимное понимание, гармония мировоззрений? Что принесет нам, в пустыню тюрьмы, этот пришелец из потустороннего мира: какие вести, какие настроения; кого найдем мы в нем: родного сына или чуждого нам подкидыша?

В начале 11-го часа, когда все были на прогулке, среди стерегущих нас жандармов произошло движение: они заходили к каждому из нас в загончики и огороды, об'являя, что желающие итти в камеру или в мастерскую должны сделать это сейчас же, так как позже выпускать с прогулки не будут.

Товарищи догадались, что нового узника поведут с крепостного двора в тюрьму, и те, кто надеялся, вскарабкавшись на подоконник, взглянуть на прибывшего, поспешили уйти в камеры. Я не пошла: мне было тяжело, я словно присутствовала на похоронах кого-то близкого и дорогого. И разве это не были похороны?! Хоронилась молодая жизнь, хоронилась неистраченная энергия, хоронились неисчерпанные испытаниями силы. 17 лет назад и мы входили в эту крепость и на долгом пути долгого периода несли сознание бесплодия жизни. Так понесет это сознание и он.

А он, по рассказу Антонова, шел на эту жизнь, молодой и стройный, бодрыми шагами и, улыбаясь, махал шляпой, делая привет по направлению к окнам тюрьмы.

Карповича поместили в одной из свободных камер того же здания, в котором жили мы.

Уже 17 лет существовала эта тюрьма, построенная специально для народовольцев и отданная, не в пример прочим тюрьмам, в ведомство министерства внутренних дел, точнее—в ведение департамента государственной полиции. С тех пор многие узники умерли от болезней, покончили с собой или сошли с ума и были отправлены в психиатрические лечебницы (в 1896 г.); другие кончили срок и были сосланы в Якутскую область и на остр. Сахалин. Теперь остались единицы; к ним, после 17 лет заточения, не считали необходимым применять жестокий режим первого десятилетия.

Тишина и безмолвие первых годов отошли в прошлое. Прогулки вдвоем и работа в мастерских вместо того, чтоб быть наградой за «хорошее поведение», стали достоянием всех. За перестукивание между собой уже не применялись карцер и избиение. Дисциплина внутри тюрьмы не была железной дурного обращения и системы репрессий не осталось и следа: господами положения, в сущности, были мы, а не тюремное начальство, которое думало только о том, чтобы не случилось чего-либо необычайного. Все, чего можно было добиться переговорами и борьбой в стенах тюрьмы, было получено—мы не имели лишь того, что зависело исключительно от департамента полиции и мин. внутр. дел: не было свиданий с родными, писать и получать письма от родных можно было лишь два раза в год [1]).

При таких условиях изолировать Карповича, помещенного рядом с нами, конечно, было совершенно немыслимо. Проходя мимо двери его камеры или калитки той «клетки»,

---

[1]) С 1896 г. До этого переписки не было.

в которой он гулял, всегда было можно остановиться и сказать ему несколько слов. Эти несколько слов легко могли перейти в длительную беседу, и мы тотчас же воспользовались всеми возможностями, чтоб войти с ним в самые тесные сношения. Переговариваясь стуком в стену и беседуя через дверь, мы получили первые сведения о том, что совершается на свободе. Желая знать больше, мы просили Карповича писать нам и зарывать исписанные листки в землю на месте его прогулки, а потом кто-нибудь откапывал спрятанное и передавал всем для прочтения. Мы хотели знать обо всем, во всех подробностях, как о внутренней жизни России, так и о событиях и отношениях в Западной Европе. И Карпович оказался на высоте положения, так как, состоя студентом, он вел подвижную и деятельную жизнь, а потом некоторое время жил за границей.

Его радостные вести оживили наши души. По его словам, в России все находилось в движении: рабочий класс, к 80-м годам едва намечавшийся, теперь, как класс промышленного пролетариата, приближался к типу западно-европейскому. Об'единенный, он с шумом выходил на общественную арену, требовал улучшения своего экономического положения, выступал организованно в стачках, охватывающих десятки тысяч рабочих, и на улицах городов демонстрировал свою грядущую силу. Возросшая численно молодежь высших учебных заведений, раз'единенная в 70-х гг., теперь была об'единена во всей России и, составляя одно целое, поднимала бунт против полицейских порядков нашего государственного строя, тяжело давившего на университеты. Волна студенческого движения беспрерывно перекатывалась по лицу земли русской, заканчиваясь сотнями арестов и тысячами высылок. Ремесленный класс Западного края сложился в могучий «Бунд», об'единивший 20 тысяч членов. В каждом городе существовали нелегальные типографии, издавались революционные листки, прокламации и газеты. На место

каждой арестованной тотчас появлялась новая типография, и агитация продолжалась с прежней энергией и силой. «Через 5 лет,—предсказывал Карпович,—в России будет революция». Он ошибся лишь в том, что революция наступила не через 5 лет, а через 4 года. Но мы, ушедшие в тюрьму среди безмолвия народных масс и безгласия всех общественных элементов, не знали, верить ли такому предсказанию, боялись верить! При нас все оставалось неподвижно, протеста, кроме нашего,—не было. Все спало. Ужели проснулось? Но почему же мы оставались одиноки в своем заточении? Почему к нам не присылали новых товарищей, если битва кипит, народ пробудился и рвется к победе? Ведь места в нашей тюрьме много, слишком много—его очистили наши покойники. Почему же никто не пришел заместителем? И сомненье закрадывалось: не преувеличивает ли Карпович? Не увлекается ли он иллюзией, естественной в человеке, только-что оторванном от политической борьбы и еще разгоряченном атмосферой подпольной деятельности?

Как участник студенческого движения, Карпович придавал ему громадное значение и подробно останавливался на нем, излагая нам положение дел в России. Он был огорчен, когда в разговоре я сказала, что это движение, охватывающее не отцов, а исключительно учащуюся молодежь, не есть та борьба за политическую свободу, которая нужна России, и что студенческое движение, требующее столь многочисленных жертв, не окупает их. Карпович горячо оспаривал это мнение и сказал: «Верно я плохо изложил все, что следует; я напишу подробнее, и вы увидите, что волнения в университетах протекают не в академических рамках, а носят вполне политический характер. Вместе с движением рабочих, с чисто экономической почвы переходящим в область политической борьбы с самодержавием, студенческое движение

составляет самую яркую страницу русских общественных стремлений к свободе».

Действительно, он написал очень горячую статью, отчетливо подчеркнувшую политическую сторону борьбы за науку, за просвещение против насилия, произвола и попрания всех прав, и был очень доволен, когда я похвалила изложение.

При благой вести, принесенной Карповичем, всколыхнулись наши души, всколыхнулась и наша тюремная жизнь, застывшая в определенных рамках. Как ни легки были тюремные условия, встреченные Карповичем, сравнительно с тем, что приходилось выносить нам все первое десятилетие, он не мог и не хотел мириться с ограничениями, которые были сделаны по отношению к нему. Эти ограничения состояли в отсутствии работы в мастерских и прогулок с товарищем. Так было определено департаментом полиции и должно было длиться 2 года. Оба ограничения не имели, конечно, смысла, потому что постоянные сношения с нами происходили и без прогулок вдвоем, а лишать человека, приговоренного к каторжным работам, возможности работать, было как-будто уж совсем ни с чем не сообразно,—и Карпович не намеревался подчиниться такому режиму. На этой почве с самого поступления его в крепость начались конфликты с тюремным начальством, которое не могло изменить того, что было предписано из Петербурга. Мы, старые шлиссельбуржцы, знали это положение вещей, знали, что средств бороться с петербургскими властями у нас нет; никогда ни в чем департамент полиции не уступил нам: мы могли отказываться от прогулки и по месяцам не выходить из камер; могли об'являть голодовку и выдерживать ее сколько хотим; могли истязать себя как угодно—департамент оставался непоколебим, это его не касалось. Все улучшения, которые мы приобрели, дали уступки тюремной администрации, которая хотела покоя для себя и стреми-

лась к спокойствию в пределах тюрьмы, и время. Утомленная непрерывными стычками и протестами, эта администрация мало-по-малу начинала смотреть сквозь пальцы на мелкие нарушения дисциплины и с годами стала бояться лишь доносов со стороны подчиненных и таких происшествий, которых нельзя было бы скрыть от департамента. Но Карпович был новичком и думал, что давлением на смотрителя и коменданта крепости можно добиться всего. Два раза он предпринимал голодовку, которая крайне волновала нас, потому что, естественно, мы не могли оставаться безучастными к его протестам.

В первый раз дело кончилось тем, что военный врач, приехавший в то время из Петербурга для замены прежнего, посредством обманных обещаний, что требования Карповича будут удовлетворены, склонил его начать принимать пищу. В другой раз, ни с кем не посоветовавшись, он об'явил голодовку после того, как нам было об'явлено, что останавливаться у дверей его нам более не позволят. Мы тоже не хотели подчиняться этому и перестали выходить из камер. После 5—6 дней голодовки Карповича мы забили тревогу. Общий отказ от прогулки стал казаться нам недостаточной поддержкой товарища. Когда в тюрьме кто-нибудь из заключенных отказывается от пищи, совершенно невозможно не солидаризироваться с ним: психологически невозможно есть, когда знаешь, что рядом находится человек без пищи. В конце-концов, даже не сочувствуя этой форме протеста, а иногда не находя достаточным и самый мотив протеста, приходится присоединиться: выходит моральное насилие инициатора над остальными товарищами. Карпович не взвесил этого, и мы очутились пред необходимостью и самим начать голодать. Я уже решилась на это, когда один из товарищей, указывая, что за мною последуют и другие, уговорил меня пригласить коменданта крепости Обухова и настаивать на том, чтоб все осталось попрежнему.

Комендант пришел крайне взволнованный: он решительно отказался разрешить разговоры с Карповичем. Но я скоро увидела, что отказ относился лишь к официальному разрешению и что *физическая сила* против нарушителей распоряжения не будет применена. Большего—и не требовалось, и по моему предложению на следующее утро все [1]), в том числе и Карпович, вышли на прогулку, и я, стоя у его дворика, целый час проговорила с ним. Этим вся история и кончилась. И в других случаях Карпович не руководился опытом других и без нужды вызывал столкновения. Однажды, когда приехал в тюрьму дантист, присланный департаментом полиции по просьбе некоторых из нас, во избежание доноса со стороны соглядатая, которым мог быть присланный, смотритель был заинтересован в том, чтоб в тюрьме при нем соблюдалась тишина. Но Карповичу как-раз вздумалось петь, и он развернул все свои обширные голосовые средства, наполняя все здание звуковыми волнами. Напрасно смотритель раза 2—3 подходил к нему и просил перестать—Карпович не слушался и был посажен в карцер,—не тот карцер, настоящий застенок, в какой попадали мы в первые годы, но просто на 2—3 дня уведен в здание старой тюрьмы, в которой помещались мастерские.

Так после приезда Карповича шла наша жизнь, перемежаясь стычками и столкновениями по разным поводам. Это привело к тому, что потом всех привозимых в крепость совершенно изолировали от нас. Для этого очистили старую тюрьму от мастерских, которые перенесли в наше здание, и в опустевшее отремонтированное старое здание препровождали последовательно: Созонова, Гершуни, Мельникова, Сикорского и Качуру. Там, вдали от нас, можно было совер-

---

[1]) Кроме Г. А. Лопатина, который по какому-то недоразумению считать, что мы добиваемся для Карповича прогулки с товарищем.

шенно бесшумно установить для вновь прибывших людей более строгий режим, что начальство и не преминуло сделать.

31 марта 1917 г., по пути в Россию между Англией и Норвегией, в открытом море был взорван германской подводной лодкой грузовой пароход «Зара», на котором возвращался на родину П. В. Карпович.

Когда человек погибает при такой трагической обстановке, в памяти проходит все, что о нем знаешь, и хочется выявить личность погибшего перед теми, для кого может быть дорого его имя.

П. В. Карпович родился 3 октября 1874 г. По сообщению сводной сестры его, Любови Владимировны Москвичевой, местом рождения его был хутор Воронова Гутта, Черниговской губернии, Новозыбковского уезда, а сам он—внебрачным сыном владельца этого хутора, бывшего помещика Черниговской и Екатеринославской губерний—Савельева.

«Александр Яковлевич Савельев,—пишет Любовь Владимировна,— родился от побочной дочери Екатерины II и князя Безбородко. Таким образом, Петр Карпович—правнук Екатерины.

Почему Савельев не узаконил сына, я не знаю, но материально он обеспечил мать, получившую от Савельева хутор «Виллы».—Свои передовые взгляды брат получил от своего старика-отца, который, не стесняясь присутствием ребенка, смело негодовал на российские порядки, на министров и царя. Так, когда Засулич выстрелила в Трепова, я помню, как отец Пети восторгался ею. Кроме отца, на развитие брата имел влияние учитель Смирнов, отличавшийся передовыми взглядами; у него, будучи гимназистом, мой брат одно время жил на квартире».

Вследствие семейных неприятностей мать Карповича переехала в Гомель, когда ему было 12 лет. В Гомеле он имел возможность видеть всю нищету, все следствия бесправия

еврейского народа, что сделало его навсегда горячим защитником этой нации. Учился он в гимназии сначала в Гомеле, потом в г. Слуцке, а по окончании курса поступил в 1895 г. в Московский университет на медицинский факультет. В 1896 году, в день полугодовщины Ходынской катастрофы, он участвовал в манифестации по ее поводу. За это вместе с другими подвергся исключению из университета и был выслан на родину в Черниговскую губернию, где жил вместе с матерью в ее небольшом имении (хутор «Виллы»). Эта жизнь в деревне была трудовой жизнью. Наравне с батраками Карпович участвовал во всех сельскохозяйственных работах, не исключая самых тяжелых, а домашняя обстановка его мало отличалась от обстановки среднего крестьянина-частновладельца. Я думаю, эта трудовая жизнь, соединенная с реальными хозяйственными интересами и практическими задачами, требующими сметки, не прошла для него бесследно. Когда я встретилась с ним в Шлиссельбурге, мне бросилось в глаза, что он отличается не тонким, развитым умом, а здравым смыслом, не образованностью или начитанностью, а тем знанием, которое черпается из практики жизни и общения с людьми. Было ясно, что это — не человек умственного труда, способный в заключении жить книгой; и в самом деле, как только двери мастерской для него открылись, он с увлечением отдался физическому труду сначала в столярной, потом в кузнице. Об этой кузнице много лет мечтал наш товарищ рабочий Антонов, но никакими хлопотами нельзя было добиться разрешения устроить ее. Наконец, разрешили, и, смешно сказать, для этого потребовалось высочайшее соизволение! Кузницу строили сами узники из материала, доставленного тюремной администрацией. Горн клал Тригони, первым молотобойцем был Поливанов, а мастером и, так сказать, хозяином дела, конечно, Антонов, который руководил всем и обучал кузнечному и слесарному ремеслу всех желающих. И чего-чего только ни

В. Карпович.

Н. Морозов.

делал Антонов в этой кузнице: прекрасные ножи и бритвы, сахарные щипчики и всевозможные столярные инструменты. Нередко тюремная администрация обращалась к нему с заказами, самыми разнообразными, начиная с молотков и кончая исправлением механизма моторной лодки. После двух лет одиночества, которое было предписано департаментом, когда Карпович вошел в нашу трудовую тюремную семью на одних правах с нами, старожилами крепости, он присоединился к Антонову и стал его неразлучным товарищем по работе в кузнице. В коротком нагольном полушубке, я часто видала его в это время через деревянную решетку, составлявшую верхнюю часть заборов в огороде: на лице были следы копоти, на руках — темный налет металлической пыли, и весь он сиял здоровой радостью, которую дает любимый физический труд. Он-таки сделался искусным слесарем, доказательством чего могли служить изящные, отлично отполированные сахарные щипчики, которые я увезла, выходя из крепости, и потом переслала его старой матери [1]).

В Черниговской губернии Карпович пробыл около двух лет и в 1898 г. поступил в Юрьевский университет, но и оттуда через год был исключен за участие в студенческих беспорядках и в тайной организации, которая называлась «Союзным советом об'единенных землячеств и организаций». На этот раз после исключения Карпович уехал за границу, чтоб поступить в Берлинский университет. Пребывание за границей и, в частности, посещение Швейцарии дало ему

---

[1]) Со своей матерью Карпович был в хороших отношениях, которые не изменялись ни до Шлиссельбурга, ни после него. Но радости, конечно, он принести ей не мог.

В одном письме, уж из Сибири, намекая на будущие планы, он писал: «Бедная старуха, не всю чашу испила она, а ведь я ей поднесу эту чашу до дна. Жаль мне ее бесконечно, но другого исхода нет и быть не может».

возможность познакомиться ближе как с международным социалистическим движением, так и с идейными течениями среди русских эмигрантов, и он пришел к нам в Шлиссельбург с богатым материалом для осведомления обо всем, что происходило тогда в Западной Европе.

Дважды был выброшен Карпович из университетов России, выброшен за участие в борьбе студенчества против полицейских порядков и нравов, водворяемых министрами народного просвещения в «храмах науки». С русским студенчеством он был связан общей борьбой, горячей симпатией, переменами своей собственной судьбы; студенческому движению он придавал громадное политическое значение. И надо сказать, что в конце 90-х годов это движение занимало по своему размаху обширное место в общественной жизни России. В 1899 году оно охватывало 30 высших учебных заведений с более чем 25-ю тысячами студентов. Это была целая армия молодежи, неудовлетворенное стремление которой к свободе выливалось в бурном протесте против того, что наиболее давило ее. Этот протест, в условиях нашего государственного строя являвшийся революционным, долгое время оставался на чисто академической почве, но все более и более приобретал характер борьбы против произвола и деспотизма вообще. Никакие репрессии не могли погасить духа возмущения среди учащейся молодежи. Еще в начале 80-х годов Победоносцев предлагал для водворения порядка отдавать студентов в солдаты. «Я согласен на это в виде опыта,—писал император Александр III в 1883 г. на докладе.—Но полагаю, что эта мера будет недостаточна». Не встретила тогда единодушного сочувствия эта мера и среди министров. Однако, все усиливавшиеся волнения, повторяющиеся студенческие забастовки привели, наконец, министров к соглашению, и в 1899 г. правила об отдаче студентов за беспорядки в солдаты были утверждены. На основании их, после беспорядков 1900 г., по *приговору профессо-*

ров, 183 студента Киевского университета и 27 Петербургского были сданы в солдаты.

Эта мера произвела громадное впечатление на русское общество, на молодежь и на Карповича, который был кровно связан чувствами и настроением с теми, кто подвергся тяжкой каре, имевшей последствием несколько самоубийств студентов, не перенесших казарменной обстановки с ее дисциплиной и муштровкой.

Карпович покинул Берлин и 12 февраля 1901 г. приехал в Петербург с решением вооруженной рукой дать отпор насилию. 14 февраля он явился в приемную министра народного просвещения Боголепова и выстрелом из револьвера нанес ему рану в шею. Боголепов умер. Этот вооруженный протест против главного виновника расправы со студентами был задуман и выполнен Карповичем единолично. Он не состоял ни в какой революционной организации, ни с кем не советовался и ни у кого не искал одобрения и поддержки или помощи. Все было решено собственной волею, сделано по собственному почину, без единого соучастника и совершенно обдуманно, быстро и отважно. В этом акте выявилась вполне как действенная, так и моральная сторона натуры Карповича. Своим поступком он защитил молодежь: после его выстрела сдача в солдаты уже не практиковалась; вместе с тем он одушевил эту молодежь, назвавшую его «смелым соколом», и из среды этой молодежи вышел Балмашев, через год совершивший—уже от имени социалистов-революционеров—подобное же самоотверженное дело.

Характерно, что в приемной министра, как о том рассказывал сам Карпович, на очереди перед ним стоял голова какого-то города и ходатайствовал об открытии гимназии на городские средства. Министр отказал. Этот отказ, символизировавший всю систему наших ревнителей народного просвещения, делавших все возможное, чтоб задержать культурный рост русского общества, был последним фактом,

укрепившим руку Карповича. Городской голова отошел, и Карпович выстрелил.

На допросе Карпович изложил мотивы, которые им руководили. Он заявил, что действовал с заранее обдуманным намерением и не раскаивается в своем поступке, считая, что выполнил лишь свой нравственный долг, подняв оружие против представителя реакции и главного виновника жестокой расправы против студентов. То же самое сказал он и на суде, описав развращающее влияние порядков, водворяемых в стенах университетов министрами просвещения и в частности Боголеповым, при котором оскорбительное отношение к студенчеству достигло высших пределов попрания человеческих прав и достоинства.

Карповича судили 17 марта того же 1901 года, и приговором Петербургской судебной палаты он был присужден к каторжным работам на 20 лет, а затем привезен в Шлиссельбург. Здесь он пробыл до марта 1906 г., когда вместе с Гершуни, Созоновым, Мельниковым и Сикорским его увезли в Сибирь.

В письме ко мне, говоря о своем путешествии впятером, в отдельном вагоне, он восхищается:

«Недалеко от Байкала увидели снежный хребет Саяна; какой чудный, волшебный вид! Горы возвышаются причудливыми, тонкими вырезными узорами какой-то особенной окраски, и бело-серебряной, синеватой, розовой и чуть-чуть золота; в общем, тон мягкий, нежащий. Затем переехали Байкал,—увы! были внизу в ледоколе, посему ровно ничего не видали, но по выходе из ледокола ехали около 30 верст по самому берегу. Было тихо-тихо, Байкал спокойно лежал в своих берегах, только изредка легкая рябь пробегала по зеркальной поверхности, и волна обнимала прибрежные камни. Становилось так легко на душе, хотелось взлететь над этой гладью. А там суровый хребет смотрел на эту гладь, и казалось—вот-вот совершится что-то, что взволнует эту

гладь. Дальше пошло Забайкалье. Поезд бежит змейкой из долинки в долинку среди гор, то улыбающихся, то суровых и грозных. Словом, виды чудные».

Так путники доехали до Сретенска, где узнали, что назначены в Акатуй, до которого отдельной партией шли 7 дней, пройдя 208 верст. В том же письме он пишет:

«Душевное мое состояние очень хорошее, да и за все время нашей разлуки я его не терял, а теперь намечаются кое-какие надежды».

Эти надежды он вскоре пытался осуществить, и... неудачно. Об этом он пишет:

«5 сентября около 6 часов я лежал на земле шагах в 200 от тюремной ограды, был окружен солдатами и при мне найдено два револьвера и 2 паспорта».

Это дело кончилось для него благополучно—повидимому, его замяли. Все ограничилось тем, что 30-го было получено распоряжение: никого из бывших шлиссельбуржцев в вольную команду не выпускать, Карповича [1]) содержать в тюрьме и жен заключенных выселить из Акатуя.

«Нынче я поуспокоился,—пишет он,—а 1 октября чувствовал себя прескверно—чуть ли не все мечтания разбиты впрах. Все было так близко и легко осуществимо, а теперь...».

Об акатуйских товарищах по заключению Карпович пишет, что в массе (казаки забайкальские, солдаты и рабочие) все народ неразвитой, но за исключением человек 8—люди хорошие, а среди партийных (17 с.-р., 3 с.-д. и 6 анархистов) чувствует себя, как со своими; но особенно он восхваляет женщин:

«Какой славный народ—наши 6 девиц, просто прелесть. Одна на другую не похожа, каждая в своем роде, в каждой есть свои особенности. Все хорошо, дорогая Вера, а все-

[1]) Который был уже в вольной команде.

таки я чувствую себя немножко одиноким, не знаю почему это происходит.

Мои товарищи—народ очень хороший, но чего-то мне нехватает, нет той близости, которая существовала в Шлюшине с некоторыми товарищами. Знаете, говоришь и все такое, а всего, что есть на душе, никому не скажешь. Понемногу привыкаю к этому. Должно быть, сам виноват,—не сумел подойти ни к кому, то ли годы, но ощущаешь потребность в этом, такой уж я человек. Письма не заменят,—не доверяешь почте—раз, а другое—не всегда способен на это,—не укладывается на бумаге все то, что хотелось бы сказать».

Опускаю его высказывания о теплых чувствах по отношению к нам, старым шлиссельбуржцам, которые в разлуке, по его словам, стали ему еще милее и дороже.

Благодаря манифесту, уже в 1907 г. Карповича отправили на поселение. По дороге, в одном городе, где была железнодорожная станция, он отпросился у сопровождавших его сотских за покупками, пошел на вокзал, купил билет и уехал, совершив, таким образом, свой побег самым простым способом, без всякой помощи со стороны. Явившись в Петербург, после некоторых колебаний он примкнул к партии социалистов-революционеров и вступил в боевую организацию ее. В это время, видая его в Финляндии, я заметила в нем сильную перемену. В 1907 году это уже не был Карпович, приехавший к нам в Шлиссельбург в 1901-м. Когда я увидела его там в первый раз, ему было 27 лет, но он казался моложе и имел очень скромный вид и тихую, вдумчивую речь. Прекрасные, большие серые глаза, обрамленные очень длинными ресницами, казались черными, так сильно ресницы затеняли их. Эти глаза часто были застенчиво опущены, придавая лицу что-то девичье. Общее выражение лица,

бледного, матового, было доброе, и мягкие черты совершенно скрывали суровую решительность, необходимую для того, чтобы поднять руку на ближнего. Его часто опущенные ресницы, кажется, зависели от того нежно-почтительного отношения, которое он нес в душе по отношению к узникам русской Бастилии, когда впервые входил в нее. Теперь, спустя шесть лет после того, это уж не был застенчивый, скромный Карпович, глаза которого часто опускались вниз. Быть может, отсутствие умственной тренировки в течение шестилетней тюремной жизни породило какую-то странную развязность, с какой он стал третировать теперь всякий идейный спор или разговор. Конечно, он был человек действия, и не мне ставить в укор отвращение к словопрениям. Но есть modus in rebus, и в отношении Карповича ко всякого рода теоретическим вопросам был тон, который никому не мог нравиться. Чем дальше, тем становилось хуже: этот простой, деликатный товарищ, демократ по привычкам и вкусам, мало-по-малу терял прежние симпатичные черты. Близость с Азефом, который стал его другом, сказывалась в замашках жить на широкую ногу на том основании, что террористу, чтоб не навлекать на себя подозрений, необходимо носить элегантный костюм, иметь соответственную домашнюю обстановку и тратить много денег. Нелегальное положение, неопределенные, неустойчивые условия жизни и постоянно повышенное состояние нервов, не допускавшее умственного труда, приводило к полному забвению книги, что выродилось, наконец, в пренебрежение ко всему, что требует умственного напряжения.

Доверие Карповича к Азефу, как к человеку и руководителю боевой организации, было безгранично, хотя за время пребывания Карповича в этой организации никаких фактов, которые могли бы оправдывать веру в организаторские таланты Азефа, не было. Напротив того, были страшные потери людей, платившихся своей жизнью, был

распад, постоянные неудачи и бездействие. В иных случаях ослепление Карповича было изумительно.

Дважды на улицах Петербурга, должно быть, по неосведомленности низших агентов охраны, Карпович был арестован, и дважды выпущен при обстоятельствах, которые должны бы каждому показаться подозрительными. В первый раз его привезли после ареста в охранное отделение, но Комиссаров, увидев его, сказал: «Это—ракло; его можно выпустить». В другой раз он был отвезен в полицейскую часть и помещен в общую камеру, где назвал свою фамилию. Наутро сыщик повез его на квартиру за вещами, но по дороге у одного магазина остановил извозчика и, сказав: «подождите меня—я куплю папирос», вошел в лавку, предоставив Карповичу слезть с извозчика и скрыться.

— Но ведь это было подстроено: вас *хотели* выпустить,—говорили Карповичу слышавшие его рассказ. Но он оставался невозмутим. Высоко ценя способность к конспирации и революционную инициативу Азефа, Карпович не верил в его провокацию даже тогда, когда она была разоблачена и доказана.

После этого разоблачения, уезжая из России за границу, он все еще верил и, готовясь встретиться с членами центрального комитета партии социалистов-революционеров, говорил:

— Я застрелю каждого, кто посмеет назвать Азефа предателем!

Но факты были неоспоримы, и Карповичу не пришлось стрелять. Он не убил никого, но в нем самом было многое убито: в его душе произошел тяжелый, трагический переворот. Социалист и революционер отрясал прах от ног своих, отрекался от социализма и от революционных идей:

— Я больше не социалист и не революционер,—провозглашал он.—Хочу быть буржуем. Буду жить, как буржуа.

И он поставил себя так, что, живя одновременно с ним в Лондоне, я увидела, что между нами нет ничего общего и видеться друг с другом не к чему. Однако, и тогда, на ряду с совершенно невозможной бранью, которой он осыпал руководителей той партии, к которой принадлежал, он, по рассказу одной общей знакомой, плакал, когда слышал в «Обществе Фабианцев» мой реферат о Шлиссельбурге. Там, между прочим, я описывала значение для нас его появления в Шлиссельбургской крепости,—появления, равносильного дню благовещения в доме смерти.

На время мы разошлись, молча, без ссоры и споров, и с той поры только раз встретились мимолетно в Париже.

Карпович оставался в Лондоне и хотел поступить в политехникум, но скоро убедился, что умственное напряжение ему не по силам, и занялся массажем, которым позднее и зарабатывал средства к существованию. Так продолжалось до нашей революции, когда его потянуло на родину, и я не могу не чувствовать нравственного удовлетворения, что, судя по рассказам людей, бывших с ним, он возвращался прежним Карповичем, изжившим ту неприятную как по существу, так и по форме метаморфозу, в которой я его видела в Лондоне, возвращался сбросившим ту мещанскую, сытую, лишенную всякого духовного элемента оболочку, которую накинул на себя, конечно, в порыве отчаянья, разочарованья и нестерпимой душевной боли.

Да! Это был возрожденный Карпович, когда перед тем, как сесть пассажиром на «Зару», которая везла его на гибель, он писал одному товарищу в записке,—последней в своей жизни: «Оставляя загрницу, надо *оставить позади все мелкие споры, все, что раз'единяет, и явиться на родину с новой психологией для создания новой России*».

6 апреля ст.ст. газеты известили, что «Зара», на которой ехал Карпович, была взорвана германской подводной лодкой, а неделю спустя ко мне пришел бывший офицер

И. И. Яковлев, спасшийся с «Зары», спутник Карповича и мой знакомый с 1907 г. От него я в первый раз услышала подробности случившегося несчастья. Сам Яковлев, человек и без того очень слабого здоровья, теперь походил на выходца с того света. На высокой, тощей фигуре висело пальто с чужого плеча, ссуженное в Христиании, так как с погибшего парохода Яковлев сел в лодку в одном сюртуке и без шляпы; он еле держался на распухших ногах, которые ныли, пальцы рук были красны и разгибались с трудом, а лицо было лицом мертвой головы. После крушения он пробыл вместе с другими уцелевшими от крушения целых 50 часов в лодке при шторме со снежной бурей, дождем и крупой. На пути в 95 миль пять человек замерзли, остальные, близкие к тому же, были подобраны 15 апреля норвежскими рыбаками.

Рассказ Яковлева, отрывочный и несвязный, был потрясающ. Карпович пред от'ездом был неудержимо весел и беззаботен; та же веселость и беззаботность не покидали его и на пароходе, который вышел в море утром 31 марта. Яковлев, напротив, с самого начала чувствовал тревогу и держался настороже, предостерегая и товарищей. В половине 3-го часа дня пассажиры были крайне изумлены: обменявшись кратким возгласом с капитаном «Зары», миноносец, сопровождавший пароход, покинул его, *не доезжая нейтральной зоны,* и повернул назад. Все стали серьезны; предчувствие беды защемило сердце Яковлева, и он убеждал Карповича и другого товарища, латыша с.-д. Янсена, не покидать палубы. Между 4 и 5 часами вдали появилась парусная лодка; она держала курс, который не был обычным.

Яковлев знал, что парусная лодка часто скрывает подводную лодку, которая следует за ней, и он снова предостерегал Карповича, убеждая быть настороже. Карпович смеялся: «Вот пустяки! Чего тут беспокоиться!»—и спустился в каюту. Яковлев остался в кают-компании и, сняв

пальто и шляпу, взялся за книгу. Он поднял глаза на часы, и цифра 5 часов 50 минут резко врезалась в память: глаза были устремлены на циферблат, когда раздался взрыв, затем мгновенная тишина и шум падающей воды.

— Я выскочил на палубу,—говорил Яковлев,—все бросались к лодкам; было видно—все знали, что надо делать. В заранее намеченную мной лодку прежде всех прыгнули 8 негров. Я увидел Карповича—он шел к лодке на другом борту. Я хотел позвать его, чтоб сесть вместе в одну лодку. Но боялся: в такие минуты не надо мешать инстинктивным движениям человека—Карпович, верно, тоже наметил себе, что делать в случае беды. Я сел в лодку почти последним, она была переполнена людьми. Вдруг огромный крюк зацепил борт нашей лодки; еще минута—мы погибли бы: пароход, садившийся на корму, как раненый, как лошадь, стоял в это время совершенно вертикально. Крюк отцепили, а с парохода в море падали громадные бочки с маслом, и я ждал, какая попадет в лодку и раздавит нас. Взорвало котлы, и в одну минуту судно пошло ко дну. Водоворот должен был нас поглотить, но какое-то течение отбросило лодку метров на 10 в сторону.

На поверхности волн мы увидели обломки дерева, разный мусор и перевернутую лодку: человек 12 были на воде. Толстый фин и Янсен с страшно выкатившимися глазами сидели на каком-то ящике. Я увидел Карповича в спасательном поясе. Я закричал ему. В ответ он поднял руку. Мы употребили все усилия и, под'ехав, перевернули опрокинутую лодку: она была треснута—это значило гибель. Надо было грести; надо было уезжать. Среди мертвого безмолвия наша лодка стала удаляться—мы отвернули головы. Сзади поднялся нечеловеческий вой»...

Так погиб Карпович. 16 лет тому назад он радостно отдавал свою жизнь в защиту попранных прав человека и радостно шел к нам в Шлиссельбург с благою вестью о бли-

зости революции. Теперь на звук благовеста с освободившейся родины он спешил вновь отдать эту жизнь на служение ей; спешил радостный, возрожденный и нашел лютую смерть в морских волнах.

«Теперь я живу только мыслью попасть в Россию,—писал он в последнем письме к сестре от 4 апреля нового стиля,—нервничаю, прямо голову потерял. В Россию, в Россию»...

Николай Александрович Морозов.

(Род. в 1854 г.).

Богатый молодой помещик, блестящий офицер в отставке, П. А. Щепочкин, посещая в начале 50-х годов свои псковские и новгородские поместья, встретил в одном из них очень красивую и необыкновенно развитую девушку, дочь своего крепостного крестьянина. Влюбившись, он дал ей вольную и, как жену, увез в село Никольское, свое имение Мологского уезда, Ярославской губернии. Такова романтическая, но во время крепостного права не очень редкая история отца и матери Николая Александровича Морозова. Брак, хотя прочный и вполне счастливый, не был, однако, оформлен церковным обрядом, почему Н. А., родившийся 25 июня 1854 г., и не носит фамилию своего отца. Последний, по воспоминаниям сына, обладал умом, сильной волей и уменьем обращаться с людьми; для своего времени это был человек образованный: в его библиотеке были все лучшие русские журналы. Взгляды отца Н. А. отличались полной определенностью: он был англоман-конституционалист. Личному освобождению крестьян он вполне сочувствовал, но наделение землей, даже с выкупом, считал грабежом и несправедливостью. Этот пункт, на ряду с несбывшимися надеждами на дарование конституции, ставил его в число недовольных реформами Александра II, и неоднократные,

весьма непочтительные отзывы отца об этом государе не остались без влияния на молодой ум сына.

Мать Н. А., Анна Васильевна Морозова, не была заурядной крестьянкой: от своего отца, большого грамотея и бывалого человека, она усвоила не только простую грамотность и первоначальные сведения по арифметике, географии и т. д., но и некоторое литературное образование и вкус: Пушкин, Лермонтов, Крылов и Гоголь были ее любимыми авторами в девичестве.

Нравственный облик Анны Вас. характеризовался добротой, мягкостью и деликатностью. Ее физическая красота бросается в глаза даже на карточках 70-летнего возраста; «свет погас» в ее глазах задолго до смерти, но очертание и выражение лица—прекрасны и привлекательны. Это прелестное лицо и мягкий характер она передала и сыну, тогда как серьезную складку ума и превосходные способности Н. А., повидимому, наследовал от отца.

Быть может, как это часто случается, ненормальные, с условной точки зрения, отношения родителей, бросавшиеся в глаза тем резче, что отец Н. А., как крупный помещик и предводитель дворянства, был у всех на виду, послужили причиной раннего пробуждения сознательности в мальчике. Вместе с тем и, быть может, по той же причине он рано замкнулся в себе, стараясь собственными силами найти ключ к тем социальным вопросам, которые возникали в его уме относительно неравенства богатых и бедных, знатных и простолюдинов.

Н. А. рос в деревне, среди простора полей, в обстановке богатого «дворянского гнезда» с вековым парком. Немудрено, что он рано полюбил природу и часто вспоминал в тюрьме тенистые уголки, прелестный пруд и лужайки деревенского приволья. В детстве старая нянька передала ему поэтическое мировоззрение русского народа, видящего во

всей природе нечто живое и одухотворенное. Этому влиянию он сам приписывает то, что для него, как естественника, во вселенной нет ничего мертвого, но все движется, все живет и имеет душу. Н. А.—убежденный пантеист, и не в силу теории, а по непосредственному чувству, освещенному светочем науки. Это слияние простосердечной поэзии народа с последними выводами, сделанными в кабинете ученого, составляет характерную, полную прелести своеобразность умственного склада Н. А. Быть может, этим об'ясняется та оригинальная черта, что для пытливого взора его равно раскрыты как страницы ученых трактатов от Ньютона до Оствальда, так и полные лицедействия строки «Апокалипсиса», лихорадочно-пестрые образы которого пугают ум заурядного читателя, но полны картинной поэзии и научно-астрономического смысла для проникновенного взгляда Н. А.

Отданный во 2-ю Московскую гимназию, Н. А. получил в ней полное отвращение к «грекам и римлянам», но ревностно отдался естественным наукам. Еще дома старая астрономия, найденная в библиотеке отца, в высшей степени заинтересовала его, и он прочел ее не один раз, а гувернер Морель положил начало его знакомству с ботаникой и энтомологией. Потом в гимназии в классе Н. А. образовался особый кружок для теоретических и практических занятий по естествознанию, и эти занятия развили и укрепили в Н. А. инстинкты натуралиста, позднее проявившиеся в тюремном заключении.

В гимназии воображение рисовало ему карьеру ученого, и профессорская кафедра была его мечтой. Прекрасные способности, любовь к природе и громадный интерес к ее явлениям, на ряду с задатками самостоятельного мышления, казалось, обеспечивали осуществление этой мечты. Однако, вместо ученого, из Морозова вышел страстный политик, почти полжизни проведший в стенах тюрьмы... И произошло это потому, что, кроме стремлений и наклонностей ученого,

способного пытливо искать новые пути в науке, он имел и горячую голову энтузиаста и романтика.

Кроме астрономии, он прочел в детстве множество повестей и романов, которые производили сильное впечатление на его воображение. На ряду с вопросами: откуда луна и солнце? что такое звезды? из чего состоит золото и из чего мука?—молодая душа рвалась за пределы обыденной жизни и жаждала подвигов самоотвержения, стойкости и отваги.

Понятно, что когда 19-летним юношей он встретил в лице членов московского кружка чайковцев людей нового типа, превосходивших по нравственному уровню все, что он видел до тех пор в жизни, он увлекся ими всецело. В них, казалось, он нашел воплощение тех героических натур, очертания которых носились, как мечта, в его уме. В центре московского кружка стояла женщина—яркая и поэтическая фигура Олимпиады Григорьевны Алексеевой. Красивая, полная энтузиазма к социалистическим идеям, она сразу приковала внимание Н. А. и навсегда оставила о себе нежное воспоминание. Кружок приглашал стряхнуть с себя аристократизм и всяческую буржуазность, отказаться от всех земных благ и эгоистических стремлений к покою, благосостоянию и почету. Он звал к обиженным и униженным, чтобы горячим призывом поднять их на борьбу за лучший, более справедливый строй, который даст счастье всему человечеству.

Как было не пойти с людьми, преследовавшими такие цели и отважно решившимися пожертвовать для них собой? Итти рядом с ними... вместе с ними начать борьбу и совершать подвиги... и, если нужно, вместе погибнуть—вот чего требовала пылкая душа, и после короткого колебания между мелькавшей впереди ученой карьерой и политическим мученичеством Н. А. выбрал последнее...

За решением быстро последовало выполнение. Весной

1874 г., с новыми друзьями (Саблиным, Клеменцем и др.) Н. А. отправился «в народ» и жил сначала в Даниловском уезде Яросл. губ., а потом путешествовал пешком по Воронежской и Курской губерниям. Впечатления, вынесенные за эти немногие месяцы общения с крестьянством, не соответствовали горячим надеждам Н. А. Стремления пропагандистов 70-х годов на много десятилетий опередили настроение и подготовку народных масс. Н. А. видел лишь возможность выработки отдельных личностей путем пропаганды. Даже самое главное орудие действия на умы—простая грамотность—почти отсутствовало в деревне; несколько книжек подпольного издания, почти детские по содержанию и форме, составляли весь литературный арсенал, предназначенный для читателя-простолюдина. Никаких шансов на что-либо похожее на восстание или партизанскую войну, о которых мечтал Н. А., не было. Глубокое раздумье охватывало человека, жаждующего революционной битвы. Но хорошо разобраться в этих впечатлениях, еще и еще проверить их Н. А. не пришлось. Той же осенью (1874 г.) в 36 губерниях Евр. России произошли массовые аресты, последствием которых была почти полная гибель всех революционных кружков и организаций. Пострадал и кружок чайковцев. В период острого преследования, желая сохранить даровитого юношу для будущего, друзья Морозова отослали его вместе с Саблиным за границу. Оба оставались там, однако, недолго и уже весной 1875 г. отправились обратно в Россию, но при переезде границы были арестованы и протомились в тюремном заключении до так называемого «Большего процесса», тянувшегося с 18 октября 1877 г. по 23 января 1878 г. По этому делу («дело 193-х») Н. А. было вменено в наказание то продолжительное заключение, которому он подвергся до суда, и он был выпущен на свободу.

Опасение быть сосланным административно,—как это случилось с теми из освобожденных, кто не успел во-время

скрыться,—заставило Н. А. после процесса сделаться нелегальным. В это время среди революционных организаций первое место в Петербурге, да и во всей России, принадлежало тайному обществу «Земля и Воля», основанному осенью 1876 года. Было бы долго останавливаться на его происхождении и программе, известной под именем «народнической». Достаточно сказать, что в эту программу, на ряду с пропагандой и, в особенности, агитацией в крестьянстве на почве уже сознанных народом потребностей, впервые был введен террор, чем было положено основание той борьбе за политическую свободу, которую потом вел Исполнительный Комитет «Народной Воли».

Морозов принял программу «народников», но, благодаря старым связям, вступил не в главное общество, а в группу, державшуюся отдельно, хотя она и разделяла ту же программу. В этой группе были: А. К. Соловьев, Ю. Н. Богданович, А. И. Писарев, Евгения Ник. Фигнер, я и некоторые другие. Сначала Н. А. отправился в Тамбов, потом в Саратов, думая устроиться в более или менее демократической форме в деревне. Но это оказалось не так легко и требовало времени. Между тем террористическая часть программы, с ее опасностями и риском, сильно привлекала пылкого и увлекающегося юношу. Он возвратился в столицу и вместе с петербургскими землевольцами (Ольгой Натансон, Трощанским, Оболешевым и др.) с головой окунулся в боевые предприятия. На очереди стояли планы вооруженных освобождений нескольких выдающихся лиц, осужденных по «процессу 193-х». Хотели освободить Мышкина, Брешковскую, Ковалика, Войнаральского. Деятельное участие в этом принял и Н. А. Но Брешковскую провезли через Нижний прежде, чем заговорщики успели опомниться, а вооруженное нападение на конвой, везший Ковалика и Войнаральского в Змиевскую центральную тюрьму, потерпело неудачу.

Возвратившись после этого дела в Петербург, Н. А.

вплотную примкнул к обществу «Земля и Воля», и с этой поры начался самый кипучий и блестящий период его революционной деятельности. Организация, полная сил и молодой энергии, с жаром ринулась на новое поприще, на подвиги, которые должны были встряхнуть русское общество, взволновать наше сонное царство. Каждый месяц приносил какую-нибудь громовую весть, и в исторической перспективе нельзя не назвать этой эпохи бурной. В той организованной силе, которая совершала эти дела, занимал свое место и Морозов, живший в то время всеми фибрами души. Тогда же началась и его работа в революционной литературе, так как он участвовал в органе «Земля и Воля» и состоял редактором «Листка «Земли и Воли», отзывавшегося на все события момента.

Между тем среди бурного волнения, охватывавшего сердца при каждом активном нападении на существующий строй, среди горечи неудач и упоения победой созревала идея «Народной Воли», которая должна была вскоре народиться.

Уже в зиму 1878—79 гг., некоторые члены «Земли и Воли», пламенные революционеры—Валериан Осинский, Александр Михайлов, Александр Квятковский, Мария Николаевна Ошанина, Н. А. Морозов и некоторые другие—образовали внутри общества «Земля и Воля» особую тайную организацию, о которой не знали остальные члены общества, и, приняв название «Исполнительного Комитета», были истинной душой политических актов, волновавших тогда Россию. Дело в том, что к этому времени внутри общества «Земля и Воля», благодаря двойственности и неопределенности программы, образовалось два течения: с одной стороны, ясно намечалось увлечение политикой, сознание, что без политической свободы невозможен ни один шаг вперед, никакая деятельность в народе; с другой стороны, более, так сказать, консервативная часть членов требовала продолжения работы в деревне и при существующих условиях; она

верила в возможность народного восстания, которое, одновременно с гнетом экономическим, сломит и старые политические формы.

Первые стремились к сосредоточению сил в городах, чтобы здесь биться с правительством; вторые считали это вредным увлечением и звали назад—в деревню...

Последствием внутреннего раскола, который неминуемо должен был кончиться распадением общества «Земля и Воля», и было образование внутри его сплоченного, единодушного и энергичного ядра, которое послужило началом партии «Народная Воля», с «Исполнительным Комитетом» во главе.

Сторонники нового направления получили более определенную организацию на с'езде в Липецке, куда летом 1879 г. они собрались непосредственно перед Воронежским с'ездом членов общества «Земля и Воля», но без ведома этих последних. Цель Липецкого с'езда состояла в том, чтобы сосчитать силы и наметить тактику, как внутреннюю, так и внешнюю.

Явившись затем на Воронежский с'езд во всеоружии, сговорившиеся и единодушные, они провели на нем в члены общества «Земля и Воля» целую серию лиц испытанной верности, энергии и самоотвержения. Нельзя воздать достаточной хвалы проницательности и широте замыслов липецких товарищей: они шли плотной шеренгой в даль будущего, пролагая новые пути революции; они окинули взглядом все революционные силы тогдашнего времени, стянули людей со всех концов России, создав этим общерусскую, еще небывало широкую организацию. Все, что было выдающегося, энергичного в революционном мире, они привлекли в свою среду или наметили для будущей работы.

Валериан Осинский тогда уже погиб, но другие столь же отважные энтузиасты держали дело политической борьбы в своих сильных руках. На ряду с названными раньше тут

были: Желябов, Фроленко, Колодкевич, Ширяев — эти орлы и герои революции. Н. А. Морозов был одним из самых энергичных инициаторов нового направления. Среди горечи неудач эти люди выносили новое направление в своих сердцах. Они вынесли его на своих плечах через рутину и косность и привели, наконец, к победе...

С'езд в июле 1879 г. в Воронеже был последней попыткой членов «Земли и Воли» действовать сообща. Это был компромисс, и, как таковой, он не дал никаких определенных результатов, хотя на нем не произошло и открытого разрыва.

Однако, по прибытии в Петербург, как только началась революционная работа, практические неудобства противоречивых стремлений в недрах общества принудили к официальному разделу. Тогда образовались две самостоятельные фракции: «Народная Воля» и «Черный Передел».

С этой минуты Исполнительный Комитет стал центром общероссийской народовольческой организации и в течение нескольких лет на почве борьбы с самодержавием развил небывалую энергию и деятельность, служа пугалом и предметом отвращения для одних и путеводной звездой, предметом упований для других.

Деятельность Исполнительного Комитета общеизвестна, об ней нечего распространяться... Что касается до роли Н. А., то об этом когда-нибудь он сам расскажет: здесь достаточно сказать, что во всех делах Комитета, подобно другим агентам, он принимал как нравственное, так и физическое участие и, кроме того, состоял редактором партийного органа «Народная Воля».

Затем, в феврале 1880 г., после ареста типографии, где печаталась эта газета, Н. А. временно отбыл за границу. Он жил там, главным образом, в Швейцарии, но посетил также Лондон и Париж. Сношения с разными лицами, собирание материала по истории революционного движения в России и на ряду с этим слушание лекций в Женевском универси-

тете составляли предмет его занятий. К этому же времени относится и появление его талантливой брошюры о терроре. В январе 1881 г. он задумал вернуться в Россию, но на границе был арестован и предан суду вместе с другими народовольцами («процесс 20-ти» в начале 1882 г.: Суханов, А. Михайлов, Фроленко и т. д.).

Морозов был приговорен к каторге без срока и вместе с другими выдающимися членами партии заточен сначала в Алексеевский равелин, а потом (в 1884 г.) перевезен в Шлиссельбург.

Покойный товарищ наш П. С. Поливанов и М. Ф. Фроленко в своих мемуарах прекрасно описали, что такое была жизнь в равелине. Желающие могут обратиться к ним. Я, с своей стороны, прибавлю только, что, рассказывая в Шлиссельбурге об условиях этой ужасной жизни, Н. А. не без гордости говорил, что понимал прекрасно, что весь режим Алексеевского равелина имеет целью извести медленной смертью узников, заключенных в нем, и что это сознание заставляло его настойчиво сопротивляться болезни, одолевавшей его от постоянного голодания. Мучимый цынгою, преодолевая страшные колющие боли в ногах, он старался как можно более ходить. Да! Он ходил по камере и повторял в уме: «Меня хотят убить... а я все-таки буду жить!...».

И он выжил, несмотря на то, что многие годы харкал кровью и, казалось, неминуемо должен был погибнуть.

Во время заключения в Шлиссельбурге Н. А. сохранял полное самообладание и неизменную доброту. Для заключенных он был «третьей сестрой», как его в шутку называли товарищи [1]), к которым он всегда был готов притти со словами утешения, а за отменно учтивое обращение с жандармским персоналом его звали «Маркизом». Но самым употребительным прозвищем было название «Зодиак» за пристра-

---

[1]) Двумя первыми были: Волкенштейн и я.

стие к астрономии и поиски на небе так называемого «зодиакального света».

После осуждения все мы потеряли не только гражданские и человеческие права, но и свои имена. Мы стали чем-то в роде казенных вещей и обозначались безличными номерами. Наши фамилии должны были оставаться тайной как для соседей по камере, так и для всего штата высших и низших стражей. В первые годы это так и было, при чем офицеры, конечно, только притворялись, будто не знают, кто мы такие. Впоследствии, когда начали практиковаться прогулки вдвоем, имена, само собой разумеется, разоблачились, потому что жандармы не могли не слышать их в наших разговорах. Тогда жандармы усвоили даже наши псевдонимы, и один унтер-офицер пресмешно переделал «Зодиака» в «Забияку», что невольно вызывало смех, в виду добродушнейшего характера Н. А. В самом деле, поссориться с ним было невозможно. Был всего лишь один памятный случай, когда он серьезно рассердился на одного товарища, который сгребал и топтал ногами для удобрения гряд целые кучи фриганок—небольших сетчатокрылых, мириадами налетавших к нам с Ладожского озера. Н. А. находил это безобразным и сам чрезвычайно смешил нас тем, что в своей камере ловил беспокоивших его мух в баночку и потом, выходя на прогулку, выпускал их...

Но сказать о Н. А., что он был неизменно мягок, добр и ровен, было бы сказать очень мало. Только первые, самые удручающие годы он был молчалив и всегда словно погружен в мечту или грезу. Но и тогда он находил силы утешать Буцевича, умиравшего от чахотки и данного ему в первые товарищи по прогулке. Когда же тюремные условия изменились к лучшему, Н. А. поражал своей живостью и веселостью.

Удивительная, трудно об'яснимая, но всегда свежая и молодая иллюзия, что скоро нас увезут из Шлиссельбурга

и мы возвратимся к семье, друзьям и жизни,—ни на минуту не покидала его. Каждую зиму он говорил, что весной нас увезут, а когда проходила весна, говорил, что увезут осенью, и так—без конца. Проходил год за годом, и всем уже надоело слушать эти предсказания. По поводу их возникали насмешки, анекдоты, немало увеселявшие публику, но он не смущался и не переставал верить. И так эта мечта не оставляла его целых 24 года! Все переставали или перестали ждать, но он все верил и все ждал, и когда 26 октября 1905 г. жандармы позвали его вместе с товарищем с гулянья, не говоря зачем, он, на недоумение спутника, с величайшей простотой ответил:

— Да затем, чтоб об'явить об освобождении!

На этот раз он угадал: действительно, их звали, чтобы об'явить об «амнистии» 21 октября...

В тюрьме, где все серо и однообразно, где видишь одни и те же лица и слышишь в конце-концов все те же речи, добрый и веселый товарищ—сущий клад. Высокая фигура Н. А. в нескладном арестантском халате, обвешанная, во избежание простуды, какими-то тряпочками и увенчанная серой шапкой с несуразным доморощенным козырьком, всегда вносила оживление и смех там, где появлялась. В молодости он не любил шуток и возмущался, когда люди постарше дозволяли себе их. Но в тюрьме он сам стал шутить, при случае мистифицировал и выдумывал разные смешные истории и положения. Это делалось всегда с таким добродушием, с такими искорками забавного лукавства в ласковых карих глазах, что только мертвый мог не смеяться...Он и сам как нельзя лучше переносил насмешку и шутку. Так, неистощимым предметом поддразниваний являлся небольшой саквояж, сделанный С. А. Ивановым для Л. А. Волкенштейн, но не взятый ею при от'езде. Морозов не расставался с ним ни на минуту, нося с собой всюду: на гулянье, в мастерскую и т. д. Этот сак звали «mecum

porto», сокращая известное изречение философа: omnia mea mecum porto, ибо в нем были все его сокровища, начиная с сахара и кончая дамским сувениром. Так спасал он свое добро от возможного прикосновения жандармских рук. За эту вечную ношу Г. А. Лопатин называл его «сумчатым»... Но называли ли его «сумчатым» или «морским коньком» (за манеру держать голову), он отвечал всего лишь милой улыбкой или остроумным репримандом, за которым никогда не лез в карман. Рассердить же его решительно не было возможности: в этом отношении никто не мог похвалиться удачей.

В заточении, когда пропала возможность всякой практической деятельности, Н. А., отрешаясь от тяжелой действительности, погрузился в работу мысли. В тиши равелина в нем проснулся мыслитель, и тогда же в его уме зародились основные идеи по вопросу о строении вещества, которым он посвятил потом свое главное произведение. Но в равелине не давали письменных принадлежностей, и вся работа мысли оставалась в голове. Зато в Шлиссельбурге, когда стали давать научные книги и через три года разрешили карандаш и бумагу, Н. А. всецело отдался любимым занятиям.

В последние 10—12 лет этот узник с высохшим телом, но с трепетавшей в его уме живой мыслью, с удивительной и трогательной настойчивостью, день за днем, обдумывал и набрасывал на бумагу гипотезы и соображения, делал бесконечные вычисления, составлял таблицы и схемы. Позади его была почти уже вся жизнь, а впереди—с холодной точки зрения—одна безнадежность, ничем не отмеченная могила на маленькой косе у крепостной стены, где легли его товарищи, когда-то, как и он, полные энергии и силы, но сломленные чахоткой и цынгой.

И все-таки он работал. Он мыслил и писал, одушевленный несокрушимой надеждой, что его идеи когда-нибудь да увидят свет. Порой, измученный, больной, в дружеском

излиянии он признавался, что источник жизни в нем иссякает, что сил у него остается мало; но это служило лишь стимулом к тому, чтобы спешить поскорее занести на бумагу все, что он имеет сказать и что может внести хоть небольшую крупицу знания в общую сокровищницу человеческой мысли.

Еще в равелине Морозов пришел к убеждению, что так-называемые простые тела на деле не таковы, что они составляют лишь конечный продукт длинной эволюции вещества, которое в течение бесконечно длинного периода жизни земли претерпело многочисленные и разнообразные метаморфозы, первичные древние фазы которых скрыты в дали времен. Н. А. верил, что настанет время, когда эти «простые» тела—золото, серебро, мышьяк и т. д.—будут разложены в лаборатории на составные части и путем синтеза вновь восстановлены в ту же форму [1]).

Вопрос о сложности так называемых простых тел есть животрепещущий вопрос современной химии, и такие знаменитости, как Крукс и др., уже с 70-х годов не сомневались в разрешении его в положительном смысле.

В этом отношении шлиссельбургский узник, замурованный на целую четверть века в непроницаемую для постороннего взгляда тюремную келью и погруженный в глубокое размышление о метаморфозах вещества, походил на средневекового алхимика, который в своем таинственном, фантастическом кабинете склонился и застыл над ретортой, где из различных химических ингредиентов должно образоваться чистое золото.

Все, кто имел случай видеть Н. А. по выходе его из Шлиссельбурга, единодушно удивляются, насколько он сохранил бодрость и живость, а его мягкость и умное, кроткое лицо очаровывают всякого, кто приходит с ним в соприкосновение.

[1]) Отчасти это уже осуществлено.

Мои личные воспоминания обнимают жизнь Н. А. с 20-летнего возраста, когда прелестным юношей-ригористом он впервые приехал в Швейцарию, где я училась в университете. С тех пор при всех изменчивых условиях жизни, на свободе и в тюрьме, где мы стояли плечом к плечу, он всегда оставался верен себе. Целью всей его жизни в науке и в политике было искание истины и свободы, освобождение человеческой личности от оков природы, от насилия, деспотизма и эксплоатации. При мысли о нем невольно вспоминаются чудные стихи Огарева:

Когда я был отроком тихим и нежным,
Когда я был юношей страстно-мятежным,
И в возрасте зрелом, со старостью смежном,
Всю жизнь мою—снова, и снова—
Звучало одно неизменное слово:
«Свобода! Свобода!».

Двадцать три года прошло с тех пор, как Н. А. из Шлиссельбургской крепости вышел на свободу. В эти 23 года он проявил все скрытые силы, которые таились в нем, приглушенные бесконечным двадцатипятилетним заключением. Он проявил их в полноте и с таким размахом, что невольно останавливаешься в изумлении. Желая для первого издания этой книги пополнить свежими данными биографический очерк, написанный мною в 1907 году и помещенный в «Галлерее шлиссельбургских узников», я написала ему в деревню, в его родной «Борок», прося прислать краткий перечень его работ. В ответ я получила печатный Curriculum vitae, представленный министру народного просвещения при старом режиме петроградскими высшими женскими курсами Лесгафта, при избрании Морозова на кафедру астрономии и мировой химии, дополненный обзором общественной и литературной деятельности его. Этот документ в 23 страницы дает яркую картину необычайной разносторонности и удивительной дееспособности Николая Але-

ксандровича. Если в Шлиссельбурге, за что бы он ни принялся, работа спорилась в его руках и он восхищал легкостью, с которой ему давалось все, то на свободе его мысль и, кажется, самое тело приобрели крылья—столько работ по различным отраслям знания и литературы он исполнил, столько городов нашей родины об'ехал в качестве лектора, в стольких обществах принимал участие.

Еще будучи в Шлиссельбургской крепости, он написал трехтомную работу по теоретической химии: «Строение вещества». Там же была написана книга «Периодические системы строения вещества», в которой предугадывалось существование и атомные веса нейтральных элементов (инертных газов), найденных потом Рамзаем. Эта книга увидела свет в 1907 г., а в 1908 г. было напечатано «Откровение в грозе и буре», написанное им тоже в крепости и в 1912 г. переведенное на немецкий язык. Все эти работы, не перечисляя многих других, написанных там же, казалось, без всякого усилия со стороны автора,—ничто в сравнении с тем печатным материалом, который был брошен им на литературный рынок. По *астрономии, астрофизике и метеорологии* он дал 16 журнальных и газетных статей и 2 книги, сделал три доклада в различных ученых обществах и произнес 2 речи: на XII с'езде естествоиспытателей и врачей и на 2-м Менделеевском с'езде химиков и физиков. По *химии* он написал 14 статей в различных газетах и журналах, выпустил в свет 2 книги, сделал 2 доклада в ученых обществах и произнес речь на заседании Русского физ.-химич. о-ва в память Менделеева. По *физике и высшей математике* Н. А. сделано следующее: выпущено 4 книги и написано 9 статей для газет и журналов. По *воздухоплаванию и авиации,* которым Н. А. отдавался с большим увлечением, он опубликовал 17 работ различных размеров и, наконец, по *общественным вопросам и беллетристике* издал: 5 брошюр, 26 различных газетных и журнальных статей, книгу сти-

хотворений под заглавием «Звездные песни» [1]), один рассказ и, кроме кратких воспоминаний о Шлиссельбургской крепости, озаглавленных «Каменный гроб» и «В глубине преисподней», 4 тома автобиографического характера: «Повести моей жизни» [2]). В сумме это составляет 113 написанных и опубликованных произведений, не считая тех, которые выходили под его редакцией (некоторые отделы Технической энциклопедии, Детской энциклопедии и др.). Сверх того, Н. А. прочитаны лекции в 54 городах Европейской и Азиатской России, в таких центрах, как Петербург, Москва, и в таких захолустьях, как Пошехонье и Молога. Он посетил: Архангельск на севере, Тифлис, Баку и Кутаис на юге; Юрьев, Ригу и Минск на западе; Владивосток, Благовещенск и Харбин на Дальнем Востоке. Путешествие свое по Сибири Н. А. совершал в сопровождении пианистки К. А. Борисловской, на которой женился в 1907 году, найдя в ней верного друга и помощника. Побывал Н. А. за это время и за границей.

Приглашенный в 1907 г. естественным факультетом Петроградской вольной высшей школы Лесгафта, Н. А. руководил практическими занятиями по аналитической химии, затем делается сначала приват-доцентом, а потом профессором этой школы. В ней он читал курс органической химии и руководил практическими занятиями в лаборатории до закрытия школы правительством, а после закрытия ее читал общую химию, как частный преподаватель Биологической лаборатории Лесгафта. Когда не стало незабвенного учредителя ее, Н. А. был избран в совет этой лаборатории, а в начале 1918 г. стал директором этого ученого учреждения и

---

[1]) Позднее вышла и вторая книга этих песен, за которую Н. А. был осужден на 1 г. заключения в крепости. Он отбыл это наказание в Двинске, в 1912 г.

[2]) В текущем году вышло новое, несколько сокращенное издание. Гос. изд.

преобразовал его в научный институт имени Лесгафта с 8 отделениями по разным отраслям естествознания. На высших курсах, заменивших вольную высшую школу, Н. А. с 1915 г. читал астрономию и «мировую химию» и с начала 1917 г. до революции начал чтение того же предмета в психо-неврологическом институте.

На ряду с теоретическими работами по различным отраслям знания, ведением курсов в учебных заведениях Петрограда, лектированием по городам России и Сибири, помимо участия на с'ездах и в различных научных кружках и обществах в качестве члена, Н. А. проявил настоящую страсть к воздухоплаванию, которое интересовало его с научной стороны и наполняло энтузиазмом, как поэта. Он сделал и сам несколько полетов: один во время солнечного затмения 4 апр. 1912 г.; другой—в ту же весну (из Петрограда в Вологду) для спектроскопического исследования земли, как планеты, сверху вниз. Третий полет был совершен им в 1914 г. для изучения физиологического состояния организма на высоте. Результаты наблюдения солнечного затмения были изложены Н. А. в специальных докладах на заседаниях русского о-ва любителей мироведения, русского астрономического и русского физико-химического обществ, на физическом отделении. А результаты двух других полетов помещены во французском журнале «La revue aéronautique» (в июльской книге 1913 г.) и в отчете проф. Цитовича во «Враче». Теоретическая статья по воздухоплаванию и личное участие в полетах с научными целями сделало Н. А. членом различных организаций, комитетов и комиссий по научно-техническим вопросам авиации, лектором авиационной школы всероссийского аэроклуба, членом совета при школе авиации военного времени и почетным председателем Ярославского отдела всероссийского авиационного общества. Было бы очень долго перечислять участие Н. А. в других обществах. Достаточно сказать, что он был членом 6 лите-

ратурных обществ (литературного фонда, литературного суда чести и др.), двух астрономических, трех химических и трех обществ, имеющих химические отделения; членом русского общества любителей мироведения, членом британской астрономической ассоциации и членом Société astronomique de France. И во всех этих обществах и научных ассоциациях Н. А. являлся не мертвым, а очень деятельным членом, следящим за ходом работ каждого общества и принимающим активное участие в них.

И всего этого мало для кипучей натуры бывшего узника Шлиссельбурга, столько лет замкнутого в каменную клетку крепости.

Научная и литературная работа, лекции, раз'езды по суше и по воздушному океану поглощали еще не всю энергию его. Война не оставила его безучастным: горячий противник ее, он хотел видеть воочию все зло, приносимое ею людям, хотел непременно побывать,—и в качестве делегата Земского союза помощи больным и раненым действительно побывал,—на передовых позициях. Был в окопах, ночевал в них, беседовал с офицерами и солдатами, переносившими все тягости, сопряженные с кровавой человеческой бойней. В фельетонах «Русских Ведомостей» он рассказал о том, что видел и переживал там.

Жизнь во всем ее многообразии захватывает его, судьба родины тревожит и волнует, как каждого сознательного и свободолюбивого гражданина. Наука, как он ни предан ей, не поглощает его всего, он не отмахивается от жизни, от участия в той перелицовке России, которая началась со времени мартовской революции. В 1917 г. он принимает участие в Государственном совещании в Москве, был членом Совета Российской республики, а при выборах в Учредительное собрание избран в члены его, в качестве кандидата партии народной свободы, которая в то время наиболее удовлетворяла его политическим взглядам.

Трудно сказать, что выиграла бы наука и приобрело общество от талантливой работоспособности Н. А., от его неиссякаемого творческого воображения, направленного в область научной мысли, иди его развитие нормальным путем, без отклонений, перерывов и, что всего важнее, без той полной долголетней изолированности от людей науки, их трудов и исканий, на которую он был обречен в стенах русской Бастилии. Однажды наш общий друг и товарищ И. Д. Лукашевич, дисциплинированный ум которого во многом противоположен складу ума Н. А., в Шлиссельбурге сказал мне: «У Морозова есть гениальные догадки, как они были у Фарадея, и для науки он мог бы сделаться тем же, чем был Фарадей».

Государственная, политическая и социальная разруха после революции и мировой войны, моральные потрясения и физическое истощение, от которых страдали все, не сломили того, кого не сгубили царские порядки и не раздавили тюремные своды.

Подобно немногим «избранным», которые до глубокой старости сохраняют свежесть ума и чувства, Н. А. и теперь, в возрасте 74 лет, молод душой и обладает полнотой своего творческого таланта.

Не говоря о менее значительных литературных [1]) и научных работах (5 по астрономии, 2 о принципе относительности и др.), он выпустил в свет (1925—28 гг.) 5 монументальных томов in folio под наименованием: «Христос» с заманчивыми подзаголовками: 1) Небесные вехи земной истории человечества; 2) Силы земли и небес; 3) Бог и Слово; 4) Во мгле минувшего при свете звезд; 5) Руины и привидения.

---

[1]) «Среди облаков». Воспоминания и размышления о воздушной жизни. «Поезд сознания». Грезы о пространстве и времени. «Автобиография» (в энциклопедии Граната) и др.

В этом новом произведении [1]), развертывая весь блеск своего дарования, автор ниспровергает всю общепринятую хронологию истории человечества и создает свою собственную на основах того же астрономического метода, который применял при написании своего толкования «Апокалипсиса» и книги «Пророки».

Каждый, кто развернет эти томы, не устрашившись их размера, признает, каким неиссякаемым запасом мысли, остроумия и воображения владеет до сих пор наш «узник Шлиссельбурга».

---

[1]) Автор обещает еще 2 тома.

Михаил Федорович Фроленко.

(Род. в 1848 г.).

Михаил Федорович Фроленко вышел из бедной семьи, видевшей много нужды и горя. Когда в Шлиссельбурге он писал свою семейную хронику, то дал ей название: «Семейство Горевых», намекая этим на горькую жизнь своих родных. Его отец был отставным фельдфебелем и служил смотрителем каменноугольных копей в Кубанской области, в 10 верстах от небольшого укрепления Хумара, а мать, рано оставшись вдовой, билась вместе с дочерью всю жизнь из-за куска хлеба и умерла в богадельне, к великому огорчению сына, бессильного помочь ей в стенах Шлиссельбургской крепости. Тщетно просил он департамент полиции разрешить ему посылать матери тот небольшой заработок, который мог бы сколотить физическим трудом в тюрьме. В этом ему было отказано, но сам департамент решил послать ей из казенных сумм 50 рублей; однако, вскоре известил, что тифлисская полиция возвратила деньги обратно, так как измученная старуха уже умерла. Эта гордая, любившая независимость женщина, всегда жившая своим трудом, никогда никому не обязывавшаяся и ненавидевшая все формы филантропии, умерла, униженная, как-раз в одном из ненавистных ей учреждений, заставив преданного ей сына страдать невыразимо.

На грошевые деньги, которые мать с трудом собирала поденщиной и швейной работой, Михаил Федорович учился

сначала в жандармских казармах у писаря (в Ставрополе-Кавказском, где он и родился), а потом у отставного чиновника, забулдыги и пьяницы, обремененного громадной семьей и с трудом прокармливавшего себя и детей рублевыми взносами, которые его ученики делали ежемесячно. Инспектор училища при посещении этой частной школы обратил внимание на мальчика и принял его в уездное училище, где тот и пробыл 5 лет. Учился Михаил Федорович хорошо. В последний год на экзамене по географии он возбудил интерес в самом губернаторе, присутствовавшем при этом. Из всех учеников он один хорошо рисовал географические карты. К ужасу учителя, его превосходительство задал нарисовать Волгу, чего ученики по курсу не проходили. Но Михаил Федорович вышел с честью из этого искуса. Губернатор ласково расспросил его и, узнав, что по бедности он не может поступить в гимназию, сказал: «Приходи ко мне, я устрою это». Осенью с детской доверчивостью мальчик отправился во дворец губернатора, который, как и следовало ожидать, и не подумал вспомнить о нем: его просто не приняли там. Однако, с помощью добрых людей Михаил Федорович все же поступил в Ставропольскую гимназию и в свое время кончил ее. Вместе с однокурсниками, такими же бедняками, он добрался до Петербурга с тем, чтобы поступить в Константиновское военное училище. Но это не удалось, и после многих мытарств по разным высшим учебным заведениям он поступил, наконец, в Технологический институт. Это было в 1871 году, в год процесса нечаевцев (Успенский, Ткачев, Кузнецов, Прыжов и др.). Михаил Федорович живо помнит интерес, с которым учащаяся молодежь относилась к этому громкому делу. Вместе с другими студентами он старался проникнуть на заседания суда, но это не удалось.

Определенного плана насчет будущего у него тогда еще не было, и на следующий год он переехал в Москву и поступил в Петровско-Разумовскую земледельческую академию,

где еще была свежа память об убийстве Иванова: молодежь этого заведения при поступлении первым долгом отыскивала место трагического происшествия, тот грот, где совершено было это печальное дело.

В Петровско-Разумовском Фроленко жил уроками и получал маленькую стипендию, воспоминание о которой, как о бесполезной трате общественных денег, тяготило его чуткую душу даже в стенах Шлиссельбурга, так как студентом в тесном смысле слова М. Ф. был, по правде сказать, плохим и занимался больше сходками, студенческими делами, чтением и дебатами. Его материальное положение было из рук вон плохо. По временам случалось буквально голодать, и в Шлиссельбурге он чрезвычайно мило рассказывал, как в один весьма критический в этом отношении день, перебрав все ресурсы и источники займов и денежных оборотов, он решил, что ему ничего не остается, как только искать чего-нибудь на улице. «Я был уверен,—говорил он,—что в таком большом городе, как Москва, ежедневно происходят потери, и не может быть, чтобы в этот день кто-нибудь чего-нибудь не потерял». С этой уверенностью он пошел бродить по улицам, упорно глядя себе под ноги и ища глазами по земле. Он исколесил таким образом много улиц и переулков. Все поиски были напрасны. Но вот он видит небольшой буроватый комочек... поднимает, развертывает... и, о радость! оказывается, что это две смятые рублевые бумажки. Нечего и говорить, что в этот вечер на столе его мансарды были хлеб и колбаса, чай и сахар.

Среди этого полуголодного существования, подрывавшего силы молодого организма, одна мысль тревожила и занимала М. Ф.: как надо жить? Что должен человек делать? И так как жить для себя невозможно, то какого рода пользу приносить обществу? Как служить народу?..

Вместе с другим петровцем, Аносовым, состоявшим в московском кружке чайковцев, он начал первые практические

шаги на почве альтруистической деятельности. Они подобрали молодых рабочих и стали обучать их грамоте, арифметике и другим предметам в размере низшей школы. Но идеалом обучаемых юношей было занятие торговлей, и меркантильные инстинкты этих учеников внушали отвращение бескорыстным подвижникам-учителям.

Бросив эту затею, весной и летом 1874 г. Михаил Федорович совершил вместе с тем же Аносовым путешествие на Урал с наивно-простодушной верой найти там квинт-эссенцию русского революционного духа. Носителями его предполагались «беглые» из Сибири и сектанты «бегуны». По представлению путешественников, Урал должен был кишеть этими бунтарями и протестантами против существующего строя, и социалистам-пропагандистам стоило лишь войти с ними в соприкосновение, чтобы без особенного труда завербовать эти энергичные элементы в революционную армию. Совершив большое путешествие на пароходе, но большею частью пешком, неопытные, неумелые и всегда голодные, переодетые в крестьянское платье путники основались кое-как на одном плохоньком заводе и, потеряв месяца три, возвратились восвояси, не видав в глаза ни одного сектанта, ни одного беглого.

По прибытии в Москву оказалось, что М. Ф. должен сделаться нелегальным, потому что там, до ухода в Пермскую губернию, на его имя была открыта столярная мастерская, где интеллигенты обучались ремеслу. Один юноша, посланец Войнаральского, скомпрометировал этот адрес, а в то время малейшее подозрение, пустая записка или оговор были достаточны, чтобы поплатиться несколькими годами предварительного заключения. Нежелание ни за что, ни про что сесть в тюрьму раз навсегда оторвало М. Ф. от всех уз и благ легального и буржуазного существования. Во время «процесса 193-х» он числился привлеченным, но неразысканным. Так, с 1874 года он жил жизнью революционной бо-

гемы, без постоянного имени и пристанища, среди ряда странных метаморфоз и чудесных приключений, герой и бродяга, не знающий, кем и чем он будет завтра, где и как кончит свое сегодня. Долго не попадая в руки искавшей его полиции, он вел это фантастическое и беспокойное существование до 17 марта 1881 г., когда был схвачен в Петербурге близ квартиры Кибальчича, где была устроена западня. За этот период 1874—81 гг. его жизнь полна скитаний и героических дел. Необычайная искренность, простота и отвращение к фразе и к теории были его характерными чертами за этот период. Он не любил говорить и относился с нескрываемым пренебрежением ко всяким отвлеченным спорам и разглагольствованиям. Если бы в организации такого взгляда придерживались все, это было бы большое зло: революционная партия должна иметь своих теоретиков и своих ораторов, которые не только умеют, но и любят поговорить. Но если бы она состояла исключительно из последних,— дело было бы еще хуже.

Рассудительный и хладнокровный, человек практики, каким он был, Фроленко имел громадный вес в организации. Ни одно серьезное дело не обходилось без того, чтоб «Михайло», как его звали товарищи, не был призван для совета или участия. Психология революционера еще ждет своего исследователя и художника, но великое «искание» души, не укладывающейся в нормы существующего, есть одна из характернейших черт этой психологии. Просматривая жизнь Михаила Федоровича, как нельзя более убеждаешься в этом. На свободе он искал путей и средств, как перестроить жизнь и переделать самих людей. Сначала—студент-технолог, студент-агроном, затем—член кружка чайковцев, учитель-пропагандист; потом, на юге, вместе с Дебогорием-Мокриевичем и М. Ковалевской—бунтарь, прислушивающийся к народному брожению, чтобы поднять массовое восстание. Позднее— участник Липецкого и Воронежского с'ездов, член партии

«Народная Воля» и агент Исполнительного Комитета. Что это, как не дух мятежника, который смотрит на жизнь, как на здание, в котором тесно жить и которое так или иначе надо перестроить? В той или иной фазе своей пестрой карьеры он всегда был подобен человеку, который ходит в темном русском царстве, словно в подземелье, и тяжелым молотом нащупывает слабое место: «Сезам, отворись! Свет и свобода, придите!».

Простой, необыкновенно скромный, без всякой мишуры и блеска, он принадлежит к людям, которые ничего не теряют от того, что стоишь к ним близко. Напротив, чем больше узнаешь его, тем больше любишь. Если героизм состоит в том, чтобы становиться в положения огромного риска, хладнокровно и отважно совершать самые опасные дела, относясь притом к совершению их, как к самому обыденному поступку, то Фроленко, несомненно, истинный герой. Освобождение в 1877 г. Костюрина из тюрьмы в Одессе, еще более чудесное освобождение в 1878 г. трех товарищей из Киевской тюрьмы (Стефановича, Бохановского и Дейча),—эти дела, осуществленные единоличными силами, с громадным риском для себя и без малейшего риска чужою жизнью, не могут не внушать восхищения к их исполнителю и навсегда останутся одною из самых блестящих страниц нашей революционной истории. В Херсонском банке, бескровно, через подкоп, добывающий средства на дело революции; в железнодорожной сторожке на 10-й версте под Одессой караулящий царский поезд; роющий минную галлерею на Малой Садовой,—он везде один и тот же: спокойный, невозмутимый, самоотверженный и великий.

Осужденный в феврале 1882 г. по «процессу 20-ти» народовольцев, он вместо казни был заключен сначала в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а потом в 1884 г. перевезен в Шлиссельбург.

Более чем кто-нибудь испытал он на себе страшные

последствия заключения в этих казематах. Он страдал цынгою, ревматизмом и чем-то в роде остеомиэлита, так что долгое время не владел рукой и был совершенно глух,—и, кажется, ни одна система органов не оставалась у него не пораженной каким-нибудь недугом.

В тюрьме его ум усиленно работал, и насколько в жизни он был практиком, презиравшим всякую отвлеченность, настолько же в заключении стал метафизиком. Он пересмотрел все свои убеждения, начиная с религиозных. Вопрос о бытии личного бога долго занимал его, тем более, что первым товарищем его по прогулке (в Шлиссельбурге) был Исаев, в тюрьме уверовавший в милосердного бога и страстно прильнувший к религии, утешавшей его в скорбях. Преодолев, наконец, свои сомнения, М. Ф. с сожалением говорил потом, что бог безличный, бог отвлеченный, бог—в смысле идеи истины и добра, мировой души и т. п.—не дает ему удовлетворения, что он хотел бы бога, как его рисуют наивные иконостасы деревенских храмов: бога в виде седого, как лунь, старца, сидящего на облаках и благосклонно взирающего оттуда на весь мир...

В области экономики он подверг критике трудовую теорию стоимости Маркса и стал ее противником в духе Бем-Баверка, как потом оказалось. В области политики, забывая за тюремными стенами жизнь, как она есть, с ее вынужденной кровавой борьбой и невозможностью широкой культурной деятельности в рамках полицейского государства, он все время мечтал о школах и народных университетах, библиотеках и артелях...

Даже сама наука не избежала его анализа. Вопреки Ньютону и всей честной компании, он трактовал силу притяжения на свой особый лад, и сам Дарвин не остался в его глазах незыблемым авторитетом, так как в дружеских беседах он развивал какую-то свою собственную теорию происхождения организмов на земле. Вообще, худо ли, хорошо ли,

но Фроленко ни в каких своих взглядах не подчиняется существующим учениям и теориям, прививаемым с детства и в юности в средней и высшей школах, и ко всем явлениям относится своеобразно и не по шаблону. Спорить с ним в этих областях невозможно, но нельзя отрицать, что в мире, где все приглажено и подчищено, где все похожи друг на друга, такой человек имеет своеобразную привлекательность: он решительно не похож на других, и на всем белом свете есть только один, а не несколько Фроленко... Другого подобного нет.

В 1904 г. М. Ю. Ашенбреннер, ближайший друг его, с которым последние годы он коротал время на прогулке в бесконечных беседах или чтении вслух, вздумал просветить его насчет философии. Сам великий любитель и даже знаток ее, Ашенбреннер прежде всего хотел убедить друга в необходимости и полезности философии. Он прочем ему целый ряд лекций, где были Спиноза, Кант и Гегель, Вундт и Риль... Михаил Федорович слушал все терпеливо и внимательно, воспринимал с небольшими возражениями всевозможные философемы. Ашенбреннер был в восторге и на стороне хвалился своими успехами. Наконец, курс кончился, и философские трактаты были сложены на полку.

Каково же было негодование учителя, когда, дня три спустя после этого, ученик поднял форменный бунт: он заявил, что существование философии, как отдельной дисциплины, бесцельно, бесполезно и нелепо; что она ничего не дает, ничему не учит и не помогает, и что в конце-концов всех философов, от Канта и до Риля, он посылает к чорту! М. Ю. Ашенбреннер был оскорблен в своих лучших чувствах.

Однако, дружба осталась между ними нерушимой.

Родившись на Кавказе, Михаил Федорович страстно любит юг с его теплом и солнцем. Тоска по солнцу, которого в тюрьме так мало, проходит красной нитью в его тюремных настроениях.

В этом отношении характерно стихотворение, составленное им в голове, в Алексеевском равелине, и записанное только в 1887 г., когда в Шлиссельбурге дали письменные принадлежности.

По форме, это, быть-может,—и не настоящие стихи, но всякий, у кого есть душа, я думаю, будет тронут безыскусственными нотами тоски, которая звучит в них.

В камере грязной, сырой и холодной
Летом хоть солнце порой веселит.
Греет приветливо,
Светит так весело,
С лаской в окошко глядит...
Греясь в окошке и сидя на солнышке,
Меньше тоскует бедняга: душа
Холоду, сырости больше не слышит...
Время скорее бежит...
В осень ненастную, в зиму холодную
Прячется солнышко... Где-то оно?
Холоду лютого, дня ли короткого
Точно боится оно...
Дни—время малое—кажутся годами
Долгими, длинными, тянутся скучные...
Бродит бедняга по камере сумрачной...
Мается, руки скрестивши свои...
Всюду так сыро... так холодно...
Даже желания выйти на волюшку
Меньше как-будто в те дни...
Нету порывов, нету стремления—
Замерли вдруг все они...
Но, вот, в окошко опять заглянул
Солнца весеннего свет...
Радостно встретили, было, его!
День лишь короткий оно прогостило—
Спряталось в тучи опять.
Но уж оттаяли стекла замерзшие,
В камере стало светлей...
Зато на душе потемнело,
Стало несносней, скучней.

Стали являться желанья невольные,
Стала томиться душа,
Стала проситься на волюшку вольную,—
Выйти скорее туда,
Где много воздуха, белого света,
Жизни привольной, труда...
Много работы, но много и радостей,
Много заботы,—да все-ж не тюрьма!

Отличаясь с виду, пожалуй, хохлацкой флегматичностью, М. Ф. обладает натурой, чрезвычайно деятельной. Полная праздность в первые годы заключения была для него крайне тягостна. Потом, когда устроили огороды и завели мастерские, он стал усердно работать и прошел целый цикл увлечений. Первым было огородничество, в котором он хотел применять самые интенсивные способы обработки. Множество анекдотов ходило о его опытах в этой сфере; тут фигурировали: сахар, лимон и даже зубной порошек, испытываемые в качестве удобрительных туков. Стесненный в размерах землевладения, он не меньше коренного русского крестьянина вздыхал о том, где бы раздобыть землицы. И мало-по-малу вместе с М. Р. Поповым отвоевал у тюремного начальства сначала так называемый «большой» двор— перед старой тюрьмой, а потом и «малый» за нею. Истощив все огородные затеи и доведя овощи до возможного совершенства, М. Ф. подошел к плодоводству. Он работал в столярной, как вол, чтобы сколотить капиталец рублей в десять для покупки ягодных кустов и фруктовых деревьев. Многочисленные яблони, красовавшиеся в пределах шлиссельбургской тюремной ограды и разбросанные всюду, где только было возможно их сунуть, были посажены, главным образом, его руками. Нельзя было доставить ему большего удовольствия, как обещать: «Фрол! Я тебе дам местечко для яблони!»—и невозможно было огорчить сильнее, сломав как-нибудь нечаянно веточку одной из его любимиц... Когда однажды такая беда стряслась со мной, то, держа несчастную

ветку за спиной, я решилась пред'явить ее и покаяться не иначе, как вырвав предварительно обещание не гневаться... Его труды и заботливость увенчались успехом: его суслейпер, «император Александр III», апорт, антоновка и шпалерные яблони плодоносили прекрасно и были источником многих мелких радостей как для самого садовода, так и для его товарищей, любовавшихся осенью на деревья, чрезвычайно красиво, словно рождественская елка, разукрашенные крупными, румяными плодами, число которых в урожайный год доходило до 1.200.

Всего трогательнее было то, что целью насаждений были, собственно, не яблоки, а мысль, что товарищи, которые явятся в Шлиссельбург после нас, найдут не бесплодный пустырь, песок и камень, а прекрасно обработанную землю, деревья и плоды.

Весной, когда яблони и вишни стояли в полном цвету, Фроленко приглашал товарищей взглянуть на белоснежный убор их.

Стоя перед деревом, с блаженной улыбкой на лице, он указывал на это изящное подобие подвенечных fleurs d'orange и говорил: «Настоящая невеста».

Даже бесплодная вишня, капризно требовавшая побольше солнечного света и из года в год обманывавшая общие надежды, под конец смилостивилась и в 1904 году дала 16 штук вишен, которые после забот об их сохранности (предлагали даже сшить мешечки из марли, чтобы предохранить от птиц) были братски разделены между всем товариществом.

Третьим и последним увлечением М. Ф. было куроводство, которое началось с бессонных, тревожных ночей над инкубатором (работы М. В. Новорусского), а закончилось катастрофой, сопровождавшейся смертью одной курицы и аукционной распродажей жандармами всех остальных.

Простота и доброта делали Михаила Федоровича одним

из любимейших товарищей как на свободе, так и в заточении. Как общественный деятель и высоконравственная личность, он всегда имел самую высокую ценность в революционном мире в глазах всех, кто его знал, и память о нем запечатлеется, конечно, в умах всех, кто будет знать его жизнь, его дела и страдания.

Один товарищ как-то выразился о нем: «Это алмаз, не получивший полировки»... И это правда: Фроленко действительно—алмаз!

В 1905 году, когда М. Ф. из Шлиссельбурга был привезен в Петропавловскую крепость, он не имел ни матери, которая умерла в богадельне, ни жены, скончавшейся на каторге в Сибири, ни ближайших родственников, которые по дальности расстояния и отсутствию средств не могли приехать в Петербург. Но с великой лаской и любовью к нему немедленно пришла на помощь Вера Дмитриевна Лебедева, невестка его жены Татьяны Ивановны Лебедевой. Отзывчивая и энергичная, Вера Дмитриевна была в свое время близка московскому кружку чайковцев и дружила со многими петербургскими членами той же организации: Клеменцем, Кравчинским, Александрой Ивановной Мороз и др., поддерживая сношения с ними целые десятилетия. Добившись свидания с М. Ф., Вера Дмитриевна принялась усердно хлопотать у тогдашнего министра внутренних дел П. Н. Дурново об отдаче М. Ф. ей на поруки. Это значило бы разрешить ему пребывание в Москве, где жила В. Д.; на это Дурново никоим образом не мог согласиться. Выручил сын Веры Дмитриевны, Владимир Петрович Лебедев, бывший тогда директором Сибирского банка. Он предложил в поручители себя, а свое имение «Бортники» в Зарайском уезде Рязанской губ.—как место пребывания М. Ф. Там, в усадьбе Лебедева, и водворился М. Ф. под неослабным наблюдением двух специально приставленных жандармов. Эти последние должны были жить под одной кровлей с бывшим узником Шлиссель-

бурга. Но неутомимая Вера Дмитриевна добилась у рязанского губернатора, чтобы М. Ф. был избавлен от этого докучливого соседства: жандармы были поселены не в усадьбе, а в деревне. Каждую неделю Вера Дмитриевна приезжала из Москвы к М. Ф., чтобы не оставлять его в унылом одиночестве; проводила она там и все лето, чтобы скрасить однообразную деревенскую жизнь подневольного жителя ее. М. Ф. страстно любил свой родной Кавказ—Вера Дмитриевна выхлопатывает ему разрешение ехать туда для лечения. Там М. Ф. встречается с шлиссельбуржцем М. Р. Поповым, приехавшим из Ростова-на-Дону. И два закадычные друга, любители землицы, строят планы сесть на землю, которую можно было приобрести с помощью одного богатого человека. Надежды на него не оправдались, и вскоре мы видим М. Ф. уже за границей, в Ницце и в Париже, в которых он раньше не бывал, так как во всю жизнь не выезжал из России. В Париже, в русской церкви, М. Ф. обвенчался с А. М. Померанцевой, с которой познакомился на Кавказе. Анна Михайловна по возрасту и по культурной деятельности своей была как нельзя более подходящей спутницей жизни Михаила Федоровича.

По выходе из крепости М. Ф. только и думал о том, чтобы не пропали даром остающиеся годы его жизни, а пошли бы на какое-нибудь культурно-просветительное общественное дело. Он задумал устроить школу типа профессионального училища с тем, чтобы школьники проводили лето в занятиях земледелием. На побережье Черного моря в Геленджике М. Ф. купил, с помощью друзей, кусок земли с небольшим домом, расширил его, развел фруктовый сад и, делая всевозможные сбережения, всячески сокращая собственные потребности, с неослабным упорством стал собирать средства, необходимые для осуществления мечты о школе. Школу он предполагал выстроить в Ставрополе, а на лето переводить детей в Геленджик, на свою территорию. Ставро-

польское городское управление, по его ходатайству, дало участок земли под школу; переговоры с местными педагогами обеспечивали учебную часть; столярному ремеслу мог обучать сам М. Ф., а хозяйственную часть брала на себя его жена. Летом на своем участке в Геленджике М. Ф. руководил бы занятиями по огородничеству и садоводству. Нехватало одного—очень существенного—денег. Было что-то трогательное в том, что М. Ф. и его жена мечтали осуществить свое предприятие с помощью ежемесячных рублевых взносов лиц, сочувствующих их плану. Сколько раз мне приходилось спорить, доказывать, что маленькие добровольные взносы—ненадежное обеспечение для учреждения, рассчитанного на многие годы и связанного с судьбой детей. Супруги верили, и их вера была непоколебима.

Шли годы—дело не подвигалось. Революция 1917 года принесла М. Ф. даже в такой глуши, как Геленджик, искры света и теплоты: шлиссельбургского узника чествовали, как мужественного борца за свободу, а надежды на временное правительство окрылили его. По усиленным хлопотам его жены, министерство земледелия постановило ассигновать 40 тыс. на школу в Ставрополе того типа, который замыслил М. Ф. Октябрьский переворот затормозил выдачу обещанной суммы. Комитет гражданского воспитания в лице Е. К. Брешковской отнесся сочувственно к проекту, но и тут щедрая субсидия не была дана: комитет не мог сдержать обещания, благодаря осложнениям политического характера. Таким образом, мечта М. Ф., мечта многих лет осталась неосуществленной.

В последовавшие за революцией голодные годы М. Ф. с женой жил в санаториях Сочи и Анапы. Паралич, разбивший Анну Михайловну, обрушил тяжелое несчастье на М. Ф. В настоящее время, вместе с женой, прикованной к постели, он проживает в Москве в доме ветеранов революции имени Ленина, на Шаболовке. Поправившееся здоровье М. Ф. по-

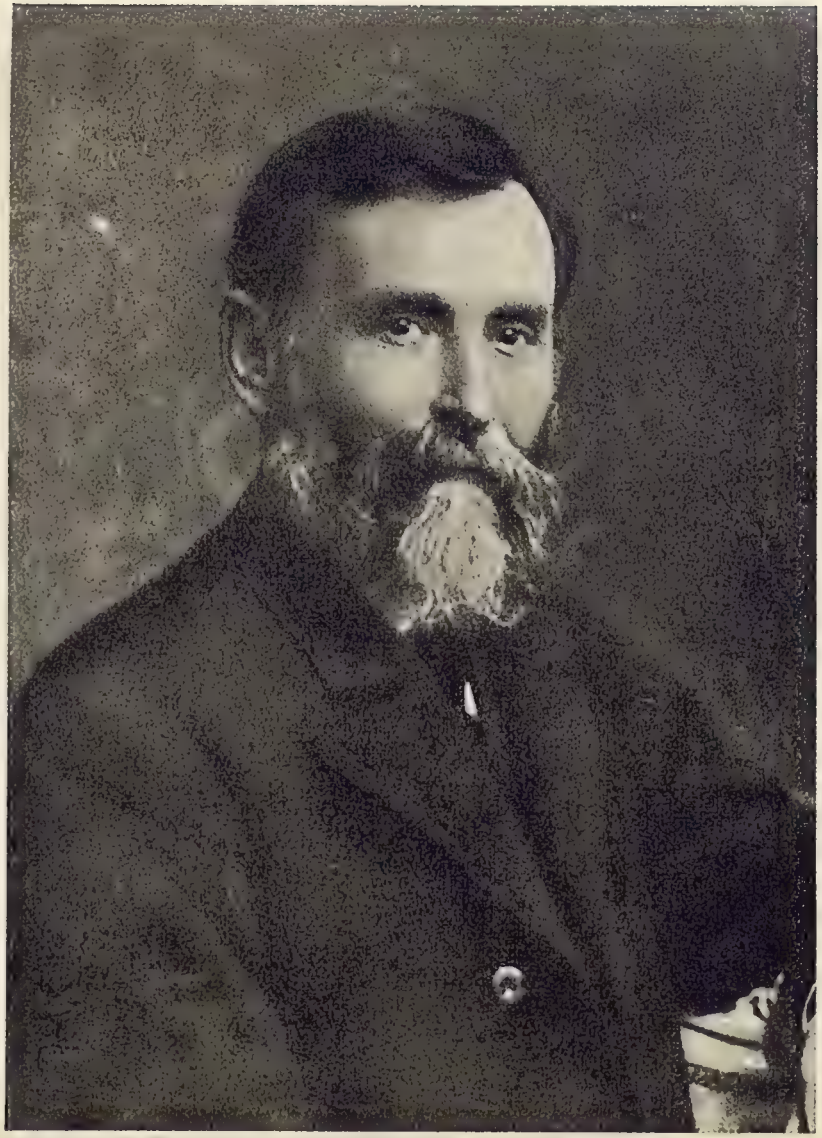
зволяет ему последние годы проявлять изумительную энергию, в форме публичных выступлений, как в Москве, так и в других городах. Делясь своими воспоминаниями, он знакомит рабочую и учащуюся молодежь с деятельностью революционных партий 1870—1881 гг. и вместее с тем выявляет свой собственный образ человека, до конца преданного революционному делу и интересам трудящихся.

Однако, память о том, что он *получил свое первоначальное образование* в уездном училище и в гимназии родного города *бесплатно,* не умирает в нем. Осенью 1927 г., посетив в Ставрополе 9-ю школу 1-й ступени, которая помещается на *Мутнянской* улице, как-раз там, где М. Ф., некогда учился сам, он начал оказывать поддержку этой школе и обещал материальную помощь, если при школе будет организован ремесленный класс, а в случае невозможности этого,—расширено то ремесленное училище, которое уже существует в городе, но не может удовлетворить всей потребности населения в изучении ремесл. Любопытно, что в последнем случае М. Ф. ставит условием, чтобы туда принимались ученики, кончившие *Мутнянскую* школу.

М. Ф. причастен к литературному труду: его брошюра «Милость» была написана им вскоре после выхода из Шлиссельбургской крепости и описывает режим в Алексеевском равелине. А его «Воспоминания семидесятника» составляют главный труд, напечатанный три года тому назад [1]).

---

[1]) Изд. Общ. Политкаторжан. М.



М. Фроленко.

М. Новорусский.

Михаил Васильевич Новорусский.

(Род. в 1861 г., умер в 1925 г.).

Михаил Васильевич Новорусский вышел из среды того низшего сельского духовенства, жизнь которого по материальным и моральным условиям мало чем отличается от жизни нашего крестьянства.

Его отец был псаломщиком в селе Новой Руссе, Демянского уезда, Новгородской губ.; там в сентябре 1861 г. и родился М. В. Вся домашняя обстановка его была чисто крестьянская, с обилием нужды и всяких горестей. Детей было 13 человек (из них от болезней умерло семеро); М. В. был не из старших, но, как и во всякой крестьянской семье, ребенком ему приходилось няньчить младших братишек и сестру. Порой это так досаждало ему, что у него осталось воспоминание, как от всей детской души он желал смерти одному из своих питомцев и как горько потом плакал и упрекал себя за злые пожелания, когда смерть действительно унесла докучливого братишку, мешавшего ему играть на улице. Нужда, при обилии детских ртов, была так велика, что каждый кусок был на счету, и старая ворчливая бабушка, присматривавшая в избе во время работ родителей в поле, отравляла жизнь вечно голодным ребятам своей воркотней и попреками за неутолимый аппетит.

Первоначальное воспитание М. В. получил, как все деревенские дети,—на улице. С целой ватагой сверстников он

рыскал по полям и болотам, проводя целые дни в лесу или на реке и вообще вел жизнь естественного человека, как ведут заброшенные дети наших сел и весей. Эта нищета и вечная забота о завтрашнем дне, царившая дома, жизнь в тесноте и удушьи, исполненная мелких хозяйственных дрязг, рано раскрыли перед М. В. всю оборотную сторону человеческого существования,—и он вышел закаленным против всяких материальных невзгод и глубоким реалистом, для которого иллюзий, кажется, не существовало. Кроме того, из него вышел человек труда, не знающий не устали, ни апатии, ни даже передышки. Побратимство или, лучше сказать, полное слияние в детстве с окружающей средой тоже наложили на М. В. свою печать, дав ему полное знание народа. Но с виду, пожалуй, холодное и критическое отношение к деревенскому люду, вынесенное из близкого сношения с обнаженным от всяких прикрас мужиком, скрывает в нем грубокую сдержанную любовь к этим пасынкам жизни. Выйдя из духовного сословия, М. В. прекрасно знает и эту среду, в которой тени едва ли не больше, чем во всяком другом сословии, но все недостатки и темные стороны не погасили в нем любовного отношения к этому своеобразному мирку. Самого поверхностного знакомства с М. В. было достаточно, чтобы открыть это подводное течение в его душе.

Подготовленный старшими братьями, он был свезен на савраске в Старорусское духовное училище со скудным запасом необходимой одежды и небольшим гостинцем для ублажения ближайшего начальства. Оттуда, как потом и из семинарии, он возвращался домой на каникулы пешим ходом, чтобы снова окунуться в домашнюю тесноту и деревенский простор.

Оттого его связь с деревнй, с ее жителями, бывшими товарищами игр, уцелела, и по выходе из Шлиссельбурга при посещении родных мест, деревня встретила его трогательным приветом, как плоть от плоти своей. Его бывшие

товарищи устроили ему встречу, ясно показавшую, что память о нем все время сохранялась, и загадка о его судьбе не осталась ими неразгаданной.

Дальше я скажу словами самого М. В.

«По обычаю своих предков, я проходил всю духовную школу, по всем трем этажам—духовное училище, семинарию и академию. При этом с 17 лет учился и содержался на казенный счет и, таким образом, в общей сложности около 28 лет [1]) состоял государственным пенсионером... Мальчик я был способный и шаловливый; но последнее свойство вытравила школа, а первое — направила на свойственную ей схоластическую дорогу. Один мой либеральный товарищ по семинарии даже прозвал меня «Ортодоксией», а некоторые, сверх того, звали «Мистиком». В таком звании я и был отправлен в 1882 г. на казенный счет в академию (в Петербург). Ехал я туда с тайным намерением принять «иноческий сан», но встретил там дух, мало подходящий для осуществления такого намерения, и хотя вскоре этот дух переменился, но для меня уже было поздно, ибо червь сомнения и критики прочно внедрился в меня с первого же года. Тем не менее, до 1885 г. я учился, как самый заправский студент академии, не имея вовсе знакомых в столице. Лишь с этого года я выступил на сцену общественной жизни, сначала, как один из организаторов рассыпавшегося новгородского землячества. В 1886 г. организовался в Петербурге «союз землячеств», в котором я состоял в качестве депутата от своего землячества. Но чем-либо серьезным этот «союз» себя не проявил, если не считать панихиды по Добролюбове в 25-ю годовщину его смерти, 17 ноября 1886 г., когда перед Волковым кладбищем собралось до тысячи человек учащейся молодежи. В полицейских кругах этой демонстрации (панихида не была допущена) приписывали какое-то особое зна-

---

[1]) Считая и содержание в тюрьме в течение 18½ лет.

чение, судя по тому, что ей отводилось место даже в нашем обвинительном акте.

В 1886 году я кончил академию в звании кандидата и, как один из наиболее преуспевших, был оставлен при ней в качестве «профессорского стипендиата», для приготовления к занятию кафедры. В этих видах я написал магистерскую диссертацию, на каковой и застал меня арест 3 марта 1887 года.

На союзных земляческих собраниях я познакомился с А. И. Ульяновым, но никаких конспиративных дел с ним не имел вплоть до 7 февраля 1887 г., когда он обратился ко мне с просьбой—позволить ему приготовить в моей квартире недостающие 3 фунта динамита. Подробностей организации этого дела излагать здесь не буду, скажу только, что динамит был приготовлен, а лаборатория осталась у меня и была арестована вместе со мною, по указанию Канчера, судившегося вместе с нами и выдавшего моих товарищей.

Как видите, никакой роли в жизни я сыграть не успел—ни общественной, ни революционной. И хотя сидел 18½ лет под знаменем борьбы за торжество освободительных и прочих идеалов, но всегда конфужусь, когда вижу свое имя на ряду с настоящими борцами...

Политическое воспитание я успел получить только в Шлиссельбурге, благодаря необыкновенной любезности П. Н. Дурново, ковавшего тогда карьеру на наших спинах и отправившего меня туда дозреть и сформироваться.

Мои экономические понятия не шли дальше беспочвенных симпатий к мужику и трудящемуся люду вообще,—симпатий, частью унаследованных с детства, частью вынесенных из народнической литературы. На долю последней, в частности, нужно отнести идеализацию общины, как особого уклада русской народной жизни, могущего послужить базисом для реорганизации всего экономического строя на трудовых началах. Об этой реорганизации мы немало мечтали

в своем кружке в академии, не уходя, впрочем, дальше утопического прекраснодушия».

Дело, по которому судили М. В., состояло в приготовлении покушения на жизнь императора Александра III. Главные участники с бомбами в руках были 1 марта 1887 г. взяты на улице. Один из арестованных сигналистов—Канчер—выдал все и всех и помог создать процесс 15-ти революционеров, которые все и были приговорены в мае того же года к смертной казни. Но из них восьмерым суд ходатайствовал заменить смертную казнь другими видами наказания. В числе их не был М. В. Из остальных семи казнили — Андреюшкина, Ульянова, Генералова, Шевырева и Осипанова, а Новорусского и Лукашевича заключили бессрочно в Шлиссельбургскую крепость, где они и оставались до 29 октября 1905 г.

М. В., действительно, прибыл в Шлиссельбург, как он сам справедливо говорит, человеком несформировавшимся и совсем неподготовленным к участи, которая обрушилась на него, подобно лавине. Как еще лишь о немногих узниках Шлиссельбурга, о нем можно сказать, что вполне образовался и развился он в стенах этой крепости. Он прекрасно и всесторонне, насколько допускали возможные в тюрьме образовательные средства, воспользовался тюремным досугом и пополнил свое крайне узкое семинарское и академическое образование. Не раз впоследствии он удивлялся прежнему полнейшему неведению хотя бы во всей обширной области естествознания, а также и социологии. Зато потом ни одна научная отрасль, кроме разве высшей математики, не была чужда ему. Из наук, кроме естественных (ботаники, зоологии, минералогии, физиологии и психологии, геологии и палеонтологии), М. В. немало времени отдавал статистике и не раз писал очень удачные, хотя и не лишенные парадоксов, статьи по тому или другому общественному вопросу, иллюстрируя его статистическими данными. Вместе с тем в тюрь-

ме его мысль расширилась и окрепла, и из неопределенного, расплывчатого миросозерцания у него выработалась цельная продуманная система. Быть может, она несколько односторонняя, но в этом уже виноваты ненормальные условия тюрьмы, где влияния жизни не смягчают увлечения доктриной: М. В.—убежденный экономический материалист, часто впадающий в крайности, от которых люди той же школы, жившие на свободе, уже отказались.

В нашем крошечном тюремном мирке, где все человечество воплощалось в последнее десятилетие в 12—13 сотоварищах, М. В. был чуть ли не самым неутомимым и продуктивным работником по всевозможным отраслям.

Ремесла (столярное, токарное, переплетное) он изучил превосходно, и его трудоспособность в них была изумительна. По временам он давал мне список вещей, сделанных в течение полугода. Просматривая этот перечень, я могла только восклицать: «У вас, М. В., золотые руки!»—такое множество вещей созидал он, и притом всегда в возможной степени совершенства. Как коллекционеру (по ботанике, энтомологии, минералогии), ему в нашей тюрьме, по всей справедливости, принадлежит пальма первенства. Когда мы одно время работали на подвижной музей, никто не мог превзойти этого несравненного труженика по обилию собранного и обработанного им материала, по его неистощимой и неоскудевающей энергии.

Прекрасные коллекции, вывезенные им из Шлиссельбурга, известны широкой публике, так как украшают музей революции в Зимнем дворце. Наша тюрьма единодушно удивлялась самодеятельности, настойчивости и предприимчивости М. В. по части разных технических производств. Он чинил часы, органчики, физические приборы и всевозможные предметы, повидимому, совсем погибшие, но которые несли к нему разные служащие,—и он делал над ними чудеса, возвращая все в наилучшем виде. Не раз он смешил нас своими

предприятиями, выделывая картофельную муку для киселя и приготовляя патоку из нее, выращивая цикорий и производя удивительные ягодные вина (из вишни, малины, черной смородины); раз сделал даже изюм в вентиляторе из кисти винограда, попавшей как-то к нам на пасхе, и вообще был настоящим Колумбом при нашем скудном бюджете. Собирался заняться шелководством и хотел для этого засеять огород скорцонерой, чтобы кормить ею шелковичного червя, вместо листьев тутового дерева, но температура тюрьмы, годная для нас, оказалась невыносимой для этого нежного созданья, и проект остался неосуществленным.

Новорусский провел все 18½ лет заключения, усиленно работая головой и руками, гармонически сочетая умственный и физический труд. Кажется, у него не пропадала бесплодно ни одна минута тюремной жизни. И этот труд помог ему не только жить в тюрьме, но и выйти из нее человеком в полном обладании духовных и физических сил.

Если в Шлиссельбургской крепости Михаил Васильевич обнаруживал недюжинную предприимчивость и громадную трудоспособность, то, по выходе на свободу, развернул всю свою энергию и за годы, истекшие после освобождения, произвел совершенно необычайное количество работ.

Сферой его деятельности не была политика. Социал-демократ по своим основным убеждениям, вначале он тяготел к с.-д. партии, но раздоры, происходившие в ней, не позволили ему принять участие в делах, и он отдался культурно-просветительной деятельности, как это будет видно из нижеследующего рассказа, составленного по сообщенным им данным.

Когда 29 октября 1905 г. из Шлиссельбурга М. В. привезли в Петербург, он оставался в Петропавловской крепости три недели. Затем, по просьбе митрополита Антония,

видевшего его при посещении нас в Шлиссельбурге и принявшего теперь в нем участие, его препроводили сначала в покои митрополита, а потом в Выборг к архиепископу финляндскому Сергию, у которого на отдельной даче он и прожил около пяти месяцев. Интерес духовных сановников к освобожденному шлиссельбуржцу об'ясняется происхождением М. В. от лица духовного сословия, а также тем, что образование он получил в учебных заведениях духовного ведомства, пройдя всю градацию их, до Петербургской духовной академии включительно.

О впечатлениях, которые М. В. испытал на первых шагах новой жизни, он писал мне 12 ноября 1905 г.

«Я давно уже не страдал, выражаясь натуралистически, расслаблением слезных желез (28 сентября 1904 г. не в счет) [1]), а вот теперь ни одной газетной страницы не прочитать без того, чтоб не брызнули слезы, не захватило дыхания и не забегать, как сумасшедшему, из угла в угол. Так и хочется крикнуть: «господи, наконец-то мы дождались этого!».

Не пишу вам ни как мы ехали, ни как жили без вас. Напишут другие, а, может-быть, и свидание наше не за горами, хотя наша милейшая «Sancta simplicitas» [2]) обещала нам (примерно, в январе этого года), свидание с вами только в царствии небесном. Тем не менее, я должен сознаться, что я ей много обязан, ибо, благодаря ей, Антоний [3]) берет меня на поруки (за неприбытием родных) и поселяет на даче выборгского епископа Сергея где-то в Финляндии. Оттуда вы и получите мое 2-е письмо».

В другом письме от 24 декабря 1905 г. он сообщает:

«Ездил дважды в Пб., видел много всякого народа и ко всему прислушивался внимательно. И все-таки ничего не

---

[1]) Канун моего от'езда из Шлиссельбурга.

[2]) Мария Михайловна Дондукова-Корсакова.

[3]) Митрополит.

постиг, кроме общей великой истины: чтоб судить о жизни, надо самому стоять в самом пекле ее. А потому, мой друг, пока что мое «бойкое перо» ни к чему. Да мало того, и в его бойкости я крепко сомневаюсь. Когда читаешь зажигательные статьи, брызжущие молодым задором, кипящие фанатической уверенностью в истинности каждого слова, то качаешь головой в раздумьи: далеко тебе до них, и не пора ли сознаться, что ты перед ними инвалид, и больше ничего. Какой-то умный человек напечатал в «С. Отеч.», что хотя бывшие шлиссельбуржцы и обещали писать в «Былое», но еще не начали и едва ли скоро начнут, так как нужно много времени, чтоб они могли войти в норму. А «Былое»— ведь только архивная пыль.

Когда соберется компания и все мы почти сверстники, дело идет недурно. А как только являются молодые люди, так сразу стареешь перед ними и невольно чувствуешь, что если мы еще не отошли целиком в область преданий, то несомненно отнесены к другому поколению, и слиться с ними тебе уже поздно. Может быть, это поверхностные впечатления, может быть, жизнь их сгладит. Но во всяком случае нужна эта жизнь, а когда-то она для нас откроется... Но так ли, этак ли, а свои суждения о ходе дел нужно составлять иначе, и составлять их теперь преждевременно. Когда в Пб. крепости впервые мы начитались газет начала ноября [1]) и потом сходились все 8 на гуляньи, мы выглядели, как очумелые, и на всех лицах читалась растерянность. Одно утешенье, что переживаемые дни полны неожиданностей, и в такую растерянность приходится впадать не нам одним. Говорят, что московские дни были полны таких неожиданностей; и даже «революционные сферы» (как говорили в министерских кругах в начале ноября) не ожидали, что они встретят деятельную поддержку от лиц, на которых никогда не рассчитывали».

[1]) 1905 г.

В теперешнее время, столь обильное чествованиями и юбилеями, характерно отношение М. В. к этого рода празднованиям. В одном из писем, от 29 декабря [1]), по содержанию относящемуся к 1907 г., когда М. В. жил уже в Пб., а я временно находилась в Финляндии, он пишет:

«Был я вчера на «чествовании» вашего брата [2]). Из газет вы узнаете подробности. Но я сидел и думал, что если и до этого было верно, будто слава людская — дым один, то после этого такая истина стала еще осязательнее. Сколько тут было фраз, громких, горячих, может быть, искренних, но все-таки дутых. Тут были и «певец-гражданин» и «насадитель культуры», и «незабвенное имя», которое «навеки перейдет в историю», и пр. и пр. И в заключение столько лавровых венков, что нам в музее не разобрать бы их на гербарии и во сто лет... Вчера был на елке, где было до 700 детей, и чуть не разнюнился от неведомых причин».

Тем, кто выходил из долгого заточения, до этих причин добраться все же можно, прибавлю я [3]).

Оставаясь в Выборге до апреля 1907 г., М. В. писал воспоминания о Шлиссельбургской крепости, которые печатались, начиная с апреля 1906 г., в журнале «Былое», в течение почти целого года. В 1907 г. они вышли на шведском языке в Гельсингфорсе, а в 1908 г.—на немецком в Берлине. Отдельного издания при царском режиме на русском не появилось, вследствие цензурных запретов. Оно вышло лишь в 1920 г. в Гос. изд. в Ленинграде.

В апреле М. В было получено разрешение переехать в Петербург, и он поселился в здании Высшей вольной школы П. Ф. Лесгафта, где уже жил Н. А. Морозов. Петр Францевич

---

[1]) К сожалению, на всех писмах *первых* годов отсутствует год, а конверты с почтовым штемпелями я не сохраняла.

[2]) Николая Николаевича.

[3]) См. гл. «Проволочная паутина» во 2-м томе моего «Запечатленного Труда».

сначала предложил М. В. заведывать хозяйственной частью курсов, а потом перевел в химическую лабораторию в качестве лаборанта. Так было до мая 1909 г., когда М. В. женился на Пелагее Матвеевне Рыжковой, устроился своей отдельной квартирой и в звании секретаря совета принял на себя заведывание подвижным музеем Русского технического общества, тем самым музеем, для которого мы работали в продолжение 4-х лет, будучи в Шлиссельбурге.

Новые обязанности поставили М. В. в тесную связь с обществом, в ведении которого находился музей, и втянули в работу по техническому образованию: он был избран непременным членом постоянной комиссии по этому образованию, участвовал в анкетной комиссии по изучению музеев, разработал материал, собранный ею, и опубликовал статью «Музеи и их образовательное значение»; как организатор и эксперт, принимал участие на выставке «Устройство и оборудование школы» и написал для нее специальную брошюру (1912) под тем же названием, получив «медаль признательности» от технического о-ва за свои труды.

Благодаря подготовке по естествознанию, полученной исключительно в Шлиссельбургской крепости, работе в подвижном музее и в комиссиях технического о-ва, М. В. сделался настоящим специалистом музейного дела и в качестве знатока дела в последующие годы был приглашаем всюду, где требовались его знания. В одних случаях он являлся экспертом (как на всероссийской гигиенической выставке в 1913 г.); в других—докладчиком на собраниях и с'ездах (в 1909 г в Москве на всероссийском с'езде естествоиспытателей и враче; в Тифлисе—в 1913 г.); очень часто—лекторам на курсах (при университете Шанявского, на курсах, которые устраивались земствами: Петербургским, Нижегородским, Оренбургским). В 1918 г. такие же лекции по музейному делу читались им на курсах о-ва внешкольного образования и на инструкторских курсах по внешкольному образованию,

устроенных комиссариатом просвещения. Это чтение лекций продолжалось и во все последующие годы в различных высших учебных заведениях и на курсах, благодаря чему М. В. был введен официально в штат профессоров.

По мастерской наглядных пособий при подвижном музее М. В. был сотрудником, а когда она выделилась в торговое товарищество, он был избран членом правления его.

Не буду перечислять всех обществ, членом которых состоял М. В. (о-во любителей мироведения, внешкольный союз, к-т гражданского воспитания, дом-музей революции и др.); отмечу только, что в о-ве народных университетов, как председатель экскурсионной секции, в течение целого ряда лет он занимался организацией экскурсий для взрослых и очень часто лично руководил ими: более 12 раз ездил в Финляндию; в 1917 и 1918 г.г. не менее 6 раз — в Шлиссельбург, свое прежнее местопребывание, и продолжал руководство этими экскурсиями в Шлиссельбург и дальше, каждое лето. Наконец, будучи постоянным сотрудником народного дома графини Паниной, М. В. работал в организации местных выставок и в капитальном коллективном сборнике «Народный Дом» (1917) поместил статьи о музее и о кинематографе.

Заведывание подвижным музеем М. В. продолжал до 1917 г., когда в июле был назначен директором сельскохозяйственного музея [1]), которым состоял вплоть до смерти в сент. 1925 г., редактируя популярные издания этого музея по всем отраслям сельского хозяйства. Делом М. В., как директора с.-хоз. музея, было создание на Крестовском острове «живого» сельско-хоз. музея, получившего название «Учебно-показательного питомника». Там экскурсанты и учащаяся молодежь знакомятся с различными отраслями сельского хозяйства на живых образцах и показательных участках.

Помимо деятельности культурно-просветительной, с началом войны М. В. пришлось иметь дело и затратить много

[1]) Петроград, Фонтанка, 19.

времени и труда в области, касающейся русской промышленности. Когда при техническом о-ве была организована «комиссия по изучению промышленности в связи с войной», а при ней справочное бюро, М. В. заведывал этим бюро в качестве секретаря и составлял периодические бюллетени, печатавшиеся в «Записках Технического О-ва» и отдельно, а когда в 1915 г. был образован военно-промышленный комитет, то вместе с вышеуказанным бюро перешел в комитет на должность секретаря.

В мае 1917 г. военно-промышленный к-т командировал М. В. на Урал со специальной «комиссией по восстановлению нормального хода работ» в тамошних промышленных предприятиях. В июне ему, как «состоящему в распоряжении заместителя председателя», было поручено организовать под своим председательством комиссию по обследованию заводов «Респиратор», переданных вскоре к-ту «военно-технической помощи», с назначением М. В. членом правления от военно-промышленного к-та. Таким же членом он вошел в июне и в правление автомобильных заводов Пузырева [1]).

В апреле 1918 г. он стал председателем «Совета по делам ученых учреждений комиссариата земледелия» и в мае организовал при нем культурно-просветительный отдел для распространения с.-х. знаний школьным и внешкольным путем и стоял во главе его, а в 1919 г. сделался членом коллегии «Революц. музея».

Остается сказать о литературных работах М. В. Они очень многочисленны и по содержанию своему, главным образом, относятся к вопросам естествознания и лишь отчасти к педагогике и промышленности.

Он сотрудничал и в газетах, и в журналах, и в периодических сборниках, писал и издавал свои книжки сам, участвовал в редактировании. Неудивительно, что перечень, ко-

[1]) Правление не действует с января 1918 г., так как заводы перешли в руки рабочих.

торый я сделаю, будет велик, но он показателен в смысле работоспособности человека, и потому его необходимо привести. Вот список изданий, который он дал мне:

«Задушевное Слово». Текст к двум иллюстрированным изданиям Вольфа, под заглавием: а) «Уголки живой природы» и б) «Большая книга картин». Детские журналы: «Тропинка», «Солнышко», «Родник». Газеты: «Современное Слово», «День», «Речь» (1910—1915 гг. длинный ряд статей о всех научных новостях, открытиях, изобретениях). Журналы и сборники: «Север», «Природа и Люди», «Голос Жизни», «Новый Журнал для Всех», «Заветы», «Современный Мир», «Голос Минувшего», «Ежемесячный Журнал», «Жизнь за Неделю», «Жизнь для Всех», «Школа для Всех», «Свободное Воспитание», «Образование», «Русская Школа», сборник: «Знание», «Вопросы мировой войны» (сборник), «Энергия» (сборник), «Известия Центр. Военно-Промышл. К-та», «Поверхность и Недра», «Производительные силы России», «Вестник Технического и Коммерческого Образования», «Ежегодник Речи», «Спутник Кооператора».

Перечень литературных работ М. В. так велик, что он шутливо говорил: «в иной год я исписывал бумаги больше, чем другие во всю жизнь».

Вот список книг и отдельных брошюр, которые написаны им:

1) «Грибы» (2 изд.), 2) «Земля и ее жизнь» (2 изд.), 3) «Жизнь почвы» (2 изд.), 4) «Незримая жизнь почвы» (2 изд.), 5) «Почва», 6) «Что делать народному учителю», 7) «Приключения мальчика меньше пальчика», 8) «Как я высидел цыплят», 9) «О сахаре» (чем заменить его), 10) «В яйце—наше довольствие» (листовка), 11) «Как произошли наши животные» (листовка), 12) «Известь», 13) «История снежинки», 14) «Записки шлиссельбуржца», 15) «Замок Неволи» (сказка), 16) «Путеводитель по Шлиссельбургу», 17) «Тюремные Робинзоны» (вышедшие уже после смерти

М. В.), 18) «Основы современного мировоззрения» и 19) «Экскурсия в сельское хозяйство».

Кроме того, в последнее время М. В. по поручению Ленгиза редактировал составлявшуюся русским техническим обществом крестьянскую популярную библиотеку по различным ремеслам и производствам. Покойный был большим знатоком различных ремесленных работ.

Работе по составлению крестьянской библиотеки М. В. Новорусский уделял большую часть своего времени. Им было выпущено свыше 40 брошюр этой библиотеки.

После революции отнимали много времени и сил у М. В. поездки с экскурсиями в Шлиссельбург. Интерес к последнему с течением времени все усиливается: все новые и новые массы втягиваются в познание истории революционного движения и их влечет к посещению этого исторического застенка. Летом почти в каждый праздник идет в Шлиссельбург специальный большой пароход, набитый экскурсантами, главным образом, рабочими. Иногда таких пароходов бывает два. И каждый раз М. В. приходилось в течение 4 и более часов вести на открытом воздухе беседы с многосотенной аудиторией, желающей услышать от него, бывшего узника Шлиссельбургской крепости, повесть о тех, кто был заключен в нее и погиб от жестокого режима нашей Бастилии.

Вообще, М. В. работал слишком много, и читатель, прочитав очерк его жизни, наверное согласится, что многие во всю жизнь не могли бы сделать столько, сколько М. В. сделал после того, как вышел из своего более чем 18-летнего заключения. А когда я говорила ему о необходимости отдыха, он ссылался на эти 18 лет и отвечал: «Мне надо наверстать 18 лет бездействия».

И если бы не преждевременная смерть, прервавшая его разностороннюю деятельность, он при своей бодрости и энергии мог бы еще много сделать в будущем.

Но 21 сент. 1925 г., в условиях, казалось, удовлетворительного здоровья, он скончался от кровоизлияния в мозгу. Это произошло в отсутствие любимой жены и сына, находившихся на юге. Тяжело ему было уходить из жизни, не видя около себя тех, кому он был предан безгранично.

Иосиф Дементьевич Лукашевич.

(Род. в 1863 г., ум. в 1928 г.).

Иосиф Дементьевич Лукашевич родился в год польского восстания, 1 декабря 1863 г. Его отец, польский помещик Виленской губернии [1]), хотя и не принимал активного участия в восстании, однако, настолько был разорен военными реквизициями, что не мог дать старшему сыну (ныне уже умершему) даже среднего образования: содержание в гимназии было не по силам семье. Когда подрос Иосиф, обстоятельства несколько улучшились, но все-таки уже с V класса Виленской классической гимназии, в которую он поступил в 1875 г., и далее во все время студенчества Иосиф Дементьевич содержал себя сам репетиторством. Ранняя необходимость и привычка стоять на собственных ногах имела громадное воспитательное значение для всей духовной личности И. Д. Она создавала из него то, что англичане зовут: self-made man: человека самостоятельного, самодеятельного, трудолюбивого и с громадной работоспособностью. В детстве И. Д. был окружен условиями, способствовавшими развитию в нем любви к естествознанию. Он жил в деревне, вблизи природы; его отец был любителем садоводства и цветов, и от него И. Д. ребенком приобрел знакомство со множеством расте-

---

[1]) Имение Быковка, близ Вильны.

ний и отчасти овладел их номенклатурой; его кузен умел набивать чучела птиц и передал это искусство и И. Д.; тогда же зародился в нем интерес к жизни животных и любовь к ним. В III классе гимназии старая технология, взятая в библиотеке, возбудила в его любознательном уме ряд вопросов по химии, и в этом отношении приобретение в IV классе у букиниста маленькой химии Роско составило для его умственного развития целую эпоху, раскрыв совершенно новый мир, касающийся строения простых и сложных тел природы. С тех пор и навсегда химия стала для И. Д. одной из самых любимых наук. По его собственному признанию, никакая книга не доставила ему «столько радости», сколько дала эта маленькая книжка, приобретенная в детстве. Возбуждая мысль и давая теорию, она предлагала опыт для проверки того или другого положения, и вот потребовалась своя маленькая лаборатория, чтобы проделать всевозможные реакции. Товарищ Иосифа Дементьевича по гимназии Соболевский, который и после оставался его другом, помог ему в осуществлении этого плана и научил владеть паяльной трубкой, после чего И. Д. с жаром принялся за опыты по химии и пиротехнике. На ряду с этим постепенно он купил микроскоп, электрическую машину, волшебный фонарь и т.п. Все это составило практическую школу, где среди удач и неудач приобреталось уменье обращаться с инструментами и развивалась способность изобретать и приспособлять средства для эксперимента. В этой школе И. Д. учился самодеятельности, умению ориентироваться при затруднениях и впервые получил технические навыки, столь необходимые для натуралиста и в полном блеске развитые им впоследствии в Шлиссельбурге.

Рядом с практической деятельностью шли и теоретические занятия, и, будучи еще гимназистом, И. Д. прочел много хороших книг как по естествознанию, так и по наукам общественным (Фогт, Бюхнер, Леббок, Джевонс, Д. С. Милль

и др.), так что ко времени поступления в университет имел уже вполне достаточную подготовку.

В 1883 г. И. Д. кончил гимназию и уехал в Петербург, где и поступил на естественный факультет. Он проходил курс за курсом с блестящим успехом, так как обладал превосходными способностями и никогда не ограничивался одними лекциями. Черпая знание, по возможности, из первоисточников и прекрасно овладев методами научного исследования, он обращал на себя внимание профессоров, и, повидимому, ему предстояла блестящая научная карьера.

Но в марте 1887 г., когда до окончания университетского образования оставалось всего несколько месяцев, он был арестован, судим и в мае того же года заключен в Шлиссельбургскую крепость на каторгу без срока.

Политическая карьера человека, в 23 года попавшего в Шлиссельбург, не могла быть продолжительной и сложной. Еще в VIII классе гимназии Лукашевич познакомился с нелегальной литературой, польской и русской. Она произвела на него глубокое и решающее впечатление. Почву для этого приготовила сама жизнь. Воспоминания детства и семейные традиции после 1863 года; недовольство и обида у самого семейного очага; общее брожение и ожесточение в Польше и Литве, придавленных русским сапогом со шпорой; преследование польской речи в гимназии, принудительные молитвы на русском языке и вынужденное посещение православных храмов в праздник; бессмысленные и бестактные обыски на общих квартирах учеников такого возраста, что сыщики-педагоги могли находить у них только детские игрушки... Разве всего этого не было достаточно, чтобы взрастить оскорбленное чувство патриота и горячее сердце революционера?

Поступив в Петербургский университет, И. Д. тотчас же попал в студенческий кружок самообразования, занимавшийся изучением политической экономии и конституцион-

ного строя западно-европейских государств и С. Америки, а потом—в землячество, в котором состоял кассиром. В этот период его жизнь не выходила из рамок деятельности выдающегося студента, сочувствующего революционным идеям и горячо относящегося ко всем студенческим делам. Но в 1885 г. он познакомился и близко сошелся со студентом Шевыревым, который впоследствии был казнен. Этот выдающийся человек, о котором, к сожалению, очень мало известно в революционном мире, был энергичным агитатором и организатором.

Университетская молодежь, пылкая и увлекающаяся, представляла, как всегда, широкую арену для заведения многочисленных знакомств и связей. И вот Шевырев, соединившись с Лукашевичем, мобилизовал студенчество на разного рода кружках и организациях с тем, чтобы потом об'единить все годные элементы на чисто революционном деле.

В это время партия «Народная Воля» настолько потеряла свои главные силы, что, по свидетельству Иосифа Дементьевича, революционной молодежи университета не к чему было пристать, и организация, задуманная Шевыревым в 1886—87 году, должна была начинать дело совершенно самостоятельно, на собственный риск и страх. Эта организация, во главе которой стали Шевырев, Лукашевич и третий замечательный по уму и способностям студент—Ульянов, считала, как и «Народная Воля», достижение политической свободы первой задачей революционной партии, а средством признавала политический террор, для чего предполагалось организовать целый ряд боевых групп, для каждого террористического акта отдельную.

Мало-по-малу к задуманной организации стали стекаться материальные средства и молодые силы, предлагавшие свое содействие и услуги. Была устроена типография, паспортный стол и динамитная мастерская; организована

первая боевая группа из 6 человек с Осипановым во главе и намечены вторая и третья. Организация предполагала повторить 1-е марта и приготовила бомбы нового образца, отступавшего от завещанного Кибальчичем и Исаевым. Члены первой боевой группы—три метальщика и три сигналиста—были расставлены по определенному плану на Невском проспекте 1-го марта 1887 г., в ожидании проезда Александра III, и... на месте задуманного действия все шестеро арестованы... Оказалось, что сыщики выследили заговорщиков благодаря надзору за Андреюшкиным, который был одним из действующих в этот день лиц.

Сигналист Канчер, впоследствии на Сахалине покончивший с собою, выдал после ареста все, что знал, указав, между прочим, и на Иосифа Дементьевича, как на участника в подготовлении покушения. Немного спустя назначен был суд над 15-ю лицами; из них семь человек были приговорены к смертной казни. Перевезенные в Шлиссельбург Шевырев, Ульянов, Андреюшкин, Осипанов и Генералов были там повешены, а для Лукашевича и Новорусского началась каторга без срока.

Наши революционные партии только в новейшее время приобрели широкое основание в народных массах. До конца 80-х годов движение охватывало сравнительно небольшой слой интеллигенции, вышедшей из среды небогатого дворянства и буржуазии, да отдельные кружки рабочих. Идеология упреждала жизнь; люди с пробудившимся сознанием, одушевленные альтруистическими идеалами и потребностью в свободе, боролись один-на-один за лучшее будущее. Остальное население молча наблюдало, аплодировало или, задавленное нуждой, жило своею жизнью и было даже плохо осведомлено о том, во имя чего вверху происходит битва... Итак, среди гробового молчания сошла со сцены «Народная Воля», а попытка Шевырева и Лукашевича была последней зарницей, завершившей определенный период в эволюции революцион-

ного движения, после чего оно опустилось, так сказать, на дно, чтобы, совершив там громадную революционно-культурную работу и пользуясь приобретениями, которые приносило само время, разлиться бурным потоком в дни революции 1905 г.

В Шлиссельбурге Иосиф Дементьевич пробыл 18½ лет, которые посвятил, главным образом, умственному труду.

«Когда меня привезли в Шлиссельбург,—пишет он,—настроение у меня было угнетенное от всего пережитого мной... На первых порах я не имел книг, и меня даже не выводили на прогулку. Тогда я занялся одним вопросом, относящимся к кубатуре тел. Я знал, что существует замечательная зависимость между поверхностями и об'емами, с одной стороны, и положением центра тяжести вращающихся линий и площадей, с другой.

Но на каком основании существует такая зависимость, мне было неизвестно, и потому я взялся доказать эту зависимость для всяких фигур и линий, а также разыскать центры тяжести различных линий, напр., дуги круга, что и сделал при помощи элементарной математики. Позднее мне пришлось делать изыскания в области молярной энергии. Я еще не знал, насколько здесь приложимо учение о потенциале, а также не знал, какие результаты должен получить в данной области. Словом, мне приходилось самому выводить ряд положений и формул относительно потенциала. Когда впоследствии мне удалось добыть «Теорию потенциальной функции» Шиллера, то, сверив результаты, полученные мной, с данными, приведенными у Шиллера, я увидел, что они тождественны. Это укрепило во мне доверие к своим силам».

Таковы были первые шаги. Затем, по мере того, как в тюрьму в различное время и из различных источников, без всякой последовательности и системы, притекали учебники и научные книги, запас знаний Иосифа Дементьевича расширялся все больше. Но, по мере того, как эти знания накопля-

лись, все сильнее чувствовалась потребность в их систематизации, и вопрос об'единения знания, сведения положений отдельных наук в цельную систему (т.-е. научная философия) все больше и больше поглощал его внимание.

«По складу своего ума,—пишет он,—я менее всего мог удовлетвориться изучением и усвоением какой-либо из существующих философских систем, так как разлад между имеющимися у меня сведениями и готовыми положениями той или другой философемы необходимо заставлял работать мою мысль над тем, как избежать противоречий и непоследовательности в своем мировоззрении. Чем шире становился мой кругозор, тем яснее обрисовывалась невозможность уложить мои сведения в рамки какой-либо из существующих философем, и вследствие этого у меня постепенно созревала мысль попытаться самому синтезировать знание, тем более, что в переживаемое время философская мысль в передовых странах направлена по преимуществу на разработку истории философии и критику, а не на синтетическую работу. Это и побудило меня написать курс научной философии (в 7 томах), и значительная часть этой работы уже выполнена (1906 г.). Общий план моего сочинения (по духу наиболее близкий к системе Спенсера и Огюста Конта) таков: Том I. Общие начала философии. Том II. Общий обзор точных наук (математика, геометрия, механика, физика, химия, астрономия). Том III. Неорганическая жизнь земли, совокупность процессов, имеющих место в неодушевленной природе. Том IV. Органическая жизнь земли (биология). Том V. Отправление нервной системы (психология). Том VI. Учение об организованной деятельности. Том VII. Учение об обществе (социология)».

Если через все сочинение И. Д. проводится единая точка зрения, то, с другой стороны, каждый том представляет самостоятельное целое и может служить введением в отдельную область знания. Но это не простое механическое

об'единение уже готовых знаний, напротив, каждый том заключает известный элемент новизны, так как об'единение требует новых гипотез и новых положений.

Так, во II томе Иосиф Дементьевич об'ясняет лучистую энергию, не прибегая к содействию гипотетического эфира, и показывает, каким образом и без конкретного существования последнего можно вывести прямолинейное распространение световых, тепловых и других лучей, их отражение, преломление, поляризацию, интерференцию и т. д.

В III томе разработан генезис горных пород в зависимости от их положения в земной коре. В IV—уделено много внимания механизму происхождения целесообразных организаций без участия естественого подбора (напр., отчего появились клапаны в сердце и венах); выясняются характерные особенности жизненной энергии и т. д.

V том достиг, по словам И. Д., «очень крупных размеров, во-первых, потому, что психология имеет особенно важное значение для философии, и, во-вторых, потому, что широко распространено ошибочное мнение, будто анатомия и физиология мозга ничего существенного не могут дать психологии и будто между психическими и нервными процессами лежит непроходимая пропасть». «Я показываю,—продолжает он,—что господствующее параллелистическое учение в психологии несостоятельно; что между суб'ективными сознательными процессами и нервными имеются плавные переходы через бессознательные психические явления; что суб'ективные сознательные явления по своим основным свойствам (как единство сознания, память и воспоминание, самодеятельность воли etc.) тождественны не только с нервными процессами, но и с жизненными вообще (отличаясь от них не качественно, а количественно); что жизненная энергия имеет такую же самостоятельность, как и другие виды энергии—теплота, электростатическая энергия, кинетическая, молярная etc., и показываю, как *количественно* измерить ее в абсолют-

ных единицах. Одним словом, провожу мысль, что психические процессы представляют только своеобразную часть нервных процессов вообще, и потому изучать их совершенно отдельно от последних не приходится. Далее указываю, что знание анатомии и физиологии нервной системы не только существенно необходимо для психолога, но что оно дает ценные данные для теории познания. Указанная точка зрения об'ясняет, почему я подвожу психические явления под отправления нервной системы».

«Том VI заключает в себе учение об организованной деятельности (беспорядочная деятельность и деятельность по определенным правилам или организованная — наследственная и традиционная; инстинкты, нравы, обычаи; борьба, хищничество, паразитизм, симбиоз и т. д.). Этот том потребовал очень много синтетической работы, так как учение о структурных деятельностях вовсе не разработано, а без знания происхождения, развития, поддержания и угасания структурных деятельностей нет возможности построить социологию на научных основаниях. Для социолога человек—не простейшая единица, с которою ему приходится иметь дело, а комплекс структурных деятельностей. Кроме выяснения того, что такое общество и общественная организация, каковы типы общественных организаций, я уделяю много места фактической истории развития общества и государства».

Из перечисленных томов «Элементарных начал научной философии» к 1906 г. были готовы: III, IV, I часть V тома и большая часть VII. По остальным написаны части и отделы, поскольку было возможно в Шлиссельбурге, и подготовлен материал для завершения труда.

Да! поскольку было возможно в Шлиссельбурге. А когда Лукашевич вышел оттуда и мог бы свободно отдаться научной работе и, поселившись где-нибудь в центре умственной жизни—в России или за границей—войти в общение со све-

тилами науки, посещать лучшие университеты, библиотеки и музеи, он был прикован к жалкой деревушке Виленского уезда, без права выезда оттуда. Ему была дана свобода—без свободы, отвлеченная возможность работать на научном поприще—без возможности фактически осуществить это... Тщетно петербургская Академия Наук, на основании отзыва Овсянникова и Карпинского о V томе сочинения Лукашевича («Отправления нервной системы»), хлопотала в министерстве внутренних дел, чтоб ему разрешили жить в Петербурге для продолжения научных работ, а литературный фонд и Шлиссельбургский комитет помощи бывшим узникам обеспечили стипендию на случай поездки за границу для той же цели. Он оставался в глуши, где условия для занятий наукой были почти те же, что и в Шлиссельбурге.

А между тем, Иосиф Дементьевич находился в полном расцвете физических и умственных сил. 18-летнее суровое заточение не сломило его могучего организма. Грандиозная по росту и телосложению фигура с красивой головой, способной возбудить внимание во всяком собрании людей, не даром породила рассказ, будто один из комендантов Шлиссельбургской крепости (Обухов) нарочно заходил в камеру Лукашевича, чтобы полюбоваться на него. Крупные, правильные черты, здоровый, нежный румянец и доброе, мягкое выражение были характерны для лица И. Д., а его карие глаза отличались необычайной, почти детской прозрачностью, что хорошо гармонировало с застенчивостью и скромностью, которые бросались в глаза при первом же знакомстве с ним. Ровного характера, всегда здоровый и бодрый, живой, веселый, он в Шлиссельбурге поражал своей жизнерадостностью, пронесенной через все испытания тюремной жизни. По своим манерам и приемам, учтивости и услужливости он был истинный джентльмен, неспособный ни на какую грубость. Дружная, культурная семья дала ему эти дары. В области науки И. Д. был осмотрителен и принимал

все лишь после тщательной критики, взвесив все «за» и «против»: его ум был холоден, как и следует для ученого. Но в его душе таились искры пылкой ненависти и революционной страсти. В политике это был боец и полемист, увлекающийся, агрессивный, упрямый и не желающий сдаться. Трудно было найти больший контраст между ним, как ученым, сидящим над грудой книг, и членом партии, сыном своего народа—в бурном споре за политические убеждения. Но этот огонь таился в глубине, и нужны был особенные условия, чтобы пламя вырвалось наружу.

Научные знания Иосифа Дементьевича поражали своею точностью и определенностью. В области усвоенного у него не было колебаний, которые так неприятны в диллетанте: то, что он знал, он знал вполне, и так как его сведения обнимали всю область естествознания и точных наук, то повседневное общение с ним было чрезвычайно приятно и плодотворно: чего ни коснись—от него, бывало, всегда получишь добросовестный и точный ответ. В конце-концов это чаровало. Большинство богачей скупы, но И. Д., будучи богачом по своим талантам и знаниям, отличался увлекательным, широким альтруизмом. В течение многих лет в Шлиссельбурге он был неистощим и неутомим в помощи товарищам на поприще приобретения всевозможных знаний. Ранняя педагогическая деятельность, когда ему, еще гимназисту, а потом студенту, приходилось одновременно и самому учиться, и других учить, выработала из него превосходного преподавателя. Когда, то в одном, то в другом дворике Шлиссельбургской крепости, он читал для маленькой аудитории лекции по ботанике и зоологии, кристаллографии и кристаллооптике, или с кем-нибудь занимался аналитической химией, гистологией, психологией, философией, нельзя было не думать с горечью о том, что его место на профессорской кафедре, где его ясное и сжатое красноречие, простота и наглядность изложения, искусство экспериментатора—все да-

ры чудного лектора—сделали бы его кумиром студенчества. Обреченный на тесное заключение, он использовал в нем с изумительным трудолюбием все, что только попадало в руки узников из научного материала, и то, что приобретал, щедрой рукой и с самой милой, товарищеской любезностью отдавал и предлагал другим, не жалея ни труда, ни времени.

Разносторонность Иосифа Дементьевича феноменальна. В детстве от отца, который был любителем-живописцем, он научился владеть кистью, и в Шлиссельбурге было занимательно и забавно наблюдать, как иногда на прогулке, стоя у решетки забора, он учил рисовать масляными красками (на картоне и на стекле), акварелью и пастелью, и под его искусной рукой выходили то типичный портрет бюрократа с бакенами котлеткой, то хорошенькая головка молодой девушки, то красивый полевой цветок или птичка. Из дерева, для занятий с товарищами, он приготовлял кристаллографические модели, а из воска—модели человеческого мозга, изящные фигуры морской звезды, сальпы и т. п.; делал остроумные приборы и приспособления по электричеству, оптике, а каждую осень и весну набивал целые десятки чучел птиц. Очень много времени отнимало у него определение насекомых и растений, особенно из тайнобрачных (грибы, водоросли, лишайники, мхи). Его коллекции по энтомологии и споровым растениям облегчали коллектирование и изучение их другими, и для товарищей его дружеская помощь, как знатока в области естествознания, была неоценена и навсегда останется памятной, так как в этого рода альтруистической деятельности пальма первенства принадлежит ему по справедливости и без спора.

По выходе из Шлиссельбурга, как было уже сказано, Иосиф Дементьевич был отправлен в деревню—в именье «Быковка» Виленского уезда к своим сестрам и оставался там немного более года. Вследствие отсутствия земства и полной беспомощности населения в отношении медицинской

помощи, ему, естественнику, пришлось заняться врачебным делом: крестьяне из соседних деревень стекались к нему за помощью, и случалось, что он имел 30 и более пациентов в день.

В 1907 году пришло разрешение переехать на жительство в Петербург. Там И. Д. поспешил сдать государственные экзамены, которые, благодаря аресту, не успел сдать 20 лет тому назад. Петр Францевич Лесгафт, очень сочувствовавший шлиссельбуржцам, не замедлил привлечь Иосифа Дементьевича в состав преподавателей своей Вольной высшей школы, сначала для практических занятий по зоологии беспозвоночных, а потом для лектирования. Одновременно он предложил издать «Неорганическую жизнь земли»,—сочинение, написанное И. Д. в крепости. Однако, летом того же года курсы Лесгафта были закрыты, а вместе с тем прекратилось и печатание «Неорганической жизни земли»—выйти успела лишь I часть книги. Отсутствие средств к жизни принудило И. Д. искать заработка: он стал читать публичные лекции (в Петербурге, Москве, Минске, Самаре, Екатеринодаре, Екатеринославе и др. городах), лекции в народном университете, в рабочих клубах и сотрудничал в периодических изданиях («Современный Мир», «Современник», «Русская Мысль», «Природа», «Записки Имп. Минералогич. О-ва» и т. д.). Все это дало ему возможность осенью 1911 года окончить издание своей книги в 1278 стр. За этот труд И. Д. получил от русского географического общества медаль имени Семенова-Тяньшанского и от Российской Академии Наук—премию Ахматова. В ту же осень, в ноябре, с ним произошло несчастье: кровоизлияние в сетчатку правого глаза. Литературная работа стала невозможна—врачи предписали полный отдых для глаз. Но И. Д. не остался бездеятельным и весной 1912 г. отправился за границу: он об'ехал Балканский полуостров, Малую Азию, Сирию, Египет и вернулся через Грецию, Италию и Австрию. Освеженный неизгладим-

мыми впечатлениями, он с новыми силами погрузился бы в научную работу, но летом, на Кавказе, заболел такой тяжелой формой малярии, а по мнению некоторых врачей— тифа, что о выздоровлении почти нельзя было мечтать. Однако, он оправился, но через год на том же Кавказе вновь подвергся этой болезни в очень острой форме. А вернувшись с Кавказа в Петербург совсем слабым, имел новый рецидив ее, заставлявший опасаться за его жизнь.

С 1913 года И. Д. поступает на службу в Геологический комитет, при чем работа его заключается в составлении и издании «Русской Геологической Библиотеки» (просмотр по годам всей русской и иностранной литературы, относящейся к России, по геологии, минералогии, палеонтологии, почвоведению и смежным наукам и рецензирование этой литературы).

В следующем году И. Д. предпринимает второе путешествие за границу. На этот раз, имея в виду издание учебника физической географии Польши, он отправляется в Галицию, в Татры, чтобы ближе познакомиться с геологическим строением этой страны. Вернувшись с большими затруднениями во время вспыхнувшей европейской войны, И. Д. взял дополнительную службу в гидро-метеорологической части отдела торговых портов, как гидролог и геолог. В 1915 г., когда кружок лиц задумал организовать Высшие географические курсы в Петрограде, то и И. Д. был в числе их и со следующего года начал читать на этих курсах геоморфологию, вести со слушателями лабораторные занятия по аналитической химии и руководить учебными экскурсиями. В 1918 г., с преодолением громадных трудностей и, главным образом, благодаря энергии и стараниям И. Д., эти курсы были преобразованы в Географический институт и зачислены по комиссариату народного просвещения, который обеспечил его и денежными средствами. За от'ездом в Сибирь Толмачева и Эдельштейна (председателя и тов. председа-

теля советской комиссии) во главе этого высшего учебного заведения стал И. Д., на долю которого выпал громадный труд по организации его.

При организации народного университета имени Лутугина, с которым И. Д. связывало чувство глубокого уважения, он не остался без участия. В этом университете И. Д. читал землеведение и ботанику.

Из научных и научно-литературных работ, опубликованных И. Д. (кроме уже упомянутой «Неорганической жизни земли» в трех томах), следует назвать:

1) Sur le mécanisme de l'écorce terrestre et l'origine des continents». 2) «Что такое жизнь?». 3) «Современное состояние дарвинизма». 4) «Причины ледниковой эпохи». 5) «Циклы размывания». 6) «Русская Геологическая Библиотека» за 1908 г. (332 стр.). 7) «Русская Геологическая Библиотека» за 1909 г. (358 стр.). 8) «Русская Геологическая Библиотека» за 1910 г. 9) «Гидрометеорологический очерк устьев р. Енисея, составленный вместе с Р. Гутманом и П. Виттенбургом для экспедиции, снаряженной Отделом торговых портов».

Несмотря на интенсивную научно-литературную и учебно-просветительную деятельность, И. Д. не отказывался от участия и в общественной жизни родины. Когда во время войны в России обнаружилось оскудение жизненных средств и был организован кооператив всех служащих в правительственных учреждениях, то в наблюдательный комитет этого кооператива, на ряду с представителями Государственного совета, Государственной думы, Сената, Синода и всех министерств, входил и И. Д., делегированный министерством торговли и промышленности. А когда на заседаниях этого комитета совершенно определенно выяснилось катастрофическое положение России и по этому поводу начались совещания разных общественных деятелей, то И. Д. принял участие и в них. Временный комитет Государствен-

ной думы, образовавшийся тотчас после мартовских дней революции 1917 г., не раз давал И. Д. различные поручения. Так, он ездил в Шлиссельбург, в Нижегородскую губернию, в Ревель—для улаживания конфликтов, для собеседований и выступлений в общественных организациях. В отчете о поездке в Нижегородскую губернию в мае 1917 г. И. Д., на основании своих наблюдений, указывал на неизбежность наступления анархии вследствие отсутствия административно-исполнительных органов на местах, а перед министерством продовольствия от имени местных организаций ходатайствовал о смягчении экономической политики, запрещавшей покупку хлеба иначе, как по твердым ценам.

При введении хлебной монополии, когда Всероссийский крестьянский союз отправил депутацию к Керенскому, И. Д. был одним из членов ее. Целью депутации было временно задержать опубликование декрета для более правильного согласования твердых цен с рыночными. Делегаты указывали, что в том виде, в каком реформа предположена, она неизбежно приведет к тому, что города, в особенности столицы, останутся без хлеба.

Идея воссоздания крестьянского союза, основанного в 1906 г., чрезвычайно увлекала И. Д. Он состоял членом организационного комитета союза и отдавался работе в нем с чисто юношеским жаром, напоминавшим того спорщика и полемиста, каким его знали товарищи по Шлиссельбургу.

И. Д. был также членом Совета рабоч. и солд. деп., но покинул его после октябрьского переворота, когда из президиума совета вышли Чхеидзе, Церетелли и др. Наконец, при выборах в Учредительное собрание, кандидатура И. Д. была выставлена в Петрограде группой социалистов-революционеров государственников (направления «Воли Народа»). Последовавшие затем политические события нашей внутренней жизни заставили И. Д. устраниться от прямого участия

И. Лукашевич.

М. Ашенбреннер.

в политической деятельности—он отдался исключительно работе культурно-просветительной.

В 1918 г. И. Д. наравне со всем населением испытывал большие материальные лишения, а в 1919-м, женившись на Анне Иосифовне Венцлавович, уехал вместе с ней в Вильну, где с 1921 г., вплоть до смерти, занимал профессорскую кафедру, читал лекции по физической геологии, кристаллографии и минералогии, делал доклады в ученых обществах и на с'ездах и продолжал свои ученые труды и исследования. Еще в январе 1928 г. он сообщал мне, что на с'езде славянских географов и этнографов в Вильне в июне 1927 г. он сделал два доклада: «Переживала ли наша планета фазу светящейся звезды» и «Определение возраста континентов и морей. Далее он писал: «Случайно узнал, что в Париже издана книга под названием «Continents» (без моего участия), в которой изложена моя теория происхождения континентов на ряду с гипотезами Meunier и еще одного лица. Вот и хочется поскорее издать обработанную и дополненную книжицу: «Sur le mécanisme de l'écorce terrestre» [1]) в виде стройной теории, охватывающей все главнейшие физические явления нашей планеты».

Как было уже сказано, еще в бытность в России И. Д. испытал большое несчастье, особенно тяжелое для ученого: вследствие кровоизлияния в сетчатку он потерял один глаз. Глаз был вылущен и вставлен искусственный; заниматься стало труднее.

В Вильне произошло кровоизлияние и в другой глаз, и И. Д. грозила полная слепота. Однако, глаз был спасен, но при всех занятиях ему приходилось прибегать к лупе, что представляло громадное затруднение в текущей работе.

---

[1]) О механизме земной коры.

А работы этой было очень, очень много. «В учебное время года,—писал он,—я почти всецело поглощен текущими делами, чтением лекций, практическими занятиями со студентами, экзаменами (более 200 в год); организационная работа в кабинете, факультетские заседания и т. д. занимают все время».

Здоровье И. Д. за последние годы сильно пошатнулось; в том же письме [1]) он сам говорит: «Здоровье мое плохо. Нередко целые ночи напролет я принужден проводить в кресле без сна, так как при ухудшении моего состояния не могу лежать, душно, и мучительный кашель одолевает».

В одном из писем он говорит о том, как ему хотелось бы побывать в России и увидать тех друзей, с которыми расстался в 1919 г. Но трудности такой поездки и возвращения не позволяют и мечтать об этом. Остается только редкими письмами поддерживать старые связи, крепко завязавшиеся в заточении, и те новые, которые образовались после выхода из крепости, когда ученая и общественная деятельность завоевала И. Д. уважение и симпатии всех, кто входил с ним в общение.

Тяжелая болезнь сломила И. Д. 20 октября т. г. он скончался, а 23-го был похоронен в Вильне.

---

[1]) Июль 1928 г.

Михаил Юльевич Ашенбреннер.

(Род. в 1842 г., ум. в 1926 г.).

К жизни и к личности М. Ю. Ашенбреннера нельзя подходить с меркой, обычной для революционера позднейших времен.

Говоря о нем, необходимо помнить два определяющие обстоятельства. Во-первых, что по своему вступлению в жизнь он принадлежал к эпохе 60-х годов, а во-вторых, что он, как военный, был членом замкнутой, изолированной и своеобразной касты, не находившейся на высоте передовых слоев общества.

Наша Россия после Крымской войны все время перестраивается; каждое десятилетие имеет свой особенный характер, настроение, ставит свои очередные задачи и выдвигает видоизмененный тип человека и деятеля. В силу этого 60-е годы являются отдаленными не только для современного поколения,—они были далекими даже для семидесятников, для которых задачи, увлечения и жгучие настроения шестидесятников были уже пройдены, и намечались новые пути, новые требования. *Тогда* главные силы образованного общества поглощались, с одной стороны, перестройкой экономики России, осуществлением реформ—аграрно-крестьянской, судебной, земской, а с другой—отдавались с негодующим пылом революции быта: изменению отношений крепостника к бывшему рабу, господина—к слуге, детей—к роди-

телям, жен—к мужьям, женщины—к мужчине, который один пользовался правом на высшее образование со всеми его преимуществами. По отношению к политическому строю оппозиционно-революционное *брожение* было налицо, но революционное *движение,* в точном смысле слова, находилось еще в зародыше, оно захватывало отдельных лиц и небольшие группы с ограниченной сферой влияния. Организованность, сплоченность и преемственность,—все это, вместе с численностью, пришло и развилось лишь в 70-х годах. И М. Ю., как *шестидесятник,* был, в смысле организационном, одиночкой, сочувствовал либеральным идеям своего времени и, будучи «мыслящим реалистом», не был социалистом и революционером.

Однако, некоторая возможность стать таковым как-будто намечалась.

Михаил Юльевич Ашенбреннер был внуком немецкого эмигранта-розенкрейцера времен Александра I. Бабушка его была тоже немкой. Но отец, родившийся в России, получивший в ней образование и женившийся на дочери смоленского коменданта генерала Наумова, был уже совершенно русским человеком. Первые 7 лет жизни М. Ю. провел на Кавказе, где в качестве военного инженера служил его отец.

40-е годы, подобно предшествующему десятилетию, были на Кавказе беспокойными в военном отношении; велась непрерывная война с горцами, во главе которых стоял талантливый, энергичный вождь—Шамиль. М. Ю. рассказывал нам в Шлиссельбурге, какие трагические моменты переживали русские, жившие среди враждебного населения. Случилось, что г. Ставрополю, в котором находилась семья Ашенбреннера, угрожала опасность подвергнуться нападению и быть взятым чеченцами.

Рассказы о тех мучениях, которым горцы подвергают пленных, заставили бабушку М. Ю. решиться лучше умереть,

чем попасть в плен. Вместе с ней должны были умереть, по ее мнению, и ее внуки, чтоб не испытать участи, еще более горькой. И вот она призывает детей и спрашивает, согласны ли они умереть вместе с ней.

Мы ответили,—говорил М. Ю.,—«да».

Красоты кавказской природы сохранились свежими в воспоминаниях М. Ю., подогретые читанными, по указанию отца, стихотворениями Лермонтова.

Необычайные картины гор, ущелий и бурных рек, которые М. Ю. ребенком видал при раз'ездах отца, иногда бравшего его с собой, поэзия Лермонтова и тревожная жизнь с опасными эпизодами—таковы были детские впечатления, закладывавшие фундамент психологии будущего шлиссельбуржца. Я думаю, что отражение этих впечатлений способствовало тому поистине поэтическому описанию, которое однажды нам сделал Аш — как мы его звали в крепости— о своем путешествии с обозом из Москвы на юг по окончании ученья в корпусе.

По словам сестры М. Ю. Лидии, бывшей на 7 лет моложе его, в семье он рос очень живым, шаловливым мальчиком, с сильно развитой фантазией, сочинял с братом рассказы о несуществующей стране Мандрилии с описанием ее географического положения, гор, рек и воинственного населения писал стихи, вел журнал, где был литературным критиком, зло нападавшим на собственные произведения в стихах и прозе. Но это было уже во время его пребывания в корпусе. Дома ставил спектакли с участием старухи-няньки и т. д.

Как только в старших классах он познакомился с произведениями Чернышевского, Добролюбова, Герцена и Огарева, он приобщил к их идеям свою сестру, в то время институтку, и тут вышла смешная история. Однажды сестра в письме спросила его о причине периодического увеличения и уменьшения солнечных пятен. М. Ю. ответил, но вместе с тем прибавил ядовитые стихи на начальницу института.

Письмо попало в руки последней. Лидия была приглашена для об'яснения. Начальница как следует распекла ее и кончила тем, что «она уже состарилась и много лет жила на свете, но никогда ей в голову не приходило, что на солнце есть какие-то пятна, а эта девчонка додумалась до того, чтоб спрашивать мальчишку-брата о таких пустяках! Если б это было что-нибудь умное, то могла бы спросить учителей»!..

А упоминая о стихотворении, прослезилась, огорченная «незаслуженной обидой».

В виде возмездия Лидия была посажена на отдельную парту, чтоб «не заражать» других, и обязана ходить к ранней обедне и стоять в церкви на коленях, чтоб замаливать свои грехи.

М. Ю. воспитывался в Московском кадетском корпусе, в который поступил в 1853 г. Вначале это была типичная военная школа того времени с невежественными учителями, грубыми воспитателями и телесными наказаниями.

М. Ю. так описывает порядки этого учебного заведения: «1-й Московский кадетский корпус, подобно школе кантонистов, был «палочной» академией. Ротный командир Сумернов мне сделал такое напутствие: «Помни, у меня всякая вина виновата. За ослушание, за дурное поведение, за единички высекут: будь у тебя семь пядей во лбу, а виноват— значит марш в «чикауз», у меня правило: помни день субботний».

По субботам водили в «чикауз» человек 20—30. Одних пороли, другие назидались. Малышам давали по 25 ударов, подросткам до 50, а взрослым до 100 [1]).

---

[1]) Автобиография. См. энциклопедический словарь Граната. Приложение к ст. «Развитие социалистической мысли в России»: «Автобиографии революционных деятелей русского социалистического движения 70—80-х годов».

Но вскоре, благодаря учебной реформе военного министра Милютина, все изменилось: программа была расширена, появились прекрасные преподаватели и образованные педагоги. Историю читал С. Соловьев. Преподаватель «словесности» Тихомиров знакомил с Белинским и Добролюбовым. Муравьев и Лялин, не ограничиваясь статистикой и законоведением, читали в классах и у себя на дому произведения Герцена, рекомендовали для чтения статьи Чернышевского и знакомили с нелегальной литературой. «Чернышевского мы знали наизусть»... «Его именем клялись»,—говорит М. Ю. в своих воспоминаниях [1]). «А Герцен,—продолжает он,—пленил нас не только красотой стиля и остроумием, но и своей любовью к родине, к истине, справедливости и свободе».

По окончании корпуса, уже пристрастившийся к чтению, М. Ю. усердно пополнял свое образование и тогда же обнаружил склонность к философии, знанием которой впоследствии блистал перед нами. Школа и самообразование сделали его тогда же головой выше обычного уровня офицерства.

В 1860 г. 18-летним юношей М. Ю. был выпущен из корпуса поручиком в стрелковый батальон, квартировавший в Москве. У него завязались знакомства со студентами, у которых была тайная литография. Из нее он получал: «Сущность религии», «Сущность христианства» Фейербаха, «Сила и материя» Бюхнера. Студенты давали ему номера «Колокола», «С того берега», «Былое и Думы». Не отставали и кадеты: они образовали «тайное революционное общество» и тоже завели литографию, обставив ее очень таинственно: подняли в укромном уголке корпуса половицу, устлали подземелье одеялами, поставили стол, покрытый черным сукном, и положили на него череп, украденный из естественно-исторического кабинета, и два обнаженных кинжала. Затея

---

[1]) «Былое», апр. 1907 г.

была скоро раскрыта начальством, нечаянно увидавшим сторожа в момент, когда тот вылезал из подполья [1]). Однако, одну рукопись, переданную М. Ю. от студентов, литография все же успела отпечатать. После этого крушения задумали устроить небольшую типографию, и М. Ю. помог кадетам в два приема похитить из словолитни нужное количество шрифта; в корпусе стали появляться листки и сатирические стихотворения... Последствием было довольно крупное столкновение с начальством. Последнее хотело арестовать предполагаемого автора; кадеты решили не допускать ареста и укрывали товарища. Надеясь напасть врасплох и арестовать кадета ночью, начальство явилось с солдатами, но кадеты забаррикадировались, и когда те ворвались, произошла свалка с пролитием крови. Наутро, в одном белье, в разорванных рубашках, с лицами, обмазанными кровью, они отправились процессией по улицам Москвы ко дворцу ген.-губернатора Тучкова с жалобой, которая была выслушана благосклонно: начальник корпуса был уволен, но пострадал и юный сатирик.

Если бы М. Ю. оставался в Москве и его связи с учащейся молодежью продолжались и дальше, быть-может, он подошел бы к нечаевцам или в 1871 году, подобно П. А. Кропоткину, примкнул бы в чайковцам. Но случилось иное. В 1863 г. вспыхнуло польское восстание. Передовая часть общества сочувствовала борьбе поляков за свободу, и М. Ю. разделял это сочувствие. Возможно, что оно было подогрето обаянием жены командира, горячей патриоткой, молодой, красивой и образованной полькой, у которой постоянно собиралась офицерская молодежь.

Начальство хотело перевести М. Ю. в гвардию и послать в Польшу для пополнения офицерского состава, но он отказался. Это сразу поставило его в разряд «неблагонадежных»

---

[1]) Сторожу за укрывательство кадеты платили.

и повело к тому, что каждое начальство старалось потом сбыть его с рук: его перевели в провинцию, и в течение одного года он переменил 4 места: Аккерман, Екатеринослав, Миргород и, наконец, был послан в Туркестан.

Отказ, испортивший его военную карьеру, оторвал М. Ю. вместе с тем от сочувственной ему среды—волнующейся молодежи. Связь его с нею прекратилась—он оказался вне общественных течений. В Туркестане военная среда, с ее специфическими нравами, интересами и образом жизни, окружила М. Ю., и в этой далекой от России стране, которую надо было еще завоевать, она понемногу захватывала его.

С точки зрения военного человека жизнь в Туркестане была интересная, живописная и полная разнообразия: новые места и природа, незнакомая северянину, население, по нравам и быту отличное от русского; походы через безводные, знойные пустыни, военные приключения; стычки, сражения и штурмы городов, а во время стоянок охота на тигров и кабанов, безумные скачки, пикники и попойки с товарищами, удалые забавы со стрельбой, встречи с интересными типами в роде Пистолькорса, которого М. Ю. описывает в своих воспоминаниях... Все это затуманивало, отодвигало интересы общегражданские, те животрепещущие вопросы, которыми жила и волновалась передовая общественность 60-х годов.

Благодаря природным качествам и влияниям хорошей семьи, М. Ю. по своим этическим требованиям далеко превосходил средний уровень своих сослуживцев. Он стоял, как уже сказано, выше их и по образованию и начитанности. При этих условиях неудивительно, что в полку он пользовался нравственным авторитетом и, как в своих письмах свидетельствует его бывший сослуживец, ген. Куропаткин, в умственном и моральном отношении благотворно влиял на окружающих молодых офицеров.

Отношения между М. Ю. и солдатами были наилучшие. Мягкий и гуманный, он не был сухим мучителем-формалистом, понимал солдата и бережно относился к его человеческому достоинству. А нравы и обращение с солдатами вообще были грубые, начальство позволяло себе циничную ругань и рукоприкладство. М. Ю. живо реагировал на подобные вещи. Порицание с его стороны и прекращение сношений были чувствительным наказанием для сослуживцев, провинившихся в подобных поступках. Сквозь неразвитость и некультурность, в которых сами солдаты были совершенно неповинны, М. Ю. видел и высоко ценил их находчивость, смелость, способность стать мастером на все руки, столь необходимые в трудностях походной жизни. И солдаты чутко отзывались на любовное отношение к ним М. Ю. В полку считали, что он распустил подчиненные ему части; при смотрах и парадах пророчили выговоры и неприятности. Однако, солдаты не хотели ударить лицом в грязь и навлечь неудовольствие на своего командира, — дело всегда сходило наилучшим образом, и вместо всеми ожидаемого порицания М. Ю. получал похвалу и награды. В своих воспоминаниях М. Ю., без меры скромный, затушевывает свою личность, но в частных беседах он рассказывал, как не раз в сражениях, в минуты крайней опасности, его подчиненные выручали его, не только рискуя жизнью, но идя прямо на смерть...

Так, при взятии Ходжента, когда с городских стен на осаждающих бросались тяжелые камни и бревна, одно из них раздробило бы голову М. Ю., если бы солдаты, бывшие подле, не поспешили подхватить и отбросить низвергающуюся тяжесть.

При взятии того же города, когда при повороте в узких улицах рота М. Ю., шедшего впереди, неожиданно наткнулась на заграждение, из-за которого должен был последовать залп, М. Ю. был бы неминуемо убит, но один из солдат,

сообразивший об опасности, оттолкнул М. Ю. и в ту же минуту сам был сражен пулей.

В 1870 году М. Ю. вернулся в Европейскую Россию и вплоть до 1883 года служил на юге, в Одессе и в Николаеве. Он вернулся в «жирных» эполетах и не был уже тем увлекающимся неопытным юношей, близким к студентам, каким был в Москве. Он оторвался от старых друзей и принадлежал уже к совершенно иной среде,—среде, которую описывает далеко не радужными красками [1]). «Либеральные начинания 60-х годов были слабы,—говорит он.—Русская весна была так скоротечна, что не успела хорошенько встряхнуть военные слои». Ни в окружающих людях, ни в их действиях он не находит ничего нового—ему вспоминаются только гоголевские типы: образцы самодурства и некультурности высшего военного персонала, непозволительное отношение к солдату, которого со всех сторон обкрадывают и походя заушают. «Плутовская организация развертывалась во-всю, пуская отростки и разбрасывая свои ядовитые споры», а честные люди приходили в отчаянье от окружающего зла и «сознания своего бессилия перед притеснениями, произволом и казнокрадством старших и податливостью младших». Вот крик, вырывающийся у М. Ю., который говорит тут, несомненно, о себе. И он отмечает, что это сознание бессилия отдельной личности было тем фактором, который делал ясной связь военных «домашних» дел с общими порядками России. «Так сама жизнь,—заключает он, — подготовляла почву к восприятию революционных идей в среде, мало доступной влияниям литературы и личных встреч с общественными деятелями».

Влияния литературы все же были. Существовали полковые библиотеки, в которых, кроме беллетристики и желтой прессы («Московск. Ведомости», «Свет» и пр.), были «Оте-

---

[1]) «Былое» 1907 г., июнь.

честв. Записки», «Дело», «Слово», а для редких любителей серьезного чтения—Михайловский, Миртов, Чернышевский, Салтыков, Гл. Успенский.

От губительной казарменной жизни спасало товарищество, имевшее в военной среде значение большее, чем где-либо. Офицерство сплачивалось в небольшие группы симпатизирующих друг другу товарищей. Тесная дружеская связь противодействовала «подавляющему влиянию бедности [1]), оторванности от общения с живым миром, казарменной дисциплины и гарнизонной службы». «Товарищество,—говорит М. Ю.,—приводило к единомыслию. Товарищи так сплачивались, что не только мыслили одинаково, но и выражались одними и теми же словами».

Такие товарищеские кружки группировались около Ашенбреннера и в Одессе, и в Николаеве. Он был центральной фигурой в них. Скромный по отношению к себе, отзывчивый по отношению к другим, он привлекал к себе, как человек, а благодаря умственному развитию и начитанности был учителем, истолкователем и пропагандистом идей передовых писателей 70-х годов. Это *он* приводил товарищей к единомыслию и подготовлял ту почву для политической пропаганды, которая дала впоследствии,—«*когда наступило ее время*» (говорит он) [2]), «такие неожиданные результаты: самые радикальные мысли принимались, как самоочевидные» [3]).

Да! Результаты работы М. Ю. среди офицерства Люблинского и Пражского полков выявились лишь впоследствии—тогда, когда время политической пропаганды *пришло*.

---

[1]) Рядовое офицерство получало совершенно ничтожное жалованье, не позволявшее удовлетворять не только какие-нибудь культурные потребности, но даже и чисто житейские нужды.

[2]) Курсив сделан мной.

[3]) Мои встречи с офицерами в Одессе и Николаеве в 1880 и 1881 г.г. вполне подтверждают это.

Революционное движение 70-х годов прошло мимо Ашенбреннера и его товарищей. Социалистическая пропаганда среди рабочих и крестьян не могла увлечь их—это было не их дело: к этому у них не было психологической подготовки и требовало слишком большой ломки всего уклада жизни. Они были так далеки от волнующейся революционной молодежи учащихся, что она не могла заразить их своим идеализмом и энтузиазмом. Несколько встреч с С. Г. Рубинштейн, народницей, никогда не принадлежавшей ни к какой революционной *организации,* и с Желябовым, бывшим еще в 1878 г. вполне во власти господствовавших народнических идей, не имели значения. Они не могли втянуть М. Ю. и его товарищей в революционное движение: для этого надо было покинуть свою среду, отказаться от своей специальности, поглотившей уже 10—15 лет жизни, и итти со словами пропаганды к крестьянам, как это делали военные, захваченные увлечением революционной молодежи, участники процессов «193-х» и «50-ти». Но эти, по возрасту и условиям службы, обладали достаточным житейским опытом, чтобы не пойти на это, и не питали надежд, которые увлекали учащуюся молодежь.

Общество «Земля и Воля» делало по отношению к военным шаг вперед; оно не предлагало выходить в отставку. Один пункт программы 1876 г., на ряду с террористическими актами и «ударом в центре», предвозвещавшим «Народную Волю», говорил о необходимости *приобретать союзников в войске,* предуказывая и в этом отношении путь для «Народной Воли».

Но время для выполнения еще не пришло, и пункт о союзниках в войске оставался мертвой буквой не только *до* образования «Народной Воли», но и в течение первого года ее деятельности: организация самой партии, выработка программы, в основание которой была положена борьба с самодержавием, утверждение этой новой политической

программы в революционной среде и покушения на царя поглощали силы Исполнительного Комитета вплоть до зимы 1879—80 гг., когда начались первые сношения членов Комитета с моряками Кронштадта и артиллеристами Петербурга, и только в осенние месяцы 1880 года Исп. К-т серьезно поставил задачу создания чисто-военной организации, параллельной общегражданской. Выработав программу ее, Исп. К-т ставил перед военными определенную задачу—приготовить материальную силу, которая обеспечила бы победу народному восстанию, если оно возникнет стихийно или будет начато по инициативе Исп. К-та силами, собранными партией для низвержения самодержавия, путем заговора. Тогда же был выработан, при участии офицеров, устав военной организации со своим собственным центром и местными военными группами, подчиненными в своем целом, через военный центр, Исп. К-ту, как органу, распоряжающемуся всеми силами и средствами партии.

Еще в середине 1880 г., когда я познакомилась с Ашенбреннером и его кружком в Одессе, я не могла предложить им ничего определенного и старалась только оживить их, побудить к поискам новых членов [1]), и только во второй приезд, в 1881 г., отправившись к М. Ю. в Николаев, познакомила его тамошнюю группу с программой и уставом военной организации, выработанными в Петербурге, и могла сообщить об уже основанных Исп. К-том и военным центром

---

[1]) Отсутствие инициативы, духа прозелитизма и революционного темперамента с первых же встреч бросались в глаза при сношениях с военными юга. В своих воспоминаниях М. Ю. сам отмечает это, говоря: «за исключением нескольких лиц, напр., Суханова, Штромберга, Буцевича, Серебрякова (все северяне, замечу я.—*В. Ф.*), остальные военные деятели не обладали революционным темпераментом, несмотря на истинное призвание военного человека разрешить все вопросы насилием». Журнал «Былое» 1907, июнь.

группах в Кронштадте и в Петербурге [1]). Так я подготовила их, как и одесскую группу М. Ю., к посещению лейтенанта Буцевича, который должен был приехать из Петербурга и, переговорив с ними в качестве представителя военного центра, оформить их отношение к общей военной организации. В декабре 1881 г. все это было выполнено, и офицеры дали формальное обещание по требованию Исп. К-та выступить в нужную минуту с оружием в руках и увлечь за собой подчиненные им части [2]).

Время для политической пропаганды, как видно, *наступило,* и, как говорил в своих воспоминаниях М. Ю., самые серьезные обязательства принимались, как самоочевидные требования. Почва была им вполне подготовлена: оппозиции и серьезных возражений н ия, ни Буцевич при своих предложениях не встретили.

В конце 1882 года, когда все первоначальные члены Исп. К-та, за исключением меня, были арестованы и частью уже осуждены, я была вынуждена принять чрезвычайные меры для пополнения совершившейся убыли.

Активное выступление военных, в виду полного разгрома главного ядра партии, отодвигалось в неопределенную даль, и я решила предложить наиболее выдающимся членам военной организации выйти в отставку и, став свободными в передвижении и работе, отдаться всецело общей революционной деятельности. На это дали свое согласие двое: артиллерист Н. Рогачев и М. Ю.

В январе 1883 года, взяв 11-месячный отпуск, М. Ю. отправился в Петербург, перезнакомился с членами военной

---

[1]) Подробности см. в I т. «Запечатленного Труда», гл. гл. «Военные на юге» и «Военная организация и Суханов».

[2]) В своих замыслах «Народная Воля» на четверть века опередила свое время. Если бы мы жили не в 1880—81 г., а в 1905—0;6, военные севера и юга исполнили бы свой долг в деле этой революции.

организации в Петербурге и в Кронштадте и, согласно решению товарищей, взял на себя задачу об'ехать все города, в которых ему были указаны лица для свидания и переговоров относительно вступления в организацию. Таким образом, для М. Ю. открывалась широкая дорога революционной деятельности, плодотворные результаты которой могли иметь трудно определимую ценность. Но, благодаря предательству Сергея Дегаева, бывшего артиллериста и одного из первых членов военной организации в Петербурге, в марте, во время предпринятого об'езда, М. Ю. был арестован в Смоленске, и одновременно с ним Дегаев предал и всю военную организацию.

М. Ю. благоразумно отказался от дачи каких-либо показаний и, после полуторагодового предварительного заключения в Петропавловской крепости, в сентябре 1884 г. предстал перед военно-окружным судом вместе с 13 народовольцами, в числе которых была и я. Приговоренный к смертной казни, смягченной на каторгу без срока, он с семью другими сопроцессниками был отвезен в Шлиссельбург, где и оставался в течение 20 лет [1]).

В Шлиссельбурге М. Ю. оказался по возрасту самым старшим, и если Г. Лопатин (привезенный в 1887 г.) был почти сверстником его, то разница в годах с остальными товарищами была от 10 и до 18—20 лет! Эта разница по возрасту и времени участия в революционном движении до известной степени сказывалась в некоторых чертах его тюремной жизни. Как более молодые, мы имели больший запас неисчерпанной энергии и в большинстве прошли организационную школу «Земли и Воли» и «Народной Воли». Мы были более способны к сплоченности и общему действию. По своему темпераменту, а, может быть, по укоренившейся

---

[1]) По коронационному манифесту 1896 г. каторга без срока была ему заменена каторгой 20-летней.

привычке в ежедневной жизни подчиняться дисциплине. М. Ю. переносил пассивно тяготы тюремного режима. Он не принимал участия в столкновениях, которые начались у нас (на 3-м году заключения) со смотрителем Соколовым,— столкновениях, приводивших в карцер Грачевского, Попова, меня, Вас. Иванова, Панкратова, Юрковского, Шебалина, Манучарова, Лаговского, Л. Волкенштейн. Когда мы шумели, Лопатин однажды сказал, что такие протесты ему не по возрасту. М. Ю., быть может, они были также не по возрасту, а мы еще не чувствовали этого. Но и в пассивных протестах—в отказе от огородов и прогулок вдвоем, пока эти «льготы» не будут распространены на всех, в голодовке из-за из'ятия из библиотеки лучших книг—М. Ю. не участвовал. Лопатин заявил, что он не верит в возможность сговора в тюрьме, а М. Ю. по поводу голодовки сказал, что боится не выдержать ее. Он поступил благоразумно, потому что пристать, а потом отступить, как это сделал Мартынов уже на 3-й день, произвело бы самое тягостное впечатление.

Таким образом, М. Ю. во все пребывание в крепости не имел лично никаких неприятностей с тюремной администрацией, и с этой стороны, казалось, все было благополучно. Но это не мешало тому, чтобы он не имел тех тяжелых переживаний, какие имели мы все; не мешало и тому, что мы все любили и уважали его, как добрейшего человека и хорошего товарища: он сочувствовал нам и понимал нас. Не раз, при всякого рода вспышках, он говорил: «здесь заключены люди исключительной энергии, и она требует себе выхода».

Влияние возраста, быть может, ни в чем так сильно не сказывалось, как в отношении наших двух «стариков» к физическому труду. Что для нас было радостным возбуждением, то для них было тягостью. Мы отдавались работе в мастерских с жаром людей, истомившихся от бездеятельности; нервное напряжение находило успокоение в работе мускулов; физический труд поглощал избыток неиспользо-

ванной энергии; кроме того, он открывал возможность творчества по собственному плану и вкусу, удовлетворяя потребности создавать не только нужное и полезное, но и красивое, совершенно отсутствующее в тюрьме. Все эти радости были неведомы М. Ю. и Лопатину, которые не работали, и даже общую повинность—переплет книг, которые нам давались на прочтение—после короткой пробы сложили с себя, передав исполнение усердным добровольцам.

Все свое время М. Ю. отдавал чтению: ни одна маломальски серьезная книга, попадавшая к нам, не миновала его рук. Естествознание не привлекало его, но наукам общественным и философии он отдавался с еще бо́льшим увлечением, чем в годы по окончании корпуса. В небольшой биографии М. Фроленко, написанной мной, описано, как М. Ю. хотел привлечь своего друга к изучению своего любимого предмета, и этот друг в течение многих недель покорно выслушивал на прогулке красноречивое изложение различных философов, древних и новых, но по окончании курса патетически воскликнул: «К чорту всю твою философию! Не нужна она мне!»...

М. Ю. с большим юмором рассказывал сцену этого возмущения неблагодарного ученика, оскорбившего учителя в его лучших чувствах.

С гораздо лучшими результатами он прочел несколько лекций по тому же предмету более благодарным слушателям, в числе которых была и я, находившаяся в соседней клетке на прогулке. Но в чем М. Ю. был мастером первой руки—так в рассказывании. Такого чудного рассказчика я не слыхала во всю жизнь. Однажды я уговорила его рассказать нам свою жизнь: детство, воспитание в кадетском корпусе, жизнь в Туркестане и все последующее. Слушать собирались по-двое в соседних клетках и в первом огороде, который примыкал к ним. Каждый день рассказ длился 2 часа, и, как искусный сказочник, М. Ю. каждый раз оста-

навливался на самом интересном месте, когда внимание слушателей было напряжено до высшей степени. Тут, подобно старику Паскалэ в «Марсельцах» Гра, он говорил: «о дальнейшем—завтра», и мы расходились с неудовлетворенным любопытством. Я называла его Шехерезадой.

В сентябре 1904 г., одновременно с Вас. Ивановым [1]), М. Ю. увезли в Петербург, в Дом предварительного заключения, а потом, по случаю войны с Японией, отправили не в Сибирь, а в Смоленск, где у него были родственники.

В первое время по освобождении М. Ю., по его словам, был так ошеломлен вольной жизнью среди родных людей, что находился в состоянии в роде гипнотического и долго не мог освоиться с новыми условиями и обстановкой.

В первом, в психологическом отношении интересном письме ко мне от 17 ноября 1904 г. он писал:

«Мое превращение в смоленского жителя — длинная, интересная история, которую сразу не рассказать. Я считал себя невозмутимым человеком, привыкшим за много лет подавлять в себе всякое внешнее выражение сильного волнения, и даже думал, что такой процесс выдубил меня даже сверх меры, и предполагал, что предстоящий переворот переживу легко. Вышло не так: сначала, когда хлынуло множество свежих, живых, сильных впечатлений, рассудок просто был подавлен и не в силах был ни воспринимать, ни реагировать... Повидимому, ко всему этому я относился пассивно, как автомат (это опять благоприобретенная в заключении черта), и все это закончилось сильнейшим нервным раздражением. Три ночи в тюрьме я не спал: закрою глаза и вижу лица товарищей, слышу их голоса; голоса сливаются в гул и все это так ярко, как в действительности; словом, у меня сделались галлюцинации. Видел я и озеро, которое

---

[1]) Днем позже увезли и меня.

меня так поразило, когда я вышел из крепости. Да, мы-таки порядком одичали и отвыкли от людей».

В следующем письме от 10 января 1905 г. он пишет:

«Знаете, Вера Николаевна, с тех пор, как меня обвеяло свежим воздухом, у меня явилось совсем другое отношение к нашей тюремной жизни: меня изумляет спокойное и безмолвное отношение к фактам, которые теперь кажутся страшными. Словно душа для своего спасения выделила там непроницаемую оболочку. В той свинцовой атмосфере вещи имели один смысл, отсюда они принимают другой вид».

На ту же тему в другом письме М. Ю. писал, что когда он водворился в Смоленске, местные люди настояли, чтоб он прочел в этом городе и в Витебске несколько докладов о Шлиссельбурге и о военной организации.

«И странное дело,—рассказывает он,—когда я переживал в заключении все невзгоды нашей отчаянной жизни, я меньше волновался и возмущался, чем теперь, при воспоминании о них на свободе, словно нас тогда поддерживала и укрепляла какая-то таинственная сила. Я догадываюсь, какая это была сила: мы все страдали вместе, заодно, и выносливость, мужество и терпение нам сообщали наши несравненные героические товарищи. Теперь, оторванный от товарищей, я переживал в одиночестве перед публикой все ужасы нашего положения интенсивнее. Как-будто для подлинного и более точного восчувствия своего трагического положения необходимо посмотреть на него с высоты, из некоторого удаления. То же случилось теперь и со мной. Вспоминая историю нашего революционного движения, я заболел упорной бессонницей—три недели я прожил без сна в каких-то чудовищных, фантастических грезах».

И дальше он излагает программу своих лекций по истории революционного движения (начиная с декабристов и до «Народной Воли» включительно) на инструкторских курсах и, со свойственной ему скромностью, о впечатлении, кото-

рое производили эти лекции на молодежь, выражается так. «Слушатели были заинтересованы в высшей степени даже моим, не особенно искусным, изложением. Если бы дать им хорошего оратора, они воспламенились бы и загорелись революционным жаром—так хороша тема» [1]).

В Смоленске он жил в семье брата, поправлял свои расстроенные нервы и занимался для заработка переводами. Какая бы то ни было публичная деятельность оставалась для него закрытой до революции 1917 года. После февраля на некоторое время он приезжал в Петербург, а затем, оставаясь в Смоленске, занимался культурно-просветительной деятельностью: читал лекции, по приглашению кооператоров, в Починках, а потом, по приглашению декана Смоленского политехнического института, курс по истории русской общественной мысли и по истории революционного движения в России. В 1921—22 гг. М. Ю. очень бедствовал; после он говорил и писал мне, что погиб бы, если бы не деньги, которые я пересылала ему от политического Красного Креста, членом которого я состояла. «У меня нет слов,—писал он мне однажды,—для выражения благодарности за внимательную заботливость, такую существенную в материальном отношении и такую отрадную и живительную, как дождь в засуху, для души» [2]).

В другом письме, говоря о вознаграждении за лекции в

---

[1]) В довольно многочисленных письмах М. Ю. рассыпано много милых черт его отношений к товарищам-шлиссельбуржцам, много подробностей о его просветительной работе, но я не могу загромождать свой краткий очерк всем имеющимся материалом.

[2]) В то трудное для всех время политич. Красный Крест (Кузнецкий Мост, 24) помогал и др. моим товарищам-шлиссельбуржцам, продолжая в этом отношении дело «Шлиссельбургского комитета», основанного в 1905 г. в Петербурге П. Якубовичем при ближайшем участии Семевского, Пругавина, Анненского, М. В. Ватсон и др.

Починках, с трогательной нетребовательностью М. Ю. писал, что получил щедрое вознаграждение. Это были: «штаны, пуд муки и 2 ф. табаку». Когда в 1917 г. он был в Петербурге, я настаивала, чтобы он вставил себе зубы, однако, сломить его сопротивление мне не удалось. «Но как же вы читаете лекции?—спрашиваю я.—Ведь аудитория не слышит вас».

М. Ю., любивший пошутить, отвечал в письме: «А когда я приезжал в Пб., я пригляделся к ораторам, которых слышал в Тенишевском училище, и усвоил их манеру»...

М. Ю. был интересным собеседником: острил, шутил и в подходящей компании рассказывал небылицы. Один из его молодых знакомых по Смоленску передавал мне, как однажды М. Ю. мистифицировал своих собеседников. Самым серьезным манером он описал свою несуществовавшую женитьбу. Изобразил родню невесты, ее собственную персону, свое сватовство и обряд венчания. Дальше молодой человек не продолжал. Быть может, из скромности, быть может, потому, что, подобно герою Гоголя, М. Ю. выскочил в критический момент в окно... Рассказ был так правдоподобен и красочен, что слушатели, прекрасно знавшие, что М. Ю. оставался всю жизнь холостяком, принуждены были усомниться в своем знании.

Михаил Юльевич был остроумен, но его остроумие не было похоже на остроумие Лопатина, который в шутках и остротах мог задевать личность. Это не было также безобидное остроумие Морозова, который, насмешив других, сам разражался взрывом детского смеха. М. Ю. выставлял в смешном виде не личность, а брал смешное положение и, потешая собеседников, шутя и остря, оставался сам серьезным. Даже такая мучительная болезнь, как рак в полости рта, не лишила его способности смешить друзей своими прибаутками. За какой-нибудь месяц до смерти, когда я была у него в Шаболовке, в доме «Ильича», он, в присутствии

Фроленко, рассказал о нем выдуманный анекдот, заставивший покатиться всех со смеху.

Испытывая ужасные боли, М. Ю. не хотел прибегать к наркотикам, и лишь перед концом обратился к ним, с величайшим стоицизмом пересиливая страдания.

Скромность М. Ю. переходила почти в недостаток, и на ряду с этим не было предела его чувству почти благоговейного почтения по отношению к товарищам, многие годы пробывшим в самой гуще революционного движения. В своих воспоминаниях он не раскрывает своей личности и старательно затушевывает ее, и только те, кто лично знал его, могут как следует расшифровать его повествование.

Эти воспоминания в журнале «Былое» за первые годы его существования составляют, по-моему, лучшее, что было им написано, и я могу только рекомендовать всем прочесть их или перечитать, чтобы возобновить в памяти.

25 января 1927 г.

Юрий Николаевич Богданович.

(Род. в 1850 г., ум. в 1888 г.)

За стенами Шлиссельбургской крепости на небольшой полосе земли, омываемой истоками Невы, поставлен памятник борцам-революционерам, погибшим в крепости в период 1884—1905 гг.

Там в месте, неведомом для остальных товарищей-шлиссельбуржцев, тюремная администрация хоронила узников, погибавших от режима, которым правительство заменяло смертную казнь.

Памятник не создает настроения. В наше торопливое время трагедия Шлиссельбурга не нашла себе художественного воплощения.

Среди других имен на памятнике стоит имя и Юрия Николаевича Богдановича, одного из самых обаятельных людей, участников нашего революционного движения.

О детстве, условиях воспитания и развитии Ю. Н. сведений почти нет. Известно, что родители его были помещики, дворяне Псковской губ., и только. О них от Ю. Н. мы ничего не слыхали; лишь один эпизод при каком-то случае он рассказал мне о своей матери. Она была женщина богомольная и, как нередко бывало в старину, широко практиковала странноприимство: к ней постоянно приходили нищие, богомольцы, калики перехожие и странники. Случилось, Юрий поднял насмех одного из грязных посетителей этого рода. Мать приказала мальчику поцеловать руку у обиженного, и

Юрию пришлось исполнить приказание. Это как-будто показывает, что мать была женщина с характером. Об отце же мы и такой малости не знаем.

Учился Ю. Н. в Псковской гимназии и окончил таксаторские курсы при ней, после чего с 1869 г. служил великолуцким уездным землемером. По поводу этой службы Ю. Н. написал в Шлиссельбурге шутливое стихотворение:

От меча кто живет —
От меча и умрет.
Землемер и герой
Безупречный всегда,
Я, былою порой,
Не сидел никогда!
Цепь была мне мечом;
Ею мерил, рубил...
«Каждый будь при своем!»,
Гордо я говорил.
Как жестокий палач,
Я хотел землю-мать
На участки разбить,
Цепью на век связать...
За тот грех я в цепях
На участке моем
О пяти саженях
«Должен быть при своем!».

В 1871 г. по неизвестной Ю. Н. причине у него был сделан обыск, при чем полиция забрала все его книги, хотя они были легальные, а губернатор распорядился не посылать его в летние командировки, что лишало живого смысла его работу. Ю. Н. вышел в отставку и поступил вольнослушателем в Военно-Медицинскую академию в Петербурге. Однако, он оставил ее в 1873 г., когда разразился первый на нашем веку голод в Самарской губ.

В то время кружок чайковцев считал его своим членом, и 1873 год был уже началом «хождения в народ». Ю. Н. отправился на место бедствия, но скорее как наблюдатель, чем как пропагандист каких-либо идей. Он поселился в Самаре у Е. Е. Лазарева, будущего участника «процесса 193-х», и вместе с ним ходил пешком по деревням и селам Бузулукского уезда, хорошо известного Лазареву, по происхождению крестьянину (с. Грачевки) этого уезда. В своих воспоминаниях Лазарев говорит, что они завели знакомство с фельдшерами и учителями, но, к сожалению, не сообщает никаких фактов о каких-либо встречах с крестья-

нами, указывая лишь, что его спутник посылал корреспонденции о голоде в столичные газеты, а в городе посещал вместе с ним кружки молодежи, в которых принимали участие, между прочим, Осташкин и Филадельфов, привлеченные впоследствии к «делу 193-х». Как неопределенны были тогда взгляды и стремления Ю. Н., показывает то, что он в то время мечтал о земледельческой колонии, но где бы вы думали... на Мадагаскаре! Тогда немало было говоривших об устройстве земледельческих колоний; мечтали о Кавказе, собирались в Америку, но так далеко в своих мечтаниях, кажется, еще никто не забирался. «Юрий витал за облаками,—говорит Лазарев,—а я его водил по земле»... Но, как ни мало установились стремления Ю. Н. в то время, все же путь жизни был намечен—он выходил за пределы рутины.

Весной 1874 г. Ю. Н. вернулся на север и решил учиться ремеслу кузнеца. Это было легко осуществимо: его старший брат Николай, почетный мировой судья, имел в своем имении, с. Воронине Торопецкого уезда, кузницу, о произведениях которой—топорах—говорил с гордостью, что они славятся по всему уезду. В эту кузницу в качестве молотобойца и поступил Ю. Н. Понемногу это заведение стало школой физического труда для социалистов: там работали Адриан Михайлов, Александр Соловьев и некоторые другие. Наезжали товарищи из Петербурга и Москвы, напр., Клеменц, а в нескольких верстах, в имении г-жи Казиной, была формально арендована земля, где интеллигенты-социалисты завели земледельческую колонию, находившуюся в постоянном общении с обитателями Воронина. Нечего и говорить, что Николай Николаевич и Мария Петровна, его жена, были вполне своими людьми для всех, притекавших к ним [1]).

---

[1]) М. П. Богданович судилась по процессу Веймара, а Н. Н. был тесно связан с землевольцами. В 1879 г., после покушения

Фотография, не передающая цвета волос и лица и делающая всех брюнетами, с абрисом черт более резким, чем действительные, дает иногда совершенно неправильное представление о тех, кого изображает.

Если взглянуть на портрет Ю. Н., можно подумать, что он был красив. Однако, желтые волосы, рыжая борода лопатой, светлосерые глаза и цвет лица, который в просторечии называют красным, а сам обладатель добродушно называл томпаковым, и в довершение—настоящий русский нос башмаком,—никак не позволяли говорить о красоте. В общем, это было лицо простолюдина, каких встречаешь на улице или в лавке. Сам Ю. Н., склонный к юмору, в одном маленьком стихотворении, написанном в Шлиссельбурге, говорит о себе:

Неуклюж я собой—
Точно плотник тесал
Меня смелой рукой,
Да так с рук прочь и сдал.
И все просто, под-стать
И лицо и зрачок...
Словом, прямо сказать,
Серый я мужичок.

Это не совсем правда, потому что рост и телосложение плотник дал ему хорошие. А главное, он дал лицу выражение доброты и мягкости. Фотография, единственная сохранившаяся, вполне передает этот общий смысл его натуры, мягкой, доброй, почти женственной. Это лицо с первого взгляда вызывало симпатию и доверие. В этом отношении наружность не была обманчива, потому что простота, искренность и в особенности *задушевность* были отличи-

---

Соловьева, он был арестован и умер в тюрьме. Третий брат Ю. Н. был владельцем торфяных копей в Шлиссельбургском у. Он, как и Н. Н., был очень дружен с Ю. и помогал ему материально.

тельными чертами моего товарища и друга на свободе и в неволе.

Обаянию Ю. Н. способствовал и его голос. Это был густой, мягкий бас, который мы называли бархатным. На свободе он иногда пел отрывки из «Аскольдовой Могилы», «Русалки» и т. п.

В Шлиссельбурге товарищи называли Морозова третьей сестрой в добавление ко мне и Людмиле Волкенштейн. Если бы Юрий Николаевич прожил дольше, он, наверное, получил бы то же звание, но при его жизни мы не имели общения.

В моей книге «Запечатленный Труд» (т. I) рассказано о том участии, которое Ю. Н. принимал в 1876 г. в подведении итогов «хождения в народ» и выработке новой программы, которая получила название *народнической* и легла в основание деятельности тайного о-ва «Земля и Воля». Он примкнул тогда к группе так называемых «сепаратистов», в которую входили: Александр Соловьев, Иванчин-Писарев, Мария Лешерн, я, моя сестра Евгения, нечаевец Энкуватов, чайковец Драго, Орест Веймар, Мария Субботина из «процесса 50-ти» и некоторые другие.

Первые из названных лиц заняли места в Самарской губернии—между ними и Ю. Н. Но в 1878 г. арест Чепурновой, свидетельницы по «процессу 193-х», которая везла из Петербурга в Самару письма всем нам, принудил нас во избежание ареста переменить паспорта и переехать в Саратовскую губернию, где еще с весны 1877 г. устроилась довольно большая группа членов основного общества «Земля и Воля». В Вольском у. этой губернии Ю. Н. занял место волостного писаря в с. Царевщине; неподалеку устроились другие товарищи и между ними А. К. Соловьев, ближайший друг его.

Однако, и там долго жить не пришлось: Соловьев пришел к убеждению, что при самодержавии невозможна ши-

рокая и плодотворная деятельность в народе, и решил отправиться в Петербург и сделать покушение на Александра II, рассчитывая, что перемена лица на престоле изменит направление внутренней политики правительства.

Покушение (2 апр. 1879 г.) было неудачно и повлекло арест и розыски всех, кто имел сношения с Соловьевым. Добрались, конечно, и до Саратовской губ., и все мы должны были скрыться.

Раньше было сказано о демократической наружности Ю. Н. В революционном отношении она была счастливой и для него, и для революционной деятельности. О-во «Земля и Воля» открыло свою деятельность демонстрацией 6 декабря 1876 г., когда на Казанской площади рабочим Потаповым открыто было поднято красное знамя с девизом: «Земля и Воля», а перед собравшимися Плеханов произнес речь о Чернышевском. Как известно, демонстрация была разогнана полицией и кончилась схватками с ней и арестами. Ю. Н. был тоже взят городовыми и отведен в ближайший участок, где очутился среди сильно избитых товарищей. Там он прикинулся ни в чем неповинным мещанином, случайно захваченным, и сделал это так естественно-просто, что, по пред'явлении имевшегося при нем мещанского паспорта, был отпущен. Наилучшим удостоверением его социального положения была в этом случае его наружность, которой нельзя было не поверить.

Но еще раньше, летом того же года, когда чайковцы организовали побег Кропоткина из Николаевского военного госпиталя, Ю. Н. была дана ответственная роль: он должен был отвлекать внимание сторожа у ворот, через которые Кропоткин должен был выбежать на улицу.

Представляясь сильно выпившим, Ю. Н. выполнил эту задачу артистически. Забавной темой о том, хвост у вши есть или нет, он втянул сторожа в горячую полемику, совершенно захватившую отрицателя этого хвоста.

В 1880 году, когда понадобился хозяин магазина сыров, который Исполнительный Комитет партии «Народная Воля» нанял на Малой Садовой улице в Петербурге, чтоб из него сделать подкоп и посредством динамитной мины совершить покушение на Александра II, единственно подходящим лицом оказался Ю. Н. Мы вызвали его из Екатеринбурга, куда он уехал для устройства побега Софьи Бардиной (из «процесса 50-ти»), и после избрания в члены Исполнит. К-та эта трудная для революционера роль была им принята на себя. Как он выполнил ее, описано в моей книге в главах: «Магазин сыров», «Февральские дни» и «1 марта»: «Запеч. Труд» т. 1.

Прибавлю несколько слов об этом.

В показаниях полиции, явившейся 28 февраля с инженером Мравинским во главе в магазин сыров «Кобозева» под предлогом санитарного осмотра полуподвального помещения, в котором он находился, сказано, что Кобозев при их приходе побледнел. Возможно; это в глазах полиции не было подозрительно: русский человек—виноват или нет—как огня боялся полиции, а торговля—дело щекотливое. Однако, на вопросы, что за сырость около бочек, зачем обшивка под окном и т. п., ответы были даны быстро и с большой находчивостью.

А как в самом деле было не побледнеть? Загляни инженер в бочки—вместо сыра он нашел бы землю; отдерни под окном деревянную обшивку, которую он подергал,—увидел бы вход в подкоп, а пошевыряй ногой, как следует, солому и уголь в задней комнате—открыл бы кучу той же вынутой из подкопа земли... И это накануне 1 марта! А так вышло, что Мравинский ничего подозрительного у «Кобозевых» не нашел.

Как в предыдущих случаях, так и в этом, обыденная наружность Ю. Н. была выигрышной.

Для 1 марта мина на М. Садовой не понадобилась: она не была употреблена, потому что царь в это воскресенье не

поехал в Михайловский манеж по этой улице, а избрал другой путь. На обратном пути на Екатерининском канале его сразила бомба народовольца Гриневицкого, брошенная после бомбы Рысакова, разбившей карету императора.

Магазин был покинут хозяевами—Ю. Н. и А. В. Якимовой—и оба они выехали из Петербурга.

Ю. Н. сделал после этого большое путешествие по Сибири. Он об'ехал большие города с целью путем местных связей устроить приют и помощь тем из ссыльных, которые пожелали бы бежать. К сожалению, этот труд пропал даром, потому что неосторожность В. Дебогория-Мокриевича отдала все сведения в руки полиции и все адресаты были скомпрометированы.

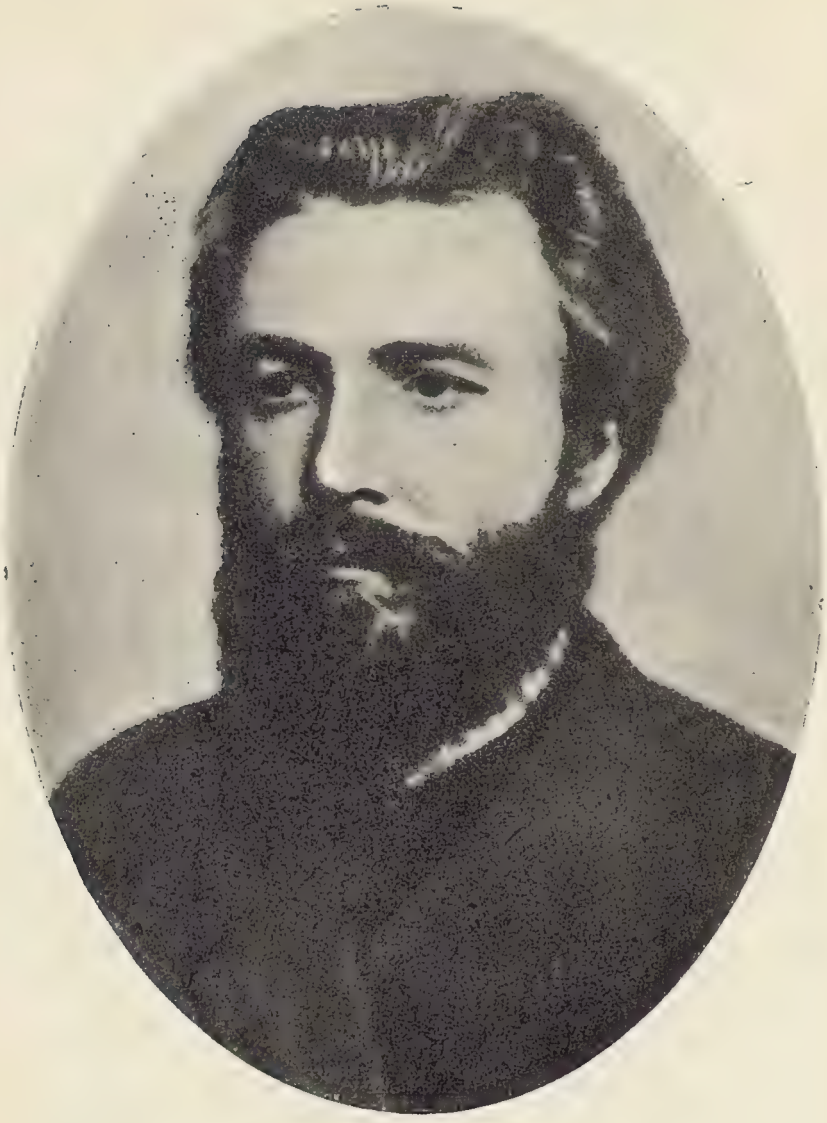
После 1 марта в Петербурге последовали многочисленные аресты, и настало такое беспокойное время, что Исполнительный Комитет, потерявший много ценных членов, вынужден был перенести свое местопребывание в Москву, и осенью 1881 г. мы видим Ю. Н. хозяином общественной квартиры Комитета на Садовой (хозяйкой являлась Мария Николаевна Ошанина). Квартира просуществовала полгода, когда были замечены признаки, что за ней происходит слежка: на домовой лестнице появился шкаф, из которого однажды наши товарищи заметили неосторожно высунувшуюся бороду шпиона. Было ясно, что квартиру надо оставить. Благоразумная Мария Николаевна так и сделала: она уцелела; а Ю. Н. по непонятному удальству все же решил еще раз зайти на квартиру—и был арестован.

В марте 1883 г. в Петербурге происходил «процесс 17-ти» народовольцев. Среди них был Ю. Н. и члены Исп. К-та: Анна Павловна Корба, Грачевский, Златопольский, Теллалов, Стефанович. Приговор к смертной казни был смягчен Ю. Н. на каторгу без срока, но только в *мае* это смягчение было ему об'явлено. Отбывать наказание Ю. Н. пришлось сначала в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, так

как новая тюрьма в Шлиссельбургской крепости тогда еще строилась.

В биографиях Фроленко, Морозова и Тригони я говорила об убийственном режиме равелина. Их держали без книг, без свиданий, без общения друг с другом и умерщвляли недоеданием. Цынга и туберкулез уносили крепких и здоровых. Ю. Н. дожил до августа 1884 года, когда узники, оставшиеся в живых, были перевезены в ту новую тюрьму, которая была предназначена для них в пределах Шлиссельбургской крепости. Дожил,—но уже с туберкулезным процессом легких. В Шлиссельбурге тюремная обстановка была такая же зловещая, как и в равелине. Ю. Н. прожил в ней четыре года. Но какие годы! Годы болезни и смерти для обитателей тюрьмы; годы, самые тяжелые, когда один за другим умирали товарищи, перевезенные из равелина и еще не добитые в нем. Но и осужденные в 1884 г. не уцелели: из 8 человек двое моих товарищей по суду умерли от туберкулеза (Тиханович и Немоловский) и один (Похитонов) сошел с ума. В то время еще не было мастерских; смотрителем был грубый и жестокий Соколов, а питание—щи (или пустой суп) и каша — не были пищей, годной для больных; только в крайнем случае им давали чайную кружку молока.

В начале 1888 г. состояние здоровья Ю. Н. стало совсем плохо; постоянно повышенная температура и кровохарканье показывали, что туберкулез идет быстрыми шагами. Я сидела в № 26, он—в № 22. Нас разделяли три камеры. Ближайшим соседом Ю. Н. был С. Иванов. Последние три месяца каждый день он стуком сообщал мне t°, бывшую у Ю., через цепь других соседей и прибавлял: «четверть стакана крови», «полстакана крови», и так изо дня в день. Он не кашлял тем ужасным кашлем, которым кашлял Исаев, и на этот раз мы *не слышали* предсмертной агонии: он умирал тихо и до конца бодрился и мог даже шутить. 18 июля 1888 г. он скончался. Его смерть была для меня



Ю. Богданович.

громадным потрясением. Я в первый раз поняла тут, почему люди носят траур: свет солнца, яркие желтые цветы, которые распустились в огороде, были нестерпимы для глаз; я не хотела выходить на воздух и могла читать только библию, которая давала мне своеобразное утешение. В тетрадях, которые я вывезла из Шлиссельбурга, у меня были занесены маленькие записки Ю. Н. от 1887 г., когда впервые нам дали бумагу. Когда, уезжая из крепости, я жгла письма товарищей, письма Ю. Н. я только затерла, надеясь, что следы в тетрадях помогут мне потом восстановить текст. Тщетно я заучивала слово в слово эти записки, стирая резиной, чтобы тюремные и всякие другие власти не могли прочесть—память не могла удержать слов без намека, который могли дать хотя бы стертые буквы. Но тетради, оставленные мной в 1907 году в Финляндии, пропали у знакомой, которая должна была их сохранить.

В заключение приведу стихотворение Ю. Н., помеченное 22.II 1888 г. и названное «Завещанием».

Есть площадь с пролитою кровью святой:
На ней вы, друзья, соберитесь.
И честь воздавая, с поднятой рукой
От чистого сердца клянитесь:
Служить бескорыстно народу,
Друг друга любить, защищать,
Бороться за честь и свободу
И знамя высоко держать.
То знамя, что в клочья избито
При схватках с упорством лихим
И кровью борцов тех облито,
Что пали, сражаясь под ним!
Затем, пусть достойнейший чести
Священное знамя возьмет
И с призывом к битве и мести
Его над толпой вознесет.
Воспрянет отвагой свободной
Тогда даже сердце раба,

И силою воли народной
С победой сдружится борьба.
Других же знамен не берите—
Славнее его не достать...
Но с ним вы идите, будите
Уснувшую родину-мать...
Прекрасна, о братья, свобода!
И силы волшебной полна!
Но с пользою в руки народа
Берется лишь в битвах она!

II

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ [1]).

К 1-му изданию 1906 г.

«... Посылаю вам небольшой сборник своих стихотворений. Я выбрала лучшие, вернее сказать—те, которые казались такими мне и моим товарищам по заключению, хотя они одобряли и многие другие, вероятно, из снисходительности к автору. Из них некоторые уже были в печати в разное время в разных изданиях и по тем или другим причинам нравились, быть может, как характерные для тюремного настроения, а, быть может, из интереса к автору, так как публика относится ко всем нам с такой сердечной теплотой и вниманием, что чувствуешь себя положительно подавленной сознанием, что на такую любовь, на такое горячее отношение надо бы ответить чем-нибудь громадным, каким-нибудь подвигом,—а удастся ли в жизни оплатить деятельностью то, что дано больше всего пассивным перенесением заточения?...

... Признаюсь, к художественному значению моих стихов я отношусь отрицательно. Настоящее место им было бы, кажется, в воспоминаниях о Шлиссельбургской крепости. Написанные часто в порыве горести, в слезах при воспоминании о матери и сестре или об умерших товарищах,—

---

[1]) Из письма к П. Ф. Якубовичу.

быть может, они и представляли бы там известный интерес, а вне мемуаров—каков удельный вес их?..

Впрочем, и душевные настроения стихи эти отражают далеко не полно. Некоторые стихотворения я забыла и восстановить не могу; другие, быть может, и весьма характерные для тюрьмы, очень слабы по форме. Конечно, только истинный поэт мог бы воплотить в звуки все фазы ярости, острого, как нож, отчаяния и настоящей душевной агонии,— все, что было пережито в разные периоды 22-летия. Чего-чего не было за это время! И настроение христианской мученицы, готовой все снести с кротостью агнца,... и ярость пантеры, заключенной в клетку и грудью и когтями бьющейся в ней в порыве неутолимого желания свободы,.. и бесконечная снежная пелена, когда все застыло, все успокоилось, и началось существование «без настроения», без острого страдания, без мук от сознания своих сил и своего бессилия, когда думалось, что уж «свершилась судьба», и единственный исход — смерть, естественная, спокойная, с бледным утешением, что ляжешь рядом с теми, кто умер раньше, и заслужишь такое же теплое чувство, которое сам питаешь к дорогим покойникам.

... И вдруг! опять удар в замкнутую дверь... стук жизни, призывающий: «Восстань и гряди!». Ах, П. Ф., когда человек уже решил, что все кончено, и примирился с этим, отказался жить, то быть вновь разбуженным криком «живи!»— это целая трагедия, мука, от которой даже и сейчас я не могу еще освободиться... Но не буду уж писать об этом.

... В конце сборника можно бы поместить «Пали все лучшие», посвященное погибшим в заключении товарищам. Это и хронологически—последнее стихотворение; после него источник иссяк...».

Лопатину [1]).

Нам выпало счастье—все лучшие силы
В борьбе за свободу всецело отдать...
Теперь же готовы мы вплоть до могилы
За дело народа терпеть и страдать!..
Терпеть без укоров, страдать без проклятий,
Спокойно и скромно в тиши угасать,
Но тихим страданьем своим—юных братий
На бой за свободу и равенство звать!

12 окт. 1887 г.

---

[1]) Первое стихотворение, написанное мной в ответ на стихотворение Германа Лопатина, каждый куплет которого начинался словами:

«Да будет проклят день, когда
Впервой узрел я эти своды
И распростился навсегда
С последним проблеском свободы!».
Да будет проклят день, когда
На муку мать меня родила,
В безумной радости тогда
Меня тотчас же не убила
И т. д.

Тук-тук [1]).

Полно, сосед, заниматься!
Мало ль на свете наук?!
Если за все приниматься,
Жизни не хватит, мой друг!
Молод ты. Сил не жалеешь!..
Рвешься скорей все узнать...
Полно, мой милый, успеешь
Ты стариков обогнать!
Кинь же ты книжку на время—
Выйди из храма наук!
Сбрось отвлеченностей бремя
И отзовись на мой стук...
Тук-тук!

13 декабря 1887 г.

---

[1]) Панкратову.

Памяти Баранникова.

Зачах ты в страданьях неволи,
Прекрасный, отважный герой!
Достоин был лучшей ты доли,
Мечтал ты о смерти иной.

—

Тебя в равелине сокрыли —
Нашли неудобным казнить...
Но жизнь лишь затем подарили,
Чтоб медленной пыткой убить!

—

С душою отважной и страстной
Для бурь ты был создан и гроз:
Погибнуть на битве опасной
Мечту ты в могилу унес.

—

Ты не был апостолом слова,
Героем болтливой толпы...
С душою закала иного
Искал ты и жаждал борьбы!

—

Поборник свободы и чести
В стране миллионов рабов,

Казался ты ангелом мести,
Вождем непокорных духов...

—

С лицом горделивым и страстным
Ты мог бы толпу повести,
И знамя—движением властным—
«Свобода иль смерть» вознести.

18 декабря 1887 г.

* *
*

Прощальный взгляд сестры любимой
Доселе в сердце я храню:
Тот взгляд любви невыразимой
С собой и в землю схороню!

Казалось, в трудный час разлуки
Все чувства вдруг проснулись в ней,
И любящего сердца муки
Отозвались в душе моей...

В надежде увидаться снова
Ушла... не оглянулась мать!
Сестра-ж осталась у порога,
Чтоб этот взгляд последний дать.

Со взором, полным состраданья,
С глубокой скорбью и тоской
Безмолвным символом страданья
Она стояла предо мной.

Когда бы поднял надо мною
Палач на плахе свой топор,
Едваль бы с большею тоскою
Смотрел тот жгучий, скорбный взор!

И стало на́ сердце мне жутко —
А все в дверях стоит она...
Но вот одна, одна минутка —
И связь живая порвана...

Дверь заскрипела, закачалась
И хлопнула в последний раз...
За нею та же скорбь осталась,
Но не видать уж скорбных глаз!

1 января 1888 г.

Розы.

В тюрьме Шлиссельбургской, в казарме глухой,
Среди дисциплины и будничной прозы,
Я все вспоминаю те чудные розы,
Что ты принесла в дни суда надо мной.

Прекрасны и свежи те были цветы —
От чистого сердца дарила их ты...
И нежно, казалось, шептали они
О воле, о счастьи в те скорбные дни...

Скажи-ж, почему иногда так тосклива
Мне память об этих прелестных цветах?
Должно быть, была я глубоко-счастлива,
Читая любовь в твоих милых глазах!

Теперь же не вижу я ласки твоей...
И чувством тяжелым сжимается грудь,
Когда, отвернувшись от стражи моей,
Я слезы о розах спешу отряхнуть!

Но все-ж хорошо, что ты их подарила,
Что есть здесь, порою, о чем помечтать...
Последние в жизни ты розы вручила —
Да будет за то над тобой благодать!

1 января 1888 г.

Матери.

Если, товарищ, на волю ты выйдешь,
Всех, кого любишь, увидишь, обнимешь,
То не забудь мою мать!
Ради всего, что есть в жизни святого,
Чистого, нежного, нам дорогого,
Дай обо мне ты ей знать!
Ты ей скажи, что жива я, здорова,
Что не ищу я удела иного —
Всем идеалам верна...
Было мне трудно здесь первое время:
Страшно разлуки тяжелое бремя...
Думала—сломит она.
Но не сломила... Теперь не бледнею,
Что уж надежды в душе не имею
Мать дорогую обнять!..
Мать не прошу я любить: сердце чует,
Что и без просьб она любит, горюет,
Образ мой в сердце хранит.
Но пусть не плачет, меня вспоминая:
Я весела... я бодра... Пусть родная
Горем себя не томит!
Пусть лишь в молитвах меня поминает,
Пусть лишь крестом издали осеняет—
Дочь трудный путь да свершит!..

16 января 1888 г.

Старый дом.

Вот деревня... вот дом... К небесам
Поднимаются стройные ивы...
Вьется змейкой река по лугам,
А кругом расстилаются нивы...
Не затейлив пейзаж, и не раз
Я видала красивей картину!
Но привычный и любящий глаз
Все рисует тот дом, ту равнину.
Сколько лет я уж там не была!
Но знакомо там все и все мило:
Там я детство свое провела,
Там училась, росла и шалила...
Этот дом уж давно опустел
И стоит молчалив, как гробница...
А когда-то он смехом звенел,
И мелькали в нем милые лица.
На каникулы шумной толпой
Мы в родное гнездо прилетали...
Шаловливой, веселой гурьбой
Мать с отцом, как венком, окружали..
Там я первую книжку прочла:
Мысль и чувство над ней пробудились...
Там же после цель жизни нашла —
Идеалы в душе зародились.

В тех местах услыхала впервой
Я горячие речи признанья...
Там мне брат положил золотой
В башмачок пред обрядом венчанья...
Там добру и науке с сестрой
Свою жизнь посвятить мы решились
И, судьбу вызывая на бой,
Над отцовской могилой склонились...
Мудрено ли, что эти места
Сердцу дороги, в памяти живы?
И в душе не смолкает мечта —
Еще раз услыхать шелест ивы.

24 января 1888 г.

Колыбельная песнь.

Милый узник, спи спокойно,
Баюшки-баю!
Если-ж сердце беспокойно,
Хочешь — песнь спою?
Ты боролся за свободу
И гнезда не вил;
Счастья ты желал народу,
Для себя не жил.
Знал ты в жизни узы братства,
Но семьи — не знал!
Ни почета, ни богатства
В жизни не искал.
Если жизни не отняли —
Ты ли виноват?
А за подвиг если-б взяли —
Был бы счастлив, рад.
Есть предание седое,
Что когда-то встарь
Испытать бойца-героя
Вздумал хитрый царь.
И послал ему цветные
Камни и парчи,
Жемчуг, кубки золотые,
Стрелы и мечи.

Не прельстился витязь златом
И не взял жемчуг,
Но пленился он булатом —
Выбрал меч да лук...
Пред тобой судьба стояла,
Полна тайных чар:
Все, что любо, предлагала...
Что-ж ты выбрал в дар?
. . . . . .
Много-ль, мало-ли ты сделал —
Что судить, рядить?
Чашу жертв ты всю изведал —
Будут то ценить!
Идеальное стремленье
С нами не умрет!
Молодое поколенье
С нас пример возьмет.
Спи же узник, спи спокойно,
Баюшки-баю!
Если-ж сердце беспокойно —
Брось ты песнь мою!..

25 января 1888 г.

Соседу [1]).

После долгой и скучной зимы,
Если встретит наш взгляд луговинку,
Все невольно любуемся мы
На воскресшую к жизни травинку.
Если детские годы прошли,
И узнали любовь мы впервые,
То хотя-б идеал не нашли,
Не забудем мы чувства былые...
Если жизнь всех друзей отняла,
И вошли мы в тюрьму одиноко,
Первый друг, что неволя дала,
Всегда врежется в сердце глубоко!

30 января 1888 г.

---

[1]) Панкратову.

Сестре.

В простом и легком ты наряде,
Румянец на щеках горит...
Пытливый ум горит во взгляде
И сердце чуткое сулит.

Кругом весны благоуханье...
В саду все яблони в цвету...
И птичек гам, и пчел жужжанье,
И свет, и тени на лугу...

Здорова ты, резва, счастлива,
Легко тебе среди цветов...
И звонкий смех звучит игриво
То здесь, то там, среди кустов.

Но в восемь лет не все-ж резвиться,
И хочешь умницей ты быть:
На час готова ты смириться,
Над книжкой голову склонить...

И вот ты в комнате и важно
«Слона и Моську» говоришь,
Иль ручкой маленькой отважно
Кривые А и Б чертишь.

А ввечеру ты вся—вниманье:
Тебе рассказ читают вслух...
В нем, повествуя о страданьи,
О трудной доле, детский друг

От голода в борьбе с нуждою
Швею заставил умирать...
И слышу—с детскою тоскою
Ты громко начала рыдать!

7 марта 1888 г.

***

Солнца луч золотой,
Ты мне тайну открой,
Где сегодня летал
И кого ты видал?
Ты бывал ли в краях,
Что рисую в мечтах?
Ты скажи: жива-ль мать,
Что хотела-б обнять?
Так ли пышны поля,
Как видала их я?
Так ли много цветов
На просторе лугов?
. . . . . .
Полно, полно мечтать!
Твоя мать хоть жива —
Для тебя же мертва,
Как ни плачь — ни жалей,
Не увидишься с ней...
И про нивы, цветы
Брось пустые мечты...
Но нельзя мне стоять
И тебя утешать!..

1888 г.

***

Уж двадцать месяцев в тюрьме,—
И жду суда я, словно милость:
Изменят скоро силы мне—
Страданьем сердце истомилось.
Лишь как-нибудь бы дотянуть,
С лицом спокойным появиться,
На судей холодно взглянуть
И снова в келье схорониться!
Не смерти жду я от суда:
Я знаю — жизнь он мне оставит...
Но мертвенный покой тогда
В душе взволнованной настанет.
Вошла с расшатанной душой
Я в эти сумрачные стены,
И прогремел в них, вслед за мной,
Гул торжествующей измены...
Сюда с собой я принесла
Тяжелых дней воспоминанья,
Но здесь всю горечь испила
Безмолвной муки и страданья.
Здесь, за тюремною стеной,
Могу теперь я оглянуться —
Над разоренною душой,
В тоске, глубоко содрогнуться..

Одна я здесь, наедине,
Не надо лгать и притворяться;
В глаза никто не смотрит мне,
И скорби я могу отдаться.
Кругом души живой здесь нет:
Не растопчу ничьи я грезы!
Не грянут здесь от стен в ответ
Ни крик отчаянья, ни слезы!
Гнет вывесок и кличек спал,
Освободился ум стесненный,
И человек во мне восстал,
Подавленный и угнетенный...
И все, что в глубине души,
На самом дне ее таилось,
Среди таинственной тиши —
Грозою страстной разразилось.
Так, переполнясь до краев,
Река из русла выступает
И, разломав покров из льдов,
Луга и нивы затопляет.

16 марта 1888 г.

Л. А. Волкенштейн.

Не на воле широкой — под сводом тюрьмы
Мы впервые с тобой повстречались
В те тяжелые дни, когда с жизнию мы
Пред суровою карой прощались...
Было мне в эти дни не до новых людей:
Жизнь прошедшая мне рисовалась...
Проходил предо мной ряд погибших друзей,
Братство славное мне вспоминалось...
С этим братством несла я тревоги борьбы —
Силы сердца ему отдавала:
Все несчастья, измены, удары судьбы
До последнего дня разделяла...
Но союз наш, борьбою расшатанный, пал,
Неудачи его сокрушили:
Беспощадно суд смертью одних покарал,
В равелине других схоронили...
И пришлось в день расчета одной мне предстать
С грустным взором, назад обращенным,
Между новых людей одинокою стать
С думой тяжкою, с сердцем стесненным...
Мудрено-ль, что тебе, как подруге чужой,
Равнодушно я руку пожала?
Жизнь кончалась, и ночь надо мной
Свой туманный покров расстилала...

И не думала я, что со мной ты войдешь
В эти стены делить одно бремя,
Что в тебе я опору и друга найду
В безрассветное, трудное время!

Март 1888 г.

***

День-денской за работой сидишь
Одиноко, в тоске безысходной,
За иглою тревожно следишь
Взором, полным досады бесплодной.
Здесь работа — пустая игра,
Развлеченье от давящей скуки;
Равнодушно берется игла,
Бесполезно работают руки.
И найдет же порой день такой,
Засосет тебя словно трясина,
Потеряешь всю власть над собой,
Опротивеет жизни рутина.
И досада в душе закипит...
Все наскучило, все надоело!
Глаз недоброю искрой горит,
Ни на что бы кругом не глядела.
И хотелось бы все разнести,
Все уставы сломать, все преграды,
И в безумном порыве найти
Хоть минуточку жгучей отрады!

20 марта 1888 г.

* * *

В казарме этой, всем постылой,
Есть милый уголок один,
Где узник скучный и унылый
Припомнить может рай долин,
Благоухающее поле,
Деревню, сад и свою мать,
Когда в счастливой детской доле
Он помогал цветы ей рвать...
Все вспомнит он, и с восхищеньем,
Понятным только здесь, в тюрьме,
Сорвет цветок... и с утешеньем
Вернется в камеру к себе.

1883 г.

* * *

Когда нахлынувшие воды
В ковчеге Ноя заключили
И дорогой для всех свободы
На долгий срок его лишили,
И в заключении вздыхая,
О травах и цветах мечтая,
Смотрел он вдаль на Арарат
И принесла с крутой вершины
Ему голубка ветвь маслины,—
Едва ли был он больше рад,
Чем я, когда мне голубь странный
Принес левкой благоуханный,
Чтоб показать, что не покрыта
Песком сыпучим вся земля
И что в ковчеге не забыта
Друзьями милыми здесь я.

1888 г.

Манучарову.

(Ответ на шутку товарища).

Напрасно, товарищ, смеешься над хлебом...
Конечно, не он дух героя питал!
Но плоть немощна, и расслабленных телом
От гибели дух никогда не спасал!

На острове здесь не одна есть могила,
Травою покрыта, без плит, без креста...
Там хлебом тюремным загублена сила,
И дух не был сломлен,—да смолкли уста.

Апрель 1888 г.

Библия.

Книга прекрасная! Повесть народная
Краткого блеска, немногих побед
И бесконечная летопись скорбная
Горя, страданий и бед!..
В муках томления, в скорбях падения
Древний народ, как живой, восстает...
Кончено все — для него нет спасения!
Чаша полна — и он гибель найдет!
Он же, разбитый, несчастный, отверженный,
В прах пред людьми и пред богом повер-
женный,
Все еще верит и все еще ждет...
Верит с надеждою, ждет с упованием,
Что за тяжелым и долгим страданием
Час его славы и блеска придет!
Чудная повесть! В ней сердцем страдающий
Странный покой обретет:
Жгучее горе в душе изнывающей
Смолкнет... на время заснет...
Власть непонятная, сила волшебная
Древним словам этой книги дана!
В муке народной есть сила целебная —
Сердце больное врачует она!

21 июля 1888 г.

* * *

Сегодня в ночь по городам,
По селам, скромным деревням,
Повсюду громкий звон идет —
Он в храм торжественно зовет...
И там, средь тысячи огней,
Блестящих риз, лампад, свечей
Крест золотой всех осенит
И гимн прекрасный прозвучит
Глубоко-радостной волной
Над умиленною толпой...
В том храме с праздничным лицом
Когда-то в детстве пред крестом
И мы стояли... и с толпой
Своей сливалися душой...

. . . . . .

Стряхнули мы с себя давно
Преданий тесное ярмо,
И вера в нас, если была,
Давно угасла, умерла...

. . . . . .

Хоругвь, молитва, божий храм —
Все позабыто, чуждо нам...
Но чуть лишь звон тот к нам дойдет—
Он все забытое вернет.

И тянет вновь с толпою быть,
Одною жизнью с нею жить!
Туда, в веселый мир огней,
Где праздник... свет... где нет теней...
И пусть уж в сердце веры нет —
В нем чувства детского есть след!

8 апреля 1889 г.

* * *

Благодарю, что за стеною
Ты жизнь напомнил мне, поэт!
Я вновь пережила мечтою
Все то, чего давно уж нет...
Не даром легкими штрихами
Ты ярко так нарисовал
Реку с крутыми берегами
И сад, где соловей певал...
Картины летней ночи встали
В воображеньи предо мной:
Казалось, звезды вновь блистали
Над вновь свободной головой.
Ряды деревьев красовались
По берегам сплошной стеной,
И звуки песни раздавались
Над тихой, чудною рекой...
Все на земле давно уж спало,
А в небесах плыл серп луны,
И песня сладко замирала
Под тихий плеск речной волны...

Май 1889 г.

* * *

Милые, дальние детские годы!
Вы, как весенние нежные всходы—
Любо на раннюю нивку взглянуть,
Взором усталым на вас отдохнуть!

Ровною бархатной вы пеленою
Стелетесь в синей дали предо мною,
Свежие, чистые... Что, как не вас,
Мне рисовать здесь в мучительный час?

Там, вдалеке, нет борьбы и тревоги...
Там не заказаны жизни дороги...
Мир необ'ятный с приветом глядит,
Счастье и радость в грядущем сулит...

О, благодать!.. Там в душе нет томлений,
Ярости взрывов, враждебных стремлений...
Тихо на сердце, в душе нет страстей—
Ясная зоренька брезжится в ней!..

Муки страданья, потери, печали
Ядом горячим на сердце не пали—
Светел, здоров еще девственный ум,—
Нет на душе тяготеющих дум!..

Июнь 1889 г.

* * *

Мне дерево мнится в лесу иногда—
Подрублено вплоть до средины...
Его древесина, как прежде, тверда,
Да нет уж почти сердцевины.
Глубоко топор беспощадный рубил,
И черная рана зияет...
До самого сердца металл доходил,
И червь его дело кончает.
Кудрявая зелень, как прежде, пышна,
Но яркий листок уж бледнеет,
И медленней катится жизни волна,
И медленно сила слабеет...
Кругом, как и прежде, теснятся толпой
Могучие дубы, как братья,—
Сплетаясь вершинами в чаще лесной,
К нему протянули об'ятья.
И солнце над ним, как и прежде, блестит,
Лучами его согревая,
И ветер, как прежде, в листве шелестит,
Неясную песнь напевая.
Но что-ж из того?.. Сила жизни взята,
И в сердце энергия тухнет...
И червь его точит, и в нем пустота...
— Ужели воспрянет, не рухнет?!

17 июля 1889 г.

* * *

Тихий твой привет нежданный
Мысль и чувство пробудил,
Но покровом мглы туманной
Он мне душу омрачил.
Поздней осенью, порою,
Так по лесу пробежит
Тихий ветер и листвою
Пожелтевшей зашумит.
Тот осенний ветер дальний,
Те умершие листы
Говорят, как друг печальный,
Как увядшие мечты...
Грустно станет поневоле...
Бросишь взгляд вокруг и вдаль:
Все мертво—и лес, и поле,
И наводит все печаль...
Световые переливы
В желтых листьях ловит взор,
А в душе вьют прихотливо
Мысль и чувство свой узор.

18 сентября 1889 г.

* * *

В минуты покоя иль проблеска счастья,
Когда есть надежда на жизнь впереди,
Полно наше сердце любви и участья—
Приветом и лаской бьется в груди.

Все люди, как-будто, нам братья родные.
Готовы мы страждущих бремя поднять...
Находят в нас отклик печали чужие,
Хотели-б скорбящих мы к сердцу прижать!

Для всех тогда нужное слово найдется:
С горячею силой оно прозвучит...
И сердце больное ровнее забьется,
Когда к нему с лаской оно долетит!

В душе—словно чистый родник, что струею
Прозрачной из недр земли-матери бьет,
И жаждущих всех напояет собою,
И всем свою тихую песню поет.

В минуты же тяжких душевных терзаний
Любовь исчезает в груди без следа:
Смолкает в ней все, кроме личных страданий,—
И людям нет доступа к сердцу тогда...

Уже не срывается слово живое
При виде людских испытаний и бед,

И сердце, к чужому несчастью глухое,
Дает лишь сухой, безучастный ответ...

В такие минуты и друг наш любимый
Напрасно за лаской обычной придет—
Уйдет он, все тою же жаждой томимый,
У нас утешенья себе не найдет...

Так путник порою в степи тщетно ищет
Знакомый родник и к земле припадет:
Он в русле засохшем лишь камень отыщет,
Песок раскаленный один лишь найдет...

Декабрь 1889 г.

Морозову [1]).

Под новый год, приняв твой дар,
Ряд городов я пробегаю
И под влияньем смутных чар
Я нашу быль припоминаю...
Вот здесь с тобой мы обнялись,
Когда в тюрьме, после разлуки,
На час коротенький сошлись,
Чтоб нежно сжать друг другу руки.
Вот здесь, чтоб родине служить,
Мы тщетно средств к тому искали;
А здесь, чтоб гнет скорей сломить,
Нить заговора заплетали...
Везде идее преданы,
Едва-ль где счастливы мы были...
Но все-ж, борьбой увлечены,
Тогда не спали мы, а... жили!

31 декабря 1889 г.

---

[1]) Перед географической картой.

* * *

Словно осенний туман надо мной
Темный покров расстилает,
Смутно-неясной, тяжелой волной
Душу мою заливает.
Все пеленою своею прикрыл,
Все очертания сгладил,
Яркие краски и образы смыл,
Серую мглу лишь оставил.
Тяжкой кручиной она налегла
На́ сердце, грудь придавила,
Саваном чувства мои облекла
Силы к земле приклонила.
Тщетно хочу я туман разогнать,
Сбросить, стряхнуть мглу седую,
Тщетно хочу силой воли сломать
В сердце кручину глухую!
Нет силы воли... энергии нет...
Никнет мой дух пред печалью...
И среди туч не является свет
С ясно-лазоревой далью.
Позднею осенью в пасмурный день
Туч дождевых не рассеять;
Мглу, и туман, и печальную тень
В сердце моем не развеять!..

3 января 1890 г.

* * *

Когда в неудачах смолкает борьба
И жизнь тяготит среди травли жестокой,
На помощь, как друг, к нам приходит судьба,
В тюрьме предлагая приют одинокий.
С умом утомленным, с душою больной,
В живую могилу мы сходим
И полный поэзии мир и покой
В стенах молчаливых находим...
И жгучее чувство в груди день за днем
Под каменным сводом стихает,
Как солнца палящего луч за лучом
В вечерней заре потухает.
И чудится, ночь разлилась над землей
И веет в лицо нам прохладой,
И, зноем измучены, воздух сырой
Вдыхаем мы с тайной отрадой.
И пусть нам придется в тюрьме пережить
Ряд новых тяжелых страданий,—
Для сердца людского род мук изменить
Порой есть предел всех мечтаний!

25 февраля 1890 г.

* * *

Когда мы летнею порою
В лесную чащу забредем
И под густой ее листвою
Прохладу тихую найдем...
И смолкнет где-то в отдаленьи
Весь шум и гам толпы людской
И слышим мы лишь птичек пенье,
Да шелест листьев над собой,—
Наш ум невольно отражает
Глухую леса тишину,
И все нам в душу навевает
Мечтанья смутную волну...
Так и в тюрьме уединенной
Вдали от жизненных забот,
Ум, тишиною окруженный,
Нас в мир таинственный влечет...
И в дни глубокого молчанья,
Когда живешь лишь сам с собой,
В душе царят одни мечтанья,
Да леса темного покой...

7 марта 1890 г.

Весна.

Расскажи мне, мой милый, мой любящий друг,
Почему, когда солнце сияет
И тепло, и светло все вокруг,
Чувство грусти мне сердце сжимает?
Почему этот чистый лазоревый свод,
Что лелеет глаза синевою,
Лучезарной красою гнетет,
Вызывает страданье глухое?
Почему под живительным вешним лучом
В отупении, в позе усталой,
Я склоняюсь печальным лицом
Без движенья, в апатии вялой?
Почему поскорее уйти я спешу
От весны, от лазури небесной,
И как-будто бы легче дышу
Я в тюрьме моей, душной и тесной?

Апрель 1890 г.

* * *

Склонясь задумчиво, рукой
Песок я здесь перебираю...
И вижу берег пред собой
И в мир иной перелетаю!
Вдали от стен тюрьмы глухой
Песочек этот расстилался,
На берегу реки большой
Он на просторе красовался.
Кругом стоял сосновый лес,
Ветвями темными качая,
А необ'ятный свод небес
Сиял, весь берег озаряя.
И день, и ночь с речной волной
Там золотой песок шептался...
В полдневный зной и в час ночной
С ней поцелуями менялся...
Теперь же с грустью о волне
И о просторе он вздыхает,—
И берег свой рисует мне
И в мир свободы увлекает...
И мнится мне—то берег Цны,
Зеленый свод сосны душистой,
То синий вал морской волны
И берег Крыма золотистый.

22 мая 1890 г.

* * *

Когда в неволе мы порою
Бросаем взгляд вокруг и вдаль,
И тяготеют над душою
Лишь полусумрак и печаль—

Наш стих те чувства отражает,
Что нас волнуют в горький час,
И грудь он нашу облегчает,
Как брызги слез из скорбных глаз...

1 июля 1890 г.

* * *

На небе солнышко играет,
Бежит узор из облаков,
И ветер тихо колыхает
Головки белые цветов.
В тюрьме простора нет большого:
Везде песок, стена, забор...
Клочок лишь неба голубого
Да те цветы ласкают взор.
Порой, с тоскою затаенной,
На это небо поглядишь
И взор, со всех сторон стесненный,
На те цветы вновь обратишь.
Цветы простые, полевые
Взросли случайно—три куста.
Да, только три... Но все-ж родные
Они рисуют мне места!..
И мнится мне село родное,
Небес свободных синева,
И луг любимый за рекою,
Его цветы, *его* трава!...
Как хорошо в траве душистой
В беспечной неге полежать,
Смотреть на свод лазури чистой,
Следя за облачком, мечтать!..

На небе солнышко играет,
Из облаков узор плывет,
Цветами ветер колыхает—
И шелест по лугу идет!..

Июль 1890 г.

Ашенбреннеру.

Когда-то он добрым соседом мне был,
Капризы мои терпеливо сносил...
В тяжелые дни, когда сильно грустила,
Сочувствие в нем я к себе находила.
В бессонные ночи тяжелой тоской
Сжималося бедное сердце порой,—
Тогда в поздний час ему в стену стучала
И звук безыскусственной речи простой
Меня успокаивал...—боль утихала...
Так вот почему с благодарной душой
О грешнике я вспоминаю,
Так вот почему я свой дар небольшой
Под праздник ему посылаю.

1890 г.

Похитонову.

О нашем будущем мечтая,
Хочу, чтоб ты дождался дней
Когда страна наша родная
Вздохнет вольней.
Когда среди родных полей
Свободы весть в ней пронесется
До отдаленнейших морей,
И все, что спит теперь, проснется.
Когда воскреснут к жизни в ней
И, сбросив тяжкую дремоту,
За плодотворную работу
Возьмутся тысячи людей!..

1890 г.

Лопатину.

Ах, поверишь ли ты, что от шутки порой
Не улыбка лицо озаряет,
А сжимается сердце тяжелой тоской
И слеза на глаза набегает...
Отчего же бывает от шутки больней
В обстановке суровой неволи—
Я не знаю... Контраст поражает ли в ней?
Равнодушие слышится, что ли?
Только часто крепишься, чтоб слезы сдержать,
И хоть трудно, но все-ж удается...
А придется шутливую речь услыхать—
И наружу все горе прорвется...
Многосложна душа: много мест в ней больных,
Не одна к ним дороженька вьется...
Взять захочешь аккорд, полный звуков живых,
А глядишь—диссонанс раздается!
Так поверь же ты мне, что от шутки порой
Не улыбка лицо озаряет,
А сжимается сердце тяжелой тоской
И слеза на глаза набегает.

1890 г.

Морозову. [1])

Я строки милые читала,
И на душе царил покой...
Казалось, птичка щебетала,
Взвиваясь к небу надо мной...

Мой взор, к лазури обращенный,
В высотах чистых утопал,
Мечтой поэта увлеченный,
Он мир неведомый искал.

Звучала речь: слова, деянья
Не для земли одной живут,
Но в бесконечность мирозданья
Они добро иль зло несут...

И там далеко, где мечтаньем
Одним лишь можем мы витать,
Иных существ они страданьем
Иль счастьем могут наделять...

Мой друг! Над нами тяготеет
Судьбы железная рука,
Душа в бездействии черствеет,
Гнетет и гложет нас тоска...

---

[1]) На рассказ «Четвертое измерение вселенной».

Но благородны твои грезы
И к идеалу нас влекут.
В потемках зла, в потемках прозы
К любви, к добру они зовут...

ноября 1891 г.

* * *

Ужели, товарищ, обида проходит
В душе мимолетною летней грозой,
И ясное, теплое солнышко всходит,
Как прежде, за бурей, над нашей душой?!
Ужели же бури дерев не сгибают,
Ветвей не калечат и листьев не мнут?
Ужели обиды души не ломают
И лучшие чувства не рвут?

1891 г.

* * *

Когда свою мысль облекаешь
Ты в стройную форму стихов
И сложное чувство влагаешь
В пределы размеренных строф,—
Казалось тебе, что сначала,
Как-будто всю мысль ты излил,
И формой законченной стало
Все то, что в душе ты носил?
Но раз и другой прочитаешь,
И в сердце сомненье войдет,
Пробелов ты ряд открываешь,
В душе недовольство растет.
Штрихи, что казались правдивы,
Невнятно уму говорят,
Оттенки и чувств переливы,
Как дальнее эхо звучат.
И все, что ты в мыслях лелеял,
Что вырастил в сердце, любя,
Холодный анализ развеял,
И стих твой коробит тебя!..
И стыдно тебе и неловко:
Не лучше ли все изорвать?
И глянул на друга ты робко—
Какого суда тебе ждать?

1891 г.

* * *

Кто радость дал нам хоть на час
И озарил наш путь любовью,
Чье сердце вдалеке хоть раз
В тоске за нас облилось кровью,—
Того, мой друг, не укорим,
Что мимолетно было счастье,
Но от души благословим
И в день холодного ненастья!

1892 г.

И. Л. Манучарову.

Конечно, ты с искренней верой писал,
Но все-ж увлекался мечтами,
Когда нам бессмертье вдали обещал
И щедро дарил похвалами.
Пускай за свободу на гибель мы шли...
История нас не помянет!
Все жертвы возможные мы принесли,
Народ величать нас не станет!
Поверь: мы в печальное время живем
И жизнь столь же темной оставим...
В неволе, в глуши, здесь в могилу сойдем
И смертью себя не прославим.
Да мало-ль на свете бывало людей,
Что страстно к свободе стремились,
Числа нет для жертв, что принесены ей,
А многие-ль славы добились?
Не будем же гордых иллюзий питать!
О славе мечтать позабудем!
В исполненном долге отраду искать
В своем заточении будем!

1892 г.

* * *

Порой в тоскливую неволю
Живая книга попадет
И вдруг поманит за собою
И в жизнь людскую увлечет.
Борьба и труд, к добру стремленье,
Любовь и радости людей
И их страданья, их мученья
И горечь едкая страстей,—
Все воскресает пред глазами
В картинах, в образах живых,
Рисуясь яркими чертами
В однообразьи дней глухих.
И чуешь в мертвом сне застоя,
Томящей душу пустоты,
Как-будто веянье живое
Надежд иль призрачной мечты...
Склонясь над книгой, забываешь
Свой тесный мир, тюрьму, себя...
С чужой душой свою сливаешь,
С ней ненавидя, с ней любя!..
И тою властью силы дивной,
Что мы сочувствием зовем,
В минуты те, хотя фиктивной,
Но все же жизнью мы живем.

Декабрь 1892 г.

Яновичу.

Прости меня, мой друг, и знай,
Что создана я прихотливой,
И горячо не принимай
Ты каждый мой порыв строптивый.
Кротка бываю я порой,
Проста, любезна и сердечна...
Но берегись, друг милый мой, —
Та доброта не долговечна.
Пришла другая полоса:
На душу словно тень упала—
Не светят ласково глаза,
Как-будто дымка их заткала.
Строга, надменна, холодна,
Ко всем придирчива, сурова,
Чувств неприязненных полна,
Разбить, попрать я всех готова!
Напрасно ум тогда твердит:
«Ведь человек же пред тобою,
Наверно, сердце в нем болит!..»
Бессильна я пред волей злою.
Но миновал ненастный день—
Наутро солнце выплывает
И гонит сумрачную тень...
Мой добрый гений побеждает.

И стыдно мне... и жаль людей...
Зачем их мучила, терзала?
Зачем суровостью своей
Страдать душою заставляла?
И чувства доброго порыв,
Проснувшись раз, все нарастает,
Пока, всю силу истощив,
В другую крайность не бросает.
Так, бесконечной чередой
В груди моей два чувства бьются:
Капризно-нервною волной
Вперед бегут и вспять несутся.

1892 г.

* * *

Пали все лучшие... В землю зарытые
В месте пустынном безвестно легли!
Кости, ничьею слезой не омытые,
Руки чужие в могилу снесли...
Нет ни крестов, ни оград, и могильная
Надпись об имени славном молчит...
Выросла травка, былинка бессильная,
Долу склонилась— и тайну хранит...
Были свидетелем волны кипучие,
Гневно вздымаются, берег грызут...
Но и они, эти волны могучие,
Родине весточку в даль не снесут!

1897 г.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А.

Адриасевич, учитель гимназии в Керчи.—87.
Азеф, Евно Фишел. (Евг. Филип.), провокатор.—151—152.
Александр II, император.—16, 60, 84, 157, 253—254.
Александр III, император.—16, 63, 74, 84, 146, 188, 197, 213.
Александрин, Ал-др, политич. ссыльный на Сахалине.—97.
Александрова.—49.
Алексеев, Петр Алексеевич, революцион., ос. в 1877 г. по «проц. 50-ти».—54.
Алексеева, Олимп. Григ., член моск. кружка чайковцев.—160.
Алексей Мих., царь.—15.
Андреюшкин, Пахом Иван., революц., казнен в 1887 г. по делу «второго 1-го марта».—197, 213.
Анна Иоан., императр.—15.
Анненский, Ник. Федор., публицист и обществ. деятель.—245.
Аносов, Ник. Мих., чайковец, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—180—181.
Антоний, митрополит.—199—200.
Антонов, Петр Леонтьевич, народов., шлиссельб., ос. в 1887 г. по «проц. 21-го».—9, 17—18, 103, 116, 135, 137, 144—145.
Арончик, Айзик Борис., народов., шлиссельб., ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—58.
Ашенбреннер, Лидия Юльевна.—229—230.
Ашенбреннер, Мих. Юльевич, член воен. организ. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1884 г. по «проц. 14-ти».—10, 17, 44, 47, 90, 120, 185, 227—247, 305.

Б.

Бакунин, Мих. Алд-р., анархист-революционер.—16.
Балмашев, Степ. Валерьян., с.-р., казнен в 1902 г. за убийство мин. Сипягина.—147.
Баранников, Ал-др Иван., землевол., член Испол. Ком. «Н. В.», ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—63, 265.
Бардина, Софья Илларион., ос. в 1877 г. по «проц. 50-ти».—55, 254.
Безбородко, князь.—143.
Безроднов, врач в Шлиссельбурге.—47, 127—128, 134.
Белинский, Вис. Григ., изв. критик.—87, 321.
Белкин, студент.—88.
Бем-Баверк, Евгений, нем. экономист.—184.
Бестужев, Мих. Ал-др., декабрист.—16.
Бестужев, Ник. Ал-др., декабрист.—16.
Богданович, Марья Петр., ос. в 1880 г. по процессу Веймара.—250.
Богданович, Ник. Ник., мировой судья.—250—251.
Богданович, Юрий Ник. (Кобозев), чайковец, землевол., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1883 г. «по проц. 17-ти».—10, 39, 62, 91, 121, 162, 248—257.
Богишич, Балтазар Влас., профес. Одесск. ун.—88.
Боголепов, Ник. Павл., мин. нар. просв.—136, 147—148.
Богучарский, Вас. Як., историк.—9.
Бокль, Генри Томас, англ. историк.—88.

Бориславская, К. А., пианистка, жена Н. А. Морозова.—173.
Бохановский, Ив. Вас., член группы южных бунтарей, эмигрант.—183.
Брешко-Брешковская, Екат. Констант., народница, карийка, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—162, 191.
Бурцев, Владим. Льв., писатель-эмигрант.—9.
Буцевич, Ал-др Викентьевич, член воен. орган. «Н. В.», ос. в 1883 г. по «проц. 17-ти».—64, 74, 167, 238—239.
Бюхнер, Людвиг, нем. физиолог.—210, 231.

В.

Ватсон, Мария Валент., писат.—245.
Веймар, Орест Эдуард., врач, кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 11-ти»—250, 252.
Вейнберг, Петр Исаев., писатель.—11.
Венцлавович, Ан. Иосиф., жена И. Д. Лукашевича.—225.
Верещагин, Вас. Вас., художник.—135.
Вильмс, врач Петропавл. крепости.—63.
Витте, Сергей Юльевич, мин. фин.—123.
Виттенберг, Соломон, член группы южных бунтарей, казнен в 1879 г. по одес. «проц. 28-ми».—107.
Виттенбург, П. В., гидролог.—223.
Властелица, банковский делец.—115—116.
Войнаральский, Порф. Иван., революц.-народник, кариец, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—162, 181.
Волкенштейн, Ал-др Ал-др., врач, муж. Людм. Ал. В.—26—27, 96—97.
Волкенштейн, Людм. Ал-др., народов., шлиссельб., ос. в 1884 г. по «проц. 14-ти».—9—10, 16—17, 19—31, 33—35, 37—51, 96, 121, 126, 128, 241, 252, 281.
Волкенштейн, Сергей, сын Людм. Ал. В.—21, 27.
Волохов, Степан Ал-др., революц., ос. в 1887 г. по делу «второго 1-го марта».—97.
Воронцов-Дашков, Ив. Ив., граф.—65.
Вундт, Вильгельм, нем. философ.—185.

Г.

Гавронская, Вера.—11.
Гавронская, Роза Исидор., докторесса.—11.
Гаврюшенко, жандарм.—126—128.
Гангардт, коменд. Шлиссельб. крепости.—44, 48, 127.
Гарибальди, Джузеппе, изв. деятель итальянского освобождения.—86.
Гартман, Лев Никол. («Сухоруков»), землев., народов., эмигрант.—58.
Гвоздев, привлекался по «делу 193-х».—107.
Гегель, Георг-Вильгельм-Фридрих, немецк. философ.—185.
Гейкинг, жанд. офицер в Киеве.—57.
Геллис, Меер Яковл., кариец, шлиссельб., ос. в Одессе в 1880 г.—78—79.
Гельфман, Геся Мирон., ос. по «проц. 50-ти», народов.; ос. по «делу 1-го марта 1881 г.».—61.
Генералов, Вас. Денис., революц., казнен в 1887 г. по делу «второго 1-го марта».—197, 213.
Георгий Данил., князь.—15.
Герцен, Ал-др Иван., изв. публицист, эмигрант.—86, 229, 231.
Гершуни, Григ. Андр., с.-р., член «Боевой организ.», шлиссельб., ос. в 1904 г.—142, 148.

Гоголь, Ник. Вас., изв. писатель.—158, 246.
Голицын, Дм. Мих., князь, член Верх. Тайн. Совета.—15.
Гольденберг, Григ. Давид., народов., предатель, покончил с собою в тюрьме.—20—21, 23, 27.
Гра, Феликс, франц. писатель.—243.
Грачевский, Мих. Федор., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1883 г. по «проц. 17-ти».—9—10, 17—18, 39, 41, 59, 64, 66—76, 78—83, 241, 255.
Гриневицкий, Игнатий Иоахим., народов., 1 марта 1881 г. убил бомбой Александра II и смертельно ранил себя.—255.
Гутман, Р., гидролог.—223.

Д.

Дарвин, Чарльз, изв. англ. естествоиспытатель.—184.
Дебогорий-Мокриевич, Владим. Карп., член группы южных бунтарей, ос. в 1879 г. по киевскому «проц. 14-ти».—182, 255.
Дегаев, Сергей Петр., член воен. организ. «Н. В.», предатель и провокатор.—117—120, 240.
Дейч, Лев Григ., член группы южных бунтарей, чернопередел., один из основателей группы «Освоб. Труда», с.-д., ос. в 1884 г.—183.
Джевонс, Вильямс Стенли, англ. экономист и философ.—210.
Дическул, Леонид Апол., суд. по «делу 193-х», эмигрант.—28.
Добролюбов, Ник. Ал-др., изв. критик.—88, 195, 229, 231.
Дондукова-Корсакова, Марья Мих., княжна.—113, 200.
Драго, Ник. Иван., чайковец, землевол.—252.
Дрей, Мих. Иван., член одесской группы «Н. В.», кариец, ос. в 1883 г. по одес. «проц. 23-х».—89—90.
Дрентельн, А. Р., шеф жандармов.—57.
Дурново, Ив. Никол., мин. внутрен. дел.—25.
Дурново, Петр Никол., дир. ден. полиции, позже—мин. внутр. дел.—113, 189, 196.

Е.

Екатерина II, императрица.—15, 143.
Екатерина Михайловна, вел. княгиня.—108.
Елько, Петр Антон., народов., предатель.—108.

Ж.

Желябов, Андрей Иван., член Исп. Ком. «Н. В.», казнен по «делу 1-го марта 1881 г.».—61, 63, 87—89, 91, 118, 165, 237.

З.

Заславский, Евг. Осип., основатель «Южно-Рос. Рабоч. Союза», ос. в 1887 г.—89.
Засулич, Вера Ив., член группы южных бунтарей, чернопередел., эмигрантка, одна из основат. группы «Освоб. Труда».—57, 143.
Заркевич, врач Шлиссельб. крепости.—81.
Зибер, Ник. Иван., экономист.—86.
Златопольский, Савелий Соломон., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1883 г. по «проц. 17-ти».—35—36, 119, 255.
Зубковский, Афан. Андр., революц., кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 16-ти».—20, 27.

И.

Ибаев, Лев Конст., отст. поручик.—16.

Иванов, Вас. Григ., народов., шлиссельб., ос. в 1884 г. по «проц. 14-ти».—47, 127—128, 241, 243.
Иванов, Ив. Ив., студент, убитый нечаевцами в 1869 г.—180.
Иванов, Игн. Кирил., революц., кариец, шлиссельб., ос. в 1880 г. по киевскому «проц. 21-го».—30.
Иванов, Сергей Андр., народов., шлиссельб., ос. в 1887 г. в Спб. по «проц. 21-го».—50, 108, 112, 168, 265.
Ивановский, Вас. Сем., народник, эмигрант.—28.
Иванчин-Писарев, Ал-др Иван., землев., народов., адм. сослан в 1881 г.—162, 252.
Иоанн Антонович (Иоанн VI), император.—15, 82, 110.
Исаев, Григ. Прок., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1882 г. «по проц. 20-ти».—9, 17, 30—31, 52—53, 55—65, 184, 213, 256.
Ишутин, Ник. Анд., каракозовец.—16.

К.

Кабэ, Этьенн, франц. социалист.—94.
Казина, писательница, землевладелица.—250.
Кант, Иммануил, нем. философ.—185.
Канчер, Мих. Никитич, революц., ос. в 1887 г. по делу «второго 1-го марта», предатель.—196—197, 213.
Карпинский, профес.—218.
Карпович, Петр Владим., революц., шлиссельб., ос. в 1901 г. за убийство мин. Боголепова.—10, 17, 111—112, 135—156.
Кац, Конст., народник, эмигрант.—28.
Качура, Фома, с.-р., шлиссельб., ос. в 1902 г. за покушение на харьк. губ. Оболенского.—142.
Квятковский, Ал-др Ал-др., землев., член Исп. Ком. «Н. В.», казнен в 1880 г. по «проц. 16-ти».—57—58, 163.
Кеннан, Джордж, америк. журналист.—99.
Керенский, Ал-др Федор., член времен. правит.—224.
Кибальчич, Ник. Ив., народов., казнен по «делу 1-го марта 1881 г.».—58—59, 91, 182, 213.
Клеменц, Дм. Ал-др., чайковец, землевол., админ. сослан в 1881 г., этнограф.—161, 189, 250.
Клеточников, Ник. Вас., народов., делопроизвод. III отдел., ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—20, 56, 63.
Кобылянский, Людвиг Ал-др., кариец, шлиссельб., ос. в 1880 г. по «проц. 16-ти».—20, 27, 30, 35—36, 128.
Ковалевская, Марья Павл., член группы южных бунтарей, карийка, ос. в 1879 г. по киевскому «проц. 21-го».—43, 182.
Ковалик, Сергей Филип., народник-революц., кариец, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—162.
Ковальская, Елиз. Ник., черноперед., потом образовала собственную группу, карийка, ос. в Киеве в 1881 г. по «делу Ю.-Р. Р. С.».—43.
Колодкевич, Ник. Ив., член Исп. Ком. «Н. В.», ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—50, 63, 89, 118, 165.
Комиссаров, Мих. Степ., жанд. офицер.—152.
Конт, Огюст, франц. философ.-позитивист.—215.
Корба-Прибылева, Ан. Павл., член Исп. Ком. «Н. В.», карийка, ос. в 1883 г. по «проц. 17-ти».—74, 255.
Костюрин, Викт. Федор., член группы южных бунтарей, ос. в 1879 г. по одесск. «проц. 7-ми».—183.

Котляревский, тов. прокур. в Киеве.—57.
Кочаровский, Карл Роман., экономист-народник.—94.
Кравчинский, Сергей Мих., чайковец, землевол., эмигрант.—189.
Кропоткин, Дм. Ник., князь, харьк. губерн.—20—21, 27, 57.
Кропоткин, Петр Алексеев., чайковец, эмигрант, изв. анархист, ученый.—232, 253.
Круглый—раскольник.—15.
Крукс, Вильямс, англ. физик.—170.
Крумбюгель, издатель.—11.
Крылов, Ив. Андр., писатель.—158.
Кузнецов, Алексей Кирил., нечаевец, ос. в 1871 г. по «проц. нечаевцев».—179.
Куропаткин, Алексей Ник., генерал.—233.

Л.

Лавров, Петр Лавр., литер. псевдоним «Миртов», изв. писатель-революционер, эмигрант.—89, 236.
Лаговский, Мих. Федор., народов., админ. заключен в Шлиссельбург в 1885 г.—35, 39, 41, 241.
Лазарев, Егор Егор., революц., участник «проц. 193-х».—249—250.
Лассаль, Фердинанд, нем. социалист.—89.
Леббок, Джон, англ. естествоиспытатель.—210.
Лебедев, Владим. Петр., директор банка.—189.
Лебедева, Вера Дм.—189—190.
Лебедева, Татьяна Ив., член кружка чайковцев, член Исп. Ком «Н. В.», карийка, ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—189.
Левитский, Ник. Вас., устроитель артелей.—94.
Леонтьев 2-й, адвокат.—21.
Лермонтов, Мих. Юрьевич, изв. поэт.—158, 229.
Лесгафт, Петр Франц., профес.—171, 173—174, 202, 221.
Лешерн фон-Герцфельд, Марья Павл., землеволка, народов., в 1883 г. сосл. админ.—252.
Логовенко, Ив. Ив., член группы южных бунтарей, казнен в 1879 г. по одес. «проц. 28-ти».—107.
Лопатин, Герман Ал-др., народов., шлиссельб., ос. в 1887 г. в Спб. по «проц. 21-го».—169, 240—242, 246, 263, 307.
Лопухина, Евдокия, царица.—15.
Лукасинский, Валериан, польский патриот.—16.
Лукашевич, Иосиф Дементьев., революц., шлиссельб., ос. в 1887 г. по делу «второго 1-го марта».—9, 17—18, 47—48, 121, 123, 129, 176, 197, 209—226.
Лутугин, Леонид Ив., геолог и обществ. деятель.—293.
Лялин, учитель в корпусе.—231.
Ляпунов, губернатор на Сахалине.—98.

М.

Манучаров, Ив. (Ованес) Льв., народов., шлиссельб., ос. в Одессе в 1885 г.—41, 96, 128, 241, 286, 313.
Марков, Евг. Льв., писатель и педагог.—86.
Маркс, Карл, нем. социалист, основоположник научного социализма.—89, 184.
Мартынов, Калиник Федул., народов., шлиссельб., ос. в Киеве по «процессу 12-ти».—35, 48, 108, 126—127, 241.
Мартынов, Сергей Вас., врач, член Исп. Ком. «Н. В.», в 1882 г. выслан в Сибирь.—119.
Марья Алексеевна, царевна.—15.
Мезенцов, Ник. Владим., генерал, шеф жанд.—57.

Мельгунов, Сергей Петр., историк.—10.
Мельников, Мих. Мих., член боевой организ.партии с.-р., шлиссельб., ос. в 1904 г.—142, 148.
Meunier, франц. ученый.—225.
Меркулов, Вас. Полиевкт., народов., ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти», предатель.—91.
Метерлинк, Морис, бельг. писатель.—49.
Милль, Джон Стюарт, англ. мыслитель.—88, 210.
Милютин, Дм. Алексеев., воен. министр.—231.
Минаков, Егор Ив., революц., кариец, шлиссельб., ос. в Одессе в 1879 г.—39, 82, 128.
Мирович, Вас. Як., подпоручик при Екатерине II.—15.
Миртов—см. Лавров, П. Л.
Михайлов, Адриан Федор., землевол., кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 11-ти» (Веймара).—250.
Михайлов, Ал-др Дм., землевол., член Исп. Ком. «Н. В.», ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—57—58, 63, 163, 166.
Михайлов, Тимофей Мих., народов., казнен по «делу 1 марта 1881 г.».—91.
Михайловский, Ник. Конст., публицист-народник.—65, 236.
Морель, гувернер.—159.
Мороз, Александра Ив., урожд. Корнилова, член кружка чайковцев, сосл. адм. по «проц. 193-х».—189.
Морозов, Ник. Ал-др., чайковец, землевол., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—9, 10, 17—18, 22, 28, 45—47, 57, 64, 157—163, 165—176, 202, 246, 252, 256, 296, 308.
Морозова, Ан. Вас., мать Н. А. Морозова.—158.
Москвичева, Люб. Владим.—143.
Мровинский, инженер.—254.
Муравьев, учитель корпуса.—231.
Мышкин, Ипполит Никит., революц., кариец, шлиссельб., ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—39, 64, 71, 82, 128, 162.

Н.

Натансон, Ольга Ал-др. (урожд. Шлейснер), член кружка чайковцев, землеволка, ос. в 1880 г. по «проц. 11-ти» (Веймара).—162.
Наумов, генерал.—228.
Немоловский, Апол. Иринарх., народов., шлиссельб., ос. в 1884 г. по «проц. 14-ти».—78—79, 256.
Нечаев, Сергей Геннад., революц., организ. общ-ва «Народная Расправа», равелинец, ос. в 1873 г.—60.
Никифораки, жанд. генерал.—92.
Николадзе, Ник. Як., публицист.—65.
Николаев, А. М., член воен. орган. «Н. В.», адм. выслан в 1884 г.—119.
Николай I, император.—16.
Новиков, Ник. Ив., деятель просвещения при Екатерине II.—15.
Новорусский, Мих. Вас., революц., шлиссельб., ос. в 1887 г. по делу «второго 1-го марта».—9, 17—18, 188, 193—207, 213.
Ньютон, Исаак, англ. математик.—159, 184.

О.

Оболешев, Алексей Дм. (Сабуров), землев., ос. в 1880 г. по «проц. 11-ти» (Веймара).—162.
Обухов, коменд. Шлиссельб. крепости.—141, 218.
Овидий, рим. поэт.—87.
Овсянников, Филипп Вас., физиолог.—218.
Огарев, Ник. Платон., поэт, эмигрант.—171, 229.

Орлов, полит. ссыльный.—73.
Осинский, Валерьян Андр., землев., казнен в 1879 г. по «проц. киевских террористов». — 27, 57, 163—164.
Осипанов, Вас. Степан., революц., казнен в 1887 г. по делу «второго 1-го марта». — 197, 213.
Осташкин, Викт. Ал-др., революц., участник «проц. 193-х».—250.
Оствальд, Вильгельм, нем. химик.—159.
Ошанина, Марья Ник. (урожд. Оловенникова), землев., член Исп. Ком. «Н. В.», эмигрантка.—163, 255.

П.

Падрен-де-Карнэ, педагог.—87.
Панкратов, Вас. Семен., народов., шлиссельб., ос. в 1884 г. Киеве по «проц. 12-ти».—9—10, 22, 35, 37, 47, 108, 241, 264, 275.
Папин, Вас. Ив., член воен. орган. «Н. В.», админ. сосл. в 1884 г.—119.
Перлашкевич, Ник., полит. ссыльный на Сахалине.—97.
Перовская, Софья Льв., член кружка чайковцев, землев., член Исп. Ком. «Н. В.», казнена по «делу 1 марта 1881 г.».—60—61, 91.
Петерс, сенатор.—71.
Петр I, император.—15, 48.
Петров, генерал.—83.
Писарев, Дм. Ив., изв. критик.—88.
Пистелькорс, генерал.—233.
Плеве, Вяч. Конст., дир. деп. полиции, позже мин. внутр. дел.—113.
Плеханов, Георгий Валент., землев., черноперед., один из основателей группы «Освобожд. Труда», с.-д.—253.
Плутарх, греч. писатель.—103.
Победоносцев, Конст. Петр., обер-прокурор синода.—146.
Поджио, Иос. Викт., декабрист.—15.
Покрошинский, коменд. Шлиссельб. крепости.—36, 41, 79.
Поливанов, Петр Серг., народов., шлиссельб., ос. в Саратове в 1882 г.—16, 47, 50, 63, 76, 110, 127, 144, 166.
Померанцева, Ан. Мих., жена М. Ф. Фроленко.—190—191.
Попов, Мих. Родион., землев., кариец, шлиссельб., ос. в 1880 г. в Киеве по «проц. 21-го».—35—36, 39, 41, 127, 187, 190, 241.
Попович, учитель.—107.
Потапов, Як. Семен., ос. в 1877 г. по «делу 21-го» (Казанск. демонстр.).—54, 253.
Похитонов, Ник. Данил., член воен. орган. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1884 г. по «проц. 14-ти».—9—10, 17—18, 117—134, 256, 306.
Прибылев, Ал-др Вас., народов., кариец, ос. в 1883 г. по «проц. 17-ти».—75.
Пругавин, Ал-др Степан., публицист.—245.
Прыжов, Ив. Гавр., нечаевец, ос. в 1871 г. по «проц. нечаевцев».—179.
Пушкин, Ал-др Серг., изв. поэт.—11, 158.
Пущин, Ив. Ив., декабрист.—16.

Р.

Рамзай, Вильямс, англ. химик.—172.
Риль, Алац, нем. философ.—185.
Рихтер, генерал-ад'ютант.—93.
Рогачев, Ник. Мих., член воен. организ. «Н. В.», казнен в 1884 г. по «проц. 14-ти».—118—120, 239.
Ролан, Манон-Жанна, деят. Великой Франц. революции.—104.

Роско, химик.—210.
Россикова, Елена Ив., ос. в 1880 г. по делу о подкопе под Херсонское казначейство.—43.
Рубинштейн, Софья Григ., народница.—237.
Руссель (он же Судзиловский), Ник. Конст., эмигрант.—99.
Рыжкова, Пелагея Матв., жена М. В. Новорусского.—203.
Рысаков, Ник. Ив., народов., казнен по «делу 1-го марта 1881 г.», предатель.—61, 91, 255.

С.

Саблин, Ник. Алексеев., народ., застрелился при аресте в 1881 г. —60—61, 161.
Савельев, Ал-др Як., отец П. В. Карповича.—143.
Саллюстий, рим. историк.—87.
Салтыков, Мих. Евграф. («Щедрин»), изв. писатель-сатирик.—236.
Самарская, революцион.—27.
Сафонов, морской офицер.—86.
Сведенцов, Ив. Ив., писатель, член одес. группы «Н. В.».—89.
Семевский, Вас. Ив., историк.—245.
Сен-Симон, Анри, франц. социалист-утопист.—94.
Сергий, архиеп.—200.
Серебряков, Эспер Ал-др., член воен. организ. «Н. В.», эмигрант.—238.
Сикорский, Симон Вульф., член боевой организ. партии с.-р., шлиссельб., ос. в 1904 г. по делу об убийстве Плеве.—142, 148.
Сипягин, Дм. Серг., мин. внутр. дел.—95.
Смирнов, учитель.—143.
Соболев, начальн. округа на Сахалине.—96.
Соболевский, товарищ И. Д. Лукашевича.—210.
Созонов, Егор Серг., член боевой организ. партии с.-р., шлиссельб., ос. в 1904 г. за убийство Плеве.—142, 148.
Соколов, Матвей Ефим., смотритель Шлиссельб. тюрьмы.—22, 36, 39, 41, 76, 78—81, 83, 241, 256.
Соловьев, Ал-др Конст., землев., казнен в 1879 г. за покушение на Александра II.—162, 250—253.
Соловьев, Сергей Мих., историк.—231.
Спасович, Владим. Данил., адвокат.—91.
Спенсер, Герберт, англ. мыслитель.—215.
Спиноза, Борух, философ.—185.
Станюкович, Конст. Мих., писатель.—85.
Стародворский, Ник. Петр., народов., шлиссельб., ос. в 1887 г. в Спб. по «проц. 21-го».—108, 110.
Стефанович, Як. Вас., член группы южных бунтарей, черноперед., член Исп. Ком. «Н. В.», кариец, ос. в 1883 г. по «проц. 17-ти».—183, 255.
Субботина, Марья Дм., революц., ос. в 1877 г. по «проц. 50-ти».—252.
Судейкин, Георгий Парф., инспектор секрет. полиции.—65, 75.
Сумернов, офицер в кадетском корпусе.—230.
Суровцев, Дм. Як., народов., шлиссельб., ос. в 1884 г. по «проц. 14-ти».—47—48.
Суханов, Ник. Евгеньевич, член воен. орган. и Исп. Ком. «Н. В.», казнен в 1882 г. по «проц. 20-ти».—59, 63, 118, 166, 238—239.
«Сухоруков»—см. Гартман, Л. Н.

Т.

Теллалов, Петр Абрам., член

Исп. Ком. «Н. В.», ос. в 1883 г. по «проц. 17-ти».—119, 255.
Тиханович, Ал-др Павл., народов., шлиссельб., ос. в 1884 г. по «проц. 14-ти».—256.
Тихомиров, учитель корпуса.—231.
Тихомиров, Лев Ал-др., чайковец, землев., член Исп. Ком. «Н. В.», эмигрант, затем—ренегат.—63.
Ткачев, Петр Никит., революц., «якобинец», эмигрант.—179.
Толмачев, председ. географич. института.—222.
Толстой, Дм. Андр., граф, мин. внутр. дел.—80.
Толстой, Лев Ник., известный писатель.—123.
Тригони, Мих. Ник., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—9, 17, 24, 63—64, 84—101, 110, 144, 256.
Трощанский, Вас. Федор., землев., кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 11-ти».—162.
Тучков, Пав. Алексеев., моск. ген.-губ.—232.

У.

Ульянов, Ал-др Ильич, революц., казнен в 1887 г. по делу «второго 1-го марта».—196—197, 212—213.
Успенский, Глеб Ив., писатель-народник.—236.
Уткин, Алексей Вас., чиновник.—16.

Ф.

Фарадей, Мих., англ. физик.—176.
Федоров, смотритель Шлиссельб. тюрьмы.—39.
Фейербах, Людвиг, нем. мыслитель.—231.
Фигнер, Евг. Никол. (в замужестве Сажина), землев., народов., ос. в 1880 г. по «проц. 16-ти» (сс. на поселение).—9, 162, 252.
Фигнер, Ник. Ник., оперный певец.—202.
Филадельфов, Вас. Вас., народник, участник «проц. 193-х».—250.
Фогт, Карл, нем. естествоиспытатель.—210.
Форминский, Адольф, полит. ссыльный на Сахалине.—97.
Фроленко, Мих. Федор., чайковец, землев., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—9, 17—18, 63—64, 76, 165—166, 178—185, 187—192, 242, 247, 256.
Фурье, Шарль, франц. социалист-утопист.—94.

Х.

Халтурин, Степ. Никол., основатель «Сев. Союза рус. рабочих», член Исп. Ком. «Н. В.», казнен в 1882 г. за убийство Стрельникова.—58.

Ц.

Церетелли, Ираклий Георг., с.-д., член времен. правит.—224.
Цитович, профес.—174.

Ч.

Чемоданова, Любовь Ив., революц., ос. в 1884 г. по «проц. 14-ти» (сс. на поселение).—20.
Чепурнова, Вера, свидет. по «делу 193-х».—252.
Чернышевский, Ник. Гавр., изв. писатель-революционер.—88, 229, 231, 236, 253.
Чхеидзе, Ник. Сем., с.-д., председ. Петроград. Совета Раб. и Солд. Депутат.—224.

Ш.

Шамиль, вождь кавказ. горцев.—228.

Шебалин, Мих. Петр., народов., шлиссельб., ос. в Киеве в 1884 г. по «проц. 12-ти».—24, 36, 39, 48, 241.

Шебеко, генерал.—24—25, 41.

Шевырев, Петр Як., революц., казнен в 1887 г. по делу «второго 1-го марта».—197, 212—213.

Шиллер, Ник. Ник., физик.—214.

Ширяев, Степ. Григ., член Исп. Ком. «Н. В.», ос. в 1880 г. по «проц. 16-ти».—58—59, 165.

Штромберг, Ал-др Павл., член воен. организ. «Н. В.», казнен в 1884 г. по «проц. 14-ти».—118, 238.

Щ.

Щедрин, Ник. Павл., землев., черноперед., шлиссельб., ос. в 1881 г. по «делу Ю.-Р. Р. С.».—63, 126.

Щепочкин, П. А., помещик, отец Н. А. Морозова.—157.

Э.

Эдельштейн, тов. председ. Географич. института.—222.

Энкуватов, Пимен Ал-др., нечаевец, землев.—252.

Ю.

Юрковский, Федор Ник., революц., кариец, шлиссельб., ос. в Киеве в 1880 г. по «проц. 21-го».—114, 241.

Юрьев, врач.—28.

Я.

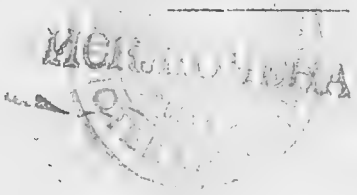
Якимова, Ан. Вас. (в замужестве Диковская), суд. по «делу 193-х», член Исп. Ком. «Н. В.», карийка, ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—58, 60—62, 255.

Яковлев, И. И., с. р., бывший офицер.—154.

Якубович, Петр Филип., поэт, народов., ос. в 1887 г. по «проц. 21-го».—9, 245, 261—262.

Янович, Людвиг Фомич, член польск. партии «Пролетариат», шлиссельбурж., ос. в Варшаве в 1885 г. по делу «пролетариатцев».—47—48, 127, 315.

Янсен, с.-д.—154—155.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЕ УЗНИКИ.

Стр.

Предисловие 9

Введение 15

Л. А. Волкенштейн 19
Г. П. Исаев 52
М. Ф. Грачевский 66
М. Н. Тригони 84
П. Л. Антонов 103
Н. Д. Похитонов 117
П. В. Карпович 135
Н. А. Морозов 157
М. Ф. Фроленко 178
М. В. Новорусский 193
И. Д. Лукашевич 209
М. Ю. Ашенбреннер 227
Ю. Н. Богданович 248

II. СТИХОТВОРЕНИЯ.

Вместо предисловия 261
Лопатину. Нам выпало счастье все лучшие силы 263
Тук-тук 264
Памяти Баранникова 265
Прощальный взгляд сестры любимой 267
Розы 269
Матери 270
Старый дом 271

Стр.

Колыбельная песнь 273
Соседу 275
Сестре 276
Солнца луч золотой 278
Уж двадцать месяцев в тюрьме 279
Волкенштейн 281
День денской за работой сидишь. 283
В казарме этой, всем постылой 284
Когда нахлынувшие воды 285
Манучарову 286
Библия 287
Сегодня в ночь по городам 288
Благодарю, что за стеною 290
Милые, дальние, детские годы 291
Мне дерево мнится в лесу иногда 292
Тихий твой привет нежданный 293
В минуту покоя иль проблеска счастья 294
Морозову 296
Словно осенний туман надо мной 297
Когда в неудачах смолкает борьба 298
Когда мы летнею порою 299
Расскажи мне, мой милый, мой любящий друг 300
Склонясь задумчиво, рукой 301
Когда в неволе мы порою 302
На небе солнышко играет 303
Ашенбреннеру 305
Похитонову 306
Лопатину 307
Морозову 308
Ужели, товарищ, обида проходит 310
Когда свою мысль облекаешь 311
Кто радость дал нам 312
Манучарову 313
Порой в тоскливую неволю 314
Яновичу 315
Пали все лучшие 317

Именной указатель 319

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

Портреты Л. А. Волкенштейн и Г. П. Исаева между стр. 48— 49

» М. Ф. Грачевского и М. Н. Тригони » » 80— 81

» П. Л. Антонова и Н. Д. Похитонова » » 112—113

» П. В. Карповича и Н. А. Морозова » » 144—145

» М. Ф. Фроленко и М. В. Новорусского » » 192—193

» И. Д. Лукашевича и М. Ю. Ашенбреннера . . . . . » » 224—225

Портрет Ю. Н. Богдановича . . . . . » » 256—257

Обложка работы художника Алексея Кравченко

ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

В НАСТОЯЩЕЙ КНИГЕ ЗАМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕЧАТКИ:

Стр.	40	снизу	3	строчка	вместо	главный	след. чит.	гневный
»	142	»	2	»	»	считать	» »	считал
»	153	»	6	»	»	загрницу	» »	заграницу
»	187	сверху	16	»	»	о его	» »	об его
»	242	»	18	»	»	философов	» »	философем
»	245	»	1	»	»	так,	» »	так:
»	248	»	10	»	»	развитии	» »	развития
»	251	сверху	3	»	»	действительные	»	действительный
»	254	»	14	»	»	Мравинским	» »	Мровинским
»	276	»	8	»	»	и птичек гам	» »	и пенье птиц
»	284	снизу	1	»	»	1888 г.	» »	Ноябрь 1887 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВЕРА ФИГНЕР

Полное собрание сочинений в шести томах.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Том I. Запечатленный труд, ч. I с 6 портретами. 424 страницы; в переплете **3** р. **30** к.

Том II. Запечатленный труд, ч. II с 6 иллюстрац. 304 страницы; в переплете **2** р. **90** к.

Том III. После Шлиссельбурга. Печатается.

Том IV. Шлиссельбургские узники. Стихотворение. **3** р.

Том V. Печатается.

Том VI. Печатается.

Обложка работы художника **Алексея Кравченко.**

Каждая книга из полного собрания сочинений **ВЕРЫ ФИГНЕР** представляет законченное целое. Книги высылаются наложенным платежом по действительной стоимости. Приславшие деньги вперед за пересылку не платят.

Заказы и деньги адресовать: Москва, 34, Лопухинский пер., 5, **Издательству Политкаторжан.**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Белоконский, И. П. «Дань времени». **3** р. **20** к.

Бройдо, Е. В рядах Р.С.Д.Р.П. **1** р. **10** к.

Бух, Н. К. Воспоминания. **1** р. **85** к.

В царской казарме. Сборник. **1** р. **65** к.

Декабристы и их время. **2** р. **50** к.

Ивановская, П. С. В боевой организации. **1** р. **40** к.

Чарушин, Н. А. О далеком прошлом. На Каре. **85** к.

Чужак. Идея вооруженного восстания и большевистская пропаганда в армии. **1** р. **10** к.

Воспоминания Полины Анненковой. Печатается.

Кропоткин, П. А. Записки революционера, т. I—II. Печатается.

Прибылев, А. В. Воспоминания народовольца. Печатается.

Письма В. Г. Короленко к П. С. Ивановской. Печатается.

Орловский централ. Сборник. Печатается.

Фроленко, М. Ф. Собрание сочинений, т. I—II. Печатается.

Чернышевский, Н. Г. «Что делать?». Печатается.

Щеголев, П. Е. Старый Шлиссельбург. Печатается.

Якубович, П. Ф. (Мельшин). «В мире отверженных». Печатается.

Заказы и деньги адресовать: Москва, 34, Лопухинский пер., д. 5, **Издательству Политкаторжан.**

Цена 2 р. 50 к.

КНИГИ
XLIV—XLV

СКЛАД ИЗДАНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА ПОЛИТКАТОРЖАН
1) Правление—Москва-34, Лопухинский п., д. 5, во дворе, т. 3-64-78.
2) Магазин «Маяк»-Москва-центр, Петровка, 7, тел. 3-63-20 и 4-18-12.